ЮНОСТЬ

2

1963

Документальная повесть

А. РОДИМЦЕВ

Генерал-полковник,
дважды Герой Советского Союза

Рисунки В. Трубковича.

Автор повести «Машенька из Мышеловки» — один из славных героев битвы на Волге. Александр Ильич Родимцев — кадровый военный, начавший свои бои с фашизмом юношей на испанской земле. В Великую Отечественную войну он командует бригадой воздушных десантников, знаменитой 13-й гвардейской дивизией, сражавшейся на самом остром участке волжской обороны, и, наконец, стрелковым корпусом.

Документальную повесть Александра Ильича Родимцева читатели оценят по достоинству сами. Мне хочется сказать только об одной стороне дела: война — жестокая вещь. И когда люди, в подчинении которых находятся тысячи других людей, умеют сохранять на войне настоящую человечность, сохранять любовь к человеку, уважение к нему, понимание его души,— значит, это по-настоящему хорошие люди.

Именно таким человеком является в моих глазах А. И. Родимцев, очень хорошо знавший своих солдат, входивший в их нужды, заботившийся о них в той максимальной мере, в какой это вообще возможно в жесточайшей обстановке войны.

Думаю, что и само стремление Родимцева написать о Маше Боровиченко, о ее жизни, ее подвигах и та удивительная памятливость, с которой он это делает, говорят о его умении видеть, чувствовать, понимать до конца тот высокий труд рядовых тружеников войны, которому нет и не будет цены в веках. Эта повесть — скромный венок, возлагаемый славным героем волжской битвы на могилу одного из героических солдат Отечественной войны, которым Родина наша обязана своей великой победой и своею небывалой воинской славой.

Константин СИМОНОВ

Машенька из Мышеловки

1. ВСТРЕЧА В ПУТИ

Я возвращался в Киев из военного лагеря с полевых учений и решил проехать напрямик через лес, хорошо знакомый мне еще со времен Великой Отечественной войны. Признаться, очень хотелось снова взглянуть на эти памятные места: здесь, у столицы Украины, бойцам нашей воздушно-десантной бригады довелось, выполняя приказ командования, стоять насмерть.

Двадцать один год — время, конечно, немалое. Лес за эти годы неузнаваемо изменился. Малые сосенки превратились в высокие деревья, густой березняк у дороги стал очень красивой рощей.

Все же я без особого труда разыскал в высокой траве следы наших блиндажей, и линию окопов, и глубокие воронки от бомб.

Долгие минуты стоял я среди этих засыпанных листьями и хвоей, размытых дождями рытвин и бугорков, и в памяти проносились картины сражений,

Командующий 13-й гвардейской дивизией А. И. Родимцев (третий слева) в один из дней битвы на Волге среди бойцов наблюдательного пункта.

а где-то близко, за деревьями, как будто перекликались голоса незабываемых фронтовых друзей.

На высотке у старой могучей сосны я поднял осколок снаряда. Весь изъеденный ржавчиной, он был колюч и тяжел... Сколько еще здесь было рассеяно такого свирепого, рваного металла! Вот и на мощном стволе сосны зарубцевались три глубоких шрама. Сосна — немая участница великой битвы — простирала над окопами свои ветви, чтобы укрыть наших воинов от смертельного огня.

А теперь она высится на песчаном взгорке, над зеленым раздольем молодого леса как живой памятник тем грозовым дням...

Пожалуй, я слишком увлекся воспоминаниями и не заметил, как стали надвигаться сумерки. До города было еще далеко, а дорога, заброшенная, наверное, со времен войны, готовила неожиданности на каждой сотне метров. Одной из таких неожиданностей оказалась канава, прорытая неведомо когда и кем. Канава была широка, и ветер прикрыл ее прошлогодними листьями. Машина с ходу ударилась о противоположную кромку канавы, и мотор заглох.

Шофер Анатолий вышел посмотреть, что случилось. Вдруг в кустах орешника вспыхнул узкий луч фонарика, потом стало слышно, как хрустит под ногами и шумит распахнутая листва ветвей. Где-то совсем близко звонкий голос выкрикнул:

— Передайте на пост: вижу легковую машину!..

Другой, хрипловатый голос откликнулся:

— Есть передать на пост...

— Как видно, лесники,— заметил Анатолий.— Только очень молоды, судя по голосам...

Я тоже вылез из машины и с интересом ждал появления неизвестных лесных жителей. Из темных зарослей орешника, похожих на высокую и длинную скирду, на дорогу, в свет луны одновременно выбрались трое ребят. Все трое были в белых рубашках-тенниских, в трусах, в шляпах, плетенных из соломы. У каждого на груди — красный галстук.

Выглядели все трое ловкими, сильными спортсменами-крепышами, и стояли они, чуточку наклонившись вперед, словно готовились броситься наперегонки. Тот, что стоял посредине, плотный паренек с фонариком в руке, заговорил первым:

— Разрешите обратиться, товарищи гости... Почему вы здесь остановились? Может, вам нужна какая-нибудь помощь?

— Если мы гости,— сказал я,— значит, вы хозяева?

— Да, здесь, за оврагом, пионерский лагерь «Костер»,— четко доложил паренек.— Наш дозорный заметил машину. Почему она остановилась? Как видно, у вас что-то не в порядке?

Мне с первых слов понравился этот бойкий, деловой мальчуган.

— Молодец ваш дозорный! —сказал я, приближаясь к ребятам.— Что ж, давайте знакомиться, лесные молодцы.

Мальчик, стоявший справа, курносый и большеглазый (теперь при свете луны я успел рассмотреть их лица), толкнул локтем товарища и прошептал:

— Смотри-ка... С кем это, Генка, мы встретились! Ну, прямо, как в кино...

А средний, Генка, выпрямился и поднес руку к шляпе.

— Рады приветствовать вас, товарищ генерал, в нашей Стране тысячи лесных тайн и сокровищ!

— Вот это да!..— усмехнулся Анатолий.— Тысяча тайн?..

Я поблагодарил ребят и пожелал им спокойного сна. Однако уходить от нас они не собирались. Рассудительный Генка сказал:

— И до чего же верно в пословице подмечено, что не было бы счастья, так несчастье помогло. Умница ваша машина, и вы ее не ругайте. Сегодня у нас в лагере большой костер. Айда к нам в лагерь!

— Признаться, ребята, в наш распорядок это не входило.

— Так и в наш не входило! — закричали они наперебой.— А теперь вошло! Мы очень вас просим... очень!

— А что касается машины,— заключил Генка,— я оставлю при ней охрану. Если хотите, механика позову. У нас дядя Федор — профессор по моторам. Он даже в гонках участвовал на приз «Пищевика»... Но, правда, проиграл.

Тут в разговор вступил Анатолий. С машиной произошла какая-то серьезная авария. Он еще не нашел, в чем дело. Ребята сообщили, что в пионерском лагере есть две грузовых машины и временный гараж, а в гараже у дяди Федора полный набор инструментов, яма и тиски.

Надеясь на помощь «профессора дяди Федора», мы двинулись в глубь «Страны тысячи лесных тайн и сокровищ», и световые пятна фонариков заплясали у наших ног.

Так нежданно и негаданно я и Анатолий оказались в гостях у пионеров, на широкой лесной поляне, где, мне помнилось, воины нашего соединения отбили четыре яростных атаки врага, где двадцать один год назад вся земля была перепахана снарядами и выжжена огнем, а теперь в городке из палаток бурлила сама юность, сама раздольная, неукротимая жизнь.

Все население парусинового города, от самой малой пионерочки до седеющего педагога, встретило нас с шумным радушием, и одним из первых сокровищ в этой стране чудес была душистая, горячая картошка, испеченная в костре и поданная нам к ужину.

А потом мы сидели с ребятами у костра, и пламя то вьюжилось по сухим ветвям, то замирало, и легкие искры кружились над нами, и задумчиво пел баян...

Ребята подхватили песню, и, повторенная лесом, она понеслась далеко над притихшими купами деревьев, над высокими травами полян — до дальней дороги, на которой мы совсем недавно встретили наших молодых друзей.

Как-то легко и просто, совсем без усилия завязалась наша беседа.

В разговоре я случайно назвал два озера, что были неподалеку от нас. Это очень удивило ребят, и они стали многозначительно переглядываться. Шустрый Генка не выдержал, спросил:

— Как же так... Значит, вы там бывали?

А другие ребята засыпали меня десятками вопросов: когда я здесь бывал, почему и зачем и откуда я знаю названия озер и многое другое?

Пришлось рассказать ребятам о битве, которая гремела здесь два десятилетия назад и оставила на деревьях, на земле до сих пор не сглаженные временем шрамы.

Пожалуй, редко доводилось мне встречать слушателей более внимательных и чутких. Затаив дыхание, они жадно ловили каждое слово, и глаза их были широко открыты, а на загорелых лицах, как отражение переживаний, трепетали отблески огня. Двести ребят и девочек замерли вокруг костра: одни лежат, другие сидят, третьи привстали на колени и, опираясь о плечи товарищей, словно бы тянутся к огню.

Я всматриваюсь в их лица, ясные и открытые, полные сосредоточенного внимания и интереса, и мой взгляд невольно останавливается на одном удивительно знакомом лице.

Где же я видел эту смуглую девочку, с лицом открытым и добрым, с отброшенной за плечи косой, с большими черными глазами, в которых словно бы затаились удивление и радость?

Память тотчас же подсказала.

Машенька... Отважная разведчица и санитарка... Машенька из Мышеловки! Нет, я не мог этому поверить. Я знал, что никогда больше не встречу Машеньку, тихую, задумчивую девочку, скромную, трогательно ласковую с нашими ранеными бойцами, непоколебимо отважную на передовой. Да и нашей Машеньке было бы сейчас около сорока лет... Я это отлично знал, но все же не смог сдержаться и спросил:

— Послушай, девочка... Как тебя зовут?

Все обернулись к ней, и она, смущенная, улыбаясь, ответила:

— Мое имя Маша...

Я невольно привстал с травы.

— Неужели?!.

— А фамилия Воронок...

— Не удивляйся, Машенька, моим вопросам,— сказал я.— Ты очень похожа на славную нашу фронтовую подругу, которую солдаты и офицеры звали Машенькой из Мышеловки.

Ребята закричали:

— Расскажите о ней! Обязательно расскажите...

Я понял: им нельзя было не уступить.

Так родилась эта повесть. Ее подсказали мне пионеры — жители парусинового городка, что раскинулся в чудесной заднепровской «Стране тысячи лесных тайн и сокровищ»...

В самом деле, почему бы не рассказать о Машеньке? Ведь ее жизнь и боевые дела — образец скромности и высокой отваги нашего молодого поколения, которое в годы великих испытаний стояло за Родину насмерть!

Подвиги Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого и его славных друзей, бесстрашных ребят из «Партизанской искры», пионеров-разведчиков, подпольщиков, связных — только частица великого подвига народа.

Многие, очень многие из отважных еще не названы. И не потому, что мы забыли о них. Спросите у любого воина, и он перечислит вам десятки дорогих имен. В памяти народа герои никогда не умирают: каждого из них помнят и чтят боевые товарищи, и даже те, что пали смертью храбрых, словно бы живут среди нас.

Воины 13-й гвардейской дивизии помнят отважную девушку — Машеньку из Мышеловки. Я думаю, что она по праву может занять свое место в бессмертном строю молодых героев.

2. МАШЕНЬКА И ЕЕ ДЯДЯ

Утром 10 августа 1941 года мне доложили, что со стороны противника в расположение наших войск через линию фронта перешли двое — мужчина и девочка.

Это донесение показалось мне удивительным: здесь, на подступах к окраинам Киева, немецкие фашисты сосредоточили так много войск, что даже мышь, пожалуй, не проскользнула бы незамеченной.

Как же смогли перейти через фронт эти двое? Кто они?

Я приказал привести их на командный пункт. Минут через десять начальник нашей разведки капитан Алексей Питерских остановился на пороге блиндажа:

— Задержанные доставлены... Разрешите?

— Сначала войдите вы, капитан,— сказал я.— Что сообщили вам задержанные?

Питерских оглянулся, плотно прикрыл за собой дверь, заговорил негромко:

— Документы я проверил: судя по документам, это родственники. Впрочем, и внешностью они очень схожи. Говорят, что проживали в населенном пункте Мышеловка. Он железнодорожник; девочка — ученица десятилетки. Фамилия — Боровиченко... Что особенно интересно, эти штатские люди отлично знают, где расположены орудийные батареи противника, танки, автомашины... Я не успел закончить допроса, как вы позвонили. И я поспешил сюда.

— Хорошо, капитан. Пусть они войдут.

Питерских распахнул дощатую дверь и, уступая дорогу, отступил на шаг. Первой в блиндаж вошла девочка, смуглолицая и черноглазая, в коротеньком ситцевом платьице, босая. За нею коренастый, небритый мужчина лет сорока пяти, с густой сединой на висках, в синей косоворотке и тоже босой. Косоворотка его была изорвана в клочья, с груди и рукавов свисали лохмотья. Вид у этого человека был такой, словно он только что выбрался из горящего дома: лицо закопченное, грязное, в свежих царапинах, из которых сочилась кровь, руки покрыты ссадинами, волосы всклокочены. Что остановило мое внимание — ясный и радостный взгляд его темных глаз; этим глазам нельзя было не верить.

Девочка старалась держаться поближе к мужчине и с доверчивостью ребенка смотрела то на меня, то на капитана. Она и была почти ребенком, маленькая, смуглая, с какой-то обидой, затаившейся в припухлых губах.

— Когда и где перешли вы через линию фронта?— спросил я, взглянув на карту, чтобы сверить точность их показаний. Почему-то мне сразу поверилось, что эти люди наши, однако нельзя забывать, что здесь проходит фронт и что противник уже не раз пытался засылать к нам своих лазутчиков.

— Мы перешли через фронт возле трех тополей и колодца,— негромко, спокойно сказал беженец.— Там еще есть небольшая сторожка лесничего. Мимо сторожки проходит канава, вот по этой канаве мы и проползли... Правда, чуть было не оказались в немецкой траншее...

— Подождите,— прервал я его,— немцы на этом участке фронта еще не рыли траншей.

Они переглянулись, и девочка сказала твердо:

— Вы ошибаетесь... В прошлую ночь, когда вы им задали трепку, они стали рыть траншеи. Мы сами не знали об этом и чуть было не налетели на фрицев.

Дядя осторожно поправил ее растрепанную косу, осмотрел на своей руке кровоподтек.

— И все-таки налетели... Пришлось впоперечную с немцем схватиться... Сильным оказался и увертливым, весь терновый куст изломал.

Он сунул в карман руку, вытащил и положил на стол два смятых немецких погона.

— Это и весь трофей. Немецкий автомат мы не взяли: правду сказать, побоялись своих. Дело, сами знаете, не шуточное — с немецким автоматом через фронт идти.

— Значит, это в терновнике вы так исцарапались?

Он вытащил из брюк рубаху, приподнял ее до груди, и я увидел длинную рваную рану на его теле.

— Запомнятся мне, товарищ полковник, эти кусты. Я до сих пор понять не могу: как же другие фрицы нас не заметили? Такая потасовка в кустарнике произошла, но никто из фашистов не кинулся своему дружку на помощь. Может, сам я и не совладал бы с этим басурманом, да Машенька помогла, в ноги ему бросилась, будто связала.

Я еще раз взглянул на Машеньку, и она смущенно опустила голову.

— А потом мы бежали... Ух, как бежали! А пули по деревьям только чик-чик... Вот посмотрите мою косынку: пуля пробила!

Она достала из-за пазухи серенькую косынку, развернула и подала мне. Тонкая батистовая ткань была прорвана в двух местах.

— Хорошо, Машенька, я верю всему, что вы рассказываете. Но скажи мне по правде, что заставило тебя рисковать? Немецких фашистов здесь очень много, на их переднем крае и шагу негде ступить. Вы, наверное, не знали, какая это опасность — идти через фронт?

Машенька вскинула голову, отбросила со лба прядь волос, спокойно и прямо посмотрела мне в глаза.

— Нет, мы знали... Да, знали, что их очень много. Они ведь в нашем поселке все дома заняли. Потом я наблюдала, сколько их двинулось на передовую. И все-таки мы решили прорваться к своим.

— Ты не ответила, Машенька, на мой вопрос. Что же заставило тебя рисковать?

На смуглом лице ее и в черных больших глазах промелькнуло удивление, как будто я спрашивал о самом понятном.

— Что заставило? Ну, как это сказать вам? Все: и этот лес, и небо, и земля, и трава... И город наш, врагом осажденный.

Она снова сунула руку за вырез кофточки и подала мне какую-то книжечку.

— Это и есть причина... Самая сердечная, товарищ полковник!

Я взял из ее рук книжечку, раскрыл. Это был комсомольский билет ученицы девятого класса Марии Боровиченко. С маленькой карточки на меня смотрело совсем еще детское лицо.

— Спасибо, Машенька, за хороший ответ.

Дядя Маши рассказал, что жили они в поселке Мышеловка и что долгое время он работал в пригородном колхозе, а два последних года — на железной дороге. В день, когда началась война, он в числе сотен добровольцев пришел в военкомат. Но его забраковала врачебная комиссия. Он тут же предъявил мне свой военный билет и заключение врачебной комиссии. Оно было коротко и строго: «Порок сердца. Не годен». Почти все товарищи Боровиченко ушли на фронт, а он остался. Его немножко утешала мысль, что железнодорожники — первые помощники фронтовиков, что через его руки пойдут на фронт боеприпасы. Он уже готовился провожать через свою станцию такие составы, как случилось неожиданное... Ранним утром, собравшись на работу, он увидел на улице поселка зеленые фашистские мундиры.

Тогда он твердо решил перейти линию фронта, к своим, и сказал об этом Машеньке. Он без колебаний доверил ей этот секрет, зная, что она согласится. Машенька росла без матери и всецело доверяла дяде.

Бежать из Мышеловки они собирались в следующую ночь. Фашисты уже шарили по хатам, уводили арестованных, развешивали грозные приказы. Триж-

ды в течение дня врывались они и в дом Боровиченко, однако хозяев не заставали: Машенька и ее дядя прятались в голубятне, у них была краюха хлеба и кувшин воды. Голубятня оказалась хорошим наблюдательным пунктом. Прильнув к щели, Машенька видела, куда направляются танки и орудия врага, где выгружаются боеприпасы, где немцы роют окопы и ставят проволочные заграждения.

Сначала она следила за этой поспешной деятельностью вражеских солдат лишь из любопытства. Было так странно видеть незваных, чужих людей, суетившихся в их поселке. А потом она подумала, что если бы наши артиллеристы знали, где установлены орудия врага, пожалуй, они сумели бы накрыть фашистов в два счета.

Если бы наши знали... Но для того, чтобы наши артиллеристы знали расположение войск противника, нужны донесения разведчиков и наблюдателей. Чем же она, Машенька, не разведчица, если уж довелось ей остаться за линией фронта? Просто пробраться к своим, спасаясь от фашистов, теперь ей казалось малой задачей. Нужно было раздобыть сведения о враге...

Дядя заметил, что Машенька стала задумчивой и молчаливой.

— Ты... боишься? — спросил он.

— Я думаю не о себе, — сказала Машенька.

Он улыбнулся.

— Я понимаю, ты думаешь обо мне. Что ж, это верно врачи сказали — сердечник... Только мало ли что скажут врачи! Главное для нас — выбрать надежную дорогу, такую, чтобы под самым носом фашиста проползти. Мы знаем тут, Машенька, любую кочку, и нам ли верную тропинку не найти?

— Но с чем мы придем к нашим? С голыми руками? Ты понимаешь, как это важно — узнать, где и какие фашистские войска остановились, сколько у них пушек, танков, пулеметов...

Он задумался.

— Верно. А для этого нужно время.

Машенька сказала решительно:

— Значит, в эту ночь мы не можем уйти.

Они остались в Мышеловке еще на двое суток. За это время гитлеровцы угнали все население поселка. Машенька видела, как мимо их двора, окруженные крикливым конвоем, шли женщины, неся на руках детей, тащили тележки, груженные всяческим скарбом. В поселке то и дело трещали автоматы, и улицей стлался густой и едкий дым. Это горела школа, Машенькина школа. Неведомо почему, она помешала злобному воинству, украшенному черными пауками. Ранним утром к голубятне подошли трое фашистских солдат. Дядя еще спал... Машенька услышала голоса и, стараясь двигаться бесшумно, прильнула к щели в дверцах. Солдаты негромко о чем-то разговаривали, поглядывая на голубятню.

Почему-то они заинтересовались голубятней: наверное, уже успели переловить в поселке всех кур и гусей. Приставная лесенка лежала у опорного столба в траве, один из фашистов сначала недоверчиво ощупал перекладины ногой, потом поднял лесенку и приставил к голубятне.

Машенька встряхнула за плечо дядю и, приложив палец к губам, указала глазами на дверцу. Дядя не двинулся с места; широко открыв глаза, он прислушивался к голосам. Пожалуй, впервые в жизни она видела таким суровым, словно окаменевшим его лицо, глаза — такими холодными. Движением бесшумным и мягким он вытащил из-за голенища нож.

Солдат стал подниматься по лесенке, ступил на первую перекладину, на вторую, на третью и уже протянул было руки, чтобы взяться за край дощатого помоста под будкой, но перекладина хрустнула и обломилась, и немец неловко спрыгнул на землю. Двое других громко засмеялись, и все они направились к сараю.

— Кажется, пронесло,— сказала Машенька, оборачиваясь.— Хорошо, дядя, что ты подарил соседям голубей. Окажись на будке голуби, эти гости обязательно сюда взобрались бы.

Глаза дяди были по-прежнему холодны и пусты; порывисто переводя дыхание, он осторожно спрятал за голенище нож.

Они не выходили из голубятни еще долгие сутки. В поселок все прибывали вражеские войска. Громыхали танки, надрывно ревели тягачи, волоча пушки и прицепы с боеприпасами, иногда мелькали запыленные легковые машины, а солдаты вытягивались и козыряли сидевшему в них начальству.

Домик Боровиченко вскоре был набит фашистами до отказа: те, что не поместились в домике, заняли сарай, а другие поставили во дворе палатку. Здесь же остановилась и солдатская кухня, и три повара сразу принялись варить обед. Шум и крики у котла не затихали ни на минуту: солдаты тащили к своей кухне свиную тушу, живую птицу, какие-то мешки.

Машенька с удивлением наблюдала за беспокойной, горластой оравой. Было похоже, что эти люди никогда не ели досыта; они хватали огромные дымящиеся куски свинины и, сидя на земле, жадно пожирали ее, облизывая пальцы.

Было противно смотреть на этих жующих людей, ссорящихся, обозленных; в них как будто исчезли человеческие черты и осталась только свирепая жадность к пище.

Утром следующего дня Маша заметила во дворе двух пожилых женщин. Одну из них она узнала — это была тетя Марфа, уборщица школы. Значит, кое-кто остался, угнали не всех. Да это и понятно: ведь фашистам нужны рабочие руки. Женщины носили от колодца на кухню воду и на свободном местечке возле сарая кололи дрова. Солдаты покрикивали на них и смеялись, и, когда женщины несли тяжелую колоду, никто им не помог.

Теперь Машенька знала, что нужно делать. Из голубятни многое видно, однако далеко не все. Ей нужно было обойти поселок, заметить, где расположены батареи фашистов, где находится их штаб, склады, автомашины, где они роют окопы и строят блиндажи.

Дядя не отговаривал Машеньку: он понимал, что в разведке без риска не обойтись. Он молча прислонил ее голову к груди, и, когда поцеловал в лоб, она ощутила, как дрогнули его губы.

Улучив минуту, когда на дворе не было солдатни, Машенька спрыгнула с голубятни и подошла к тете Марфе. Женщина испуганно всплеснула руками и быстро оглянулась по сторонам.

— Ты не ушла с нашими?.. Бедная девочка, куда же спрятать тебя?

— А прятать и не нужно,— спокойно сказала Машенька.— Вы скажете им, что я ваша дочка и пришла помогать.

Женщина внимательно заглянула ей в глаза:

— Понимаю, девочка, без расспросов. Ржа железо ест, а печаль сердце. Только что же нам руки опускать? Старые, умные люди говорят: прилетел гусь на Русь — погостит да улетит. Ладно, будешь моей дочкой.

Она достала из кармана фартука пирожок, подала Машеньке.

— Ешь, да чтоб эти дьяволы не заметили.

...Никто из фашистской солдатни не обращал на Машеньку внимания: слишком уж были они заняты то обедом, то ужином, то завтраком. Машенька чистила картошку, подносила из колодца воду, а потом взяла корзинку и пошла на огороды собирать укроп... Это поручение повара было очень кстати. Она хорошо заметила артиллерийские позиции врага, свежевырытые ходы сообщения за поселком, огромные скопища машин в отлогом овраге, где солдаты выгружали какие-то ящики.

В доме, где помещался поселковый Совет, гитлеровцы открыли госпиталь: через распахнутые окна в переулок доносились стоны раненых. По-видимому, раненых было много, так как и во дворе и в садике при Совете белели палатки и суетились люди в больничных халатах, наверное, санитары.

Если не считать сгоревшей школы, поселок почти не изменился; был он только необычно загрязнен, забросан рваной бумагой и какими-то лохмотьями, да за окраиной, на косогоре, выстроились рядами свежие кресты с касками на верхушках. Машенька насчитала пятьдесят крестов, но сбилась со счета,— сколько зарыто здесь фашистов, она не могла определить.

Ее внимание привлекли знаки на машинах, на пушках, на погонах солдат и офицеров. Быть может, она слишком внимательно разглядывала эти знаки — четыре раза в течение дня ее останавливали на огородах, строго допрашивая, кто она и почему здесь находится.

Она показывала ведро, полное укропа, и, вспомнив немецкие слова, говорила, стараясь казаться спокойной:

— Дейтч зольдатен... кюхе!..

Вражеский патруль был недоверчив и сопровождал ее до самой кухни, а здесь выручала тетя Марфа — она уже осмелела и даже покрикивала на солдат:

— Это же прямо наказание: сами послали девочку за укропом, а шагу ступить не дают!..

Ни на минуту Машенька не забывала о дяде: что переживал он там, в своем неожиданном заключении, как волновался за нее! Она уже хорошо запомнила расположение войск противника в районе Мышеловки и, прислушиваясь к болтовне солдат, узнала, что все они принадлежат к 29-му армейскому корпусу, который готовился к броску на Киев... Какого именно числа гитлеровцы решили штурмовать город, узнать ей не удалось, однако по всем признакам операция намечалась на ближайшее время.

В ночь с 9 на 10 августа Машенька выскользнула из шалаша, в котором ночевала вместе с тетей Марфой, и осторожно прокралась по саду к голубятне. Она постучала щепкой по столбу и, заметив, как дрогнула дверца, подставила лесенку. Дверца распахнулась, и дядя неслышно, словно совсем невесомый, спустился на землю.

Где-то близко, за домом разговаривали патрульные солдаты. Они дежурили чуть ли не у каждых ворот.

Крепко держа друг друга за руки, Машенька и дядя юркнули в кусты смородины, присели, прислушались, осмотрелись. Из сада доносился звучный храп — это под яблоней на раскладушке спал здоровяк повар. Машенька знала, где он спит, и повела дядю в обход яблони. Они миновали сад и вышли за поселок. Отсюда начинался неглубокий овражек, а впереди, за дорогой темнел густой лес... Самым трудным было пересечь дорогу: она проходила по открытому месту, а через овражек был перекинут бревенчатый мостик. Дядя еще издали заметил на мосту двух охранников. Проползти незамеченными в трех шагах от них было невозможно, и единственное, что оставалось — ждать. Они сами не знали, чего ждут: эти двое солдат уселись на мостике будто навечно. Впервые в те минуты Машенька подумала, что терпение так же важно на войне, как и смелость. Торопливо рассказывая мне теперь о пережитом, черноглазая Машенька повторяла убежденно:

— Нет, вы не представляете, товарищ полковник, что это за пытка — ждать своей судьбы в трех шагах от врага... Нет, вы не представляете! Сидят и сидят, будто гвоздями прибитые, а нас невыносимо жалят и жалят комары. И нельзя пошевелиться, руку нельзя поднять: ведь самая малая неосторожность — и заметят. Ну, хорошо, что появились машины. Целая колонна автомашин. Солдаты сошли с мостика, и мы пробрались под него. Дальше было легче, там начался кустарник, а те минуты, когда мы лежали перед мостом... нет, вы не представляете, что это за минуты!

Сведения, которые доставили Машенька и ее дядя, для нас были очень ценны, и я сейчас же передал их по телефону начальнику штаба. Он отметил на карте расположение вражеской артиллерии, складов, пулеметных гнезд и голосом, сразу повеселевшим, заключил:

— Сейчас мы их накроем, голубчиков!..

В блиндаж снова вошел капитан Питерских, и я поручил ему проводить дядю с племянницей в хозяйственную часть, чтобы их накормили, приодели и отправили в наш глубокий тыл. Я был уверен, что они обрадуются этому решению, но — странное дело! — они опечалились. Машенька опустила голову, а ее дядя растерянно смотрел на меня.

— Вы поступили отважно, как и подобает патриотам,— сказал я им.—Можете считать, друзья, что вы исполнили свой долг, а в тылу для вас, конечно, найдется работа.

— Значит, мы должны уехать? — словно не понимая меня, глухо переспросил Боровиченко.

Машенька вскинула голову, ясные черные глаза ее смотрели испуганно:

— А как мы добирались к вам, но теперь... За что же это так, товарищ полковник?!

Я их не понимал: на фронте, на переднем крае, у нас было достаточно своих забот и дел, и они не могли не знать этого. Неужели они считали, что я должен был лично заняться их отъездом?

— У меня больше нет ни минуты времени,— сказал я и тут же пожалел об этих словах. Уже не скрывая огорчения и гнева, эта девочка, почти ребенок, вскрикнула и ударила кулаком по столу.

— В тыл?.. Почему в тыл? Мы прошли через фронт, чтобы сражаться, а вы... Нет, вы неправы, товарищ полковник... Дайте нам оружие и пошлите в часть. Тут, за опушкой леса, наш поселок, наш дом... Там наши люди в беде, а вы говорите: в тыл!..

Ее слова были для меня полной неожиданностью. Я был уверен, что они хотели бы поскорее уехать от фронта куда-нибудь на Волгу, на Урал, в Сибирь... Однако оба они сочли такое предложение оскорбительным. Хмурый коренастый мужчина и его юная племянница прошли через линию огня и не раз рисковали жизнью, чтобы получить оружие и сражаться за родной Киев.

В дни обороны Киева к нам в подразделение

бригады уже не в первый раз приходили добровольцы. Это были люди разных возрастов и профессий: рабочие «Ленкузни» и «Арсенала», депо и речного порта, служащие, студенты, даже школьники, пенсионеры и домохозяйки — они просили и требовали принять их в ряды бойцов.

Мы отсылали их в штаб отрядов народного ополчения, где нужно было пройти боевую подготовку, и они обычно уходили очень огорченные. Впрочем, уже вскоре, в дни битвы за Киев, многие из них проявили высокое мужество и отвагу. Эти люди учились военному делу в боях.

Боровиченко и его племянницу Машеньку нельзя было назвать необстрелянными бойцами. Как опытные разведчики, они принесли нам очень важные сведения о враге. Теперь мы точно знали, что против нас сражался 29-й армейский корпус гитлеровцев, отборные фашистские вояки, побывавшие уже не в одной стране. Знали мы и расположение войск врага на этом участке фронта. О том, что Машенька и ее дядя — люди не робкого десятка, свидетельствовали погоны фашиста, лежавшие теперь на моем столе.

— Что ж, друзья-разведчики,— сказал я им.— Для вас, как видно, придется сделать исключение. Отправляйтесь поешьте, приведите себя в порядок и побывайте у врача. Людям решительным и смелым у нас найдется место.

Как они обрадовались, как засияли глаза Машеньки! Даже внешне они сразу неуловимо изменились. Нет, не двое оборванцев стояли передо мной — два воина, готовых к любому заданию.

3. ПЕРВЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЛА

Нас называли воздушными десантниками. Это особый род войск. В условиях войны наши бойцы и офицеры, выполняя задания командования, должны были перелетать через линию фронта и выбрасываться на парашютах в намеченных местах. Отлично вооруженные и обученные, воздушные десантники перерезали дороги противника, громили его штабы, наносили удары по врагу с тыла, где он меньше всего ожидал нападения.

Задачи воздушно-десантных войск ответственны и разнообразны, и нет надобности все их перечислять. Главное, что им приходится сражаться на территориях, занятых врагом. Значит, нужно уметь быстро приземляться, собираться в назначенном месте, занимать выгодные позиции, окапываться, совершать стремительные броски и еще многое другое. Десантник должен отлично владеть и огнестрельным и холодным оружием: нож в его руке иногда опаснее пистолета.

Незадолго перед началом Великой Отечественной войны я был назначен командиром воздушно-десантной бригады, которая размещалась в маленьком украинском городке Первомайске, что на берегу Южного Буга.

Я был доволен личным составом бригады: большинство бойцов и офицеров были коммунистами и комсомольцами. Они с интересом изучали военное дело. Каждый боец бригады имел на счету по десять и двадцать прыжков с парашютом, а офицеры — по сто, по двести, даже по триста прыжков.

Однако нам, десантникам, пришлось вступить в войну не с воздуха и не на территории, занятой врагом. Нам пришлось сражаться плечом к плечу с доблестной нашей пехотой. И первое боевое крещение мы получили в битве за Киев.

Когда 22 июня 1941 года немецко-фашистские полчища, не объявляя войны, ринулись через наши границы и радио донесло до нас эту весть, все воины нашей бригады, и я в их числе, были уверены, что нам предстоит немедленно выступить на фронт.

Все мы, исполненные гнева, готовы были драться с врагом насмерть за каждый наш город, завод, колхоз, за каждую пядь родной земли.

Однако проходили дни, а мы не получали боевого приказа. Мы ждали, считая за часом час, и с замиранием сердца слушали сводки военных действий. Как трудно и тягостно было нашим воинам вести мирную жизнь в тихом степном городке и помнить, каждую минуту помнить, что близко отсюда, на западе, в просторах родной Украины бесчинствуют лютые фашистские бандиты!

Только вечером 9 июля мы получили приказ о переброске нашей бригады под Киев, в район Борисполя — Бровары. А теперь, после долгой, хотя и не такой уж дальней дороги, после двух десятков яростных бомбежек на станциях, на разъездах и в пути, мы наконец-то выступили на передовую и заняли оборону под Киевом, в Голосеевском лесу.

Когда немецко-фашистские вояки, привыкшие к победным маршам, грохнулись с разгону лбами о нашу стойкую оборону у Киева, их генералы растерялись: откуда у русских такая сила? От пленных фашистов мы знали о приказе Гитлера: он заявил, что 1 августа будет встречать в Киеве. Он даже рассчитывал устроить на Крещатике в этот день смотр своим войскам.

Но уже миновало 10 августа, а многотысячная фашистская орава с мощной авиацией, сотнями танков, пушек, пулеметов и минометов не продвинулась у Киева ни на шаг. Больше того, на нашем участке фронта противник был отброшен на пять километров.

Обозленный неудачами, враг все время подбрасывал подкрепления и переходил в контратаки. Битва в Голосеевском лесу, у стен сельхозинститута, вблизи поселка Мышеловка с каждым часом становилась все яростней. Она не затихала и ночью, хотя фашисты старались избегать ночных военных действий, да еще в незнакомом лесу. Наши воины непрерывно навязывали им бой, штыками выковыривали из траншей, из окопов.

Вечером 12 августа наша разведка установила, что на этот участок фронта противник перебросил два полка пехоты, которые, по-видимому, утром собирались нас атаковать.

Вскоре у сельхозинститута наши бойцы взяли в плен десять фашистов. Все пленные подтвердили, что утром должна начаться решительная атака. По всем данным, нашей бригаде предстояло принять на себя главный удар.

В бесчисленных делах, когда идет бой на переднем крае и командиру нужно каждую минуту знать, что происходит в любом его батальоне, роте, взводе, я позабыл о Машеньке из Мышеловки и ее дяде. Правда, о них пришлось вспомнить в тот же день, когда я допрашивал пленного фашистского офицера. Коротко остриженный, курносый эсэсовец испуганно выкатывал глаза и растерянно повторял переводчику:

— Ваши пушки умеют видеть! Они с первого залпа накрыли наши артиллерийские и минометные батареи... Это была полная неожиданность: мы сразу лишились половины своих пушек!..

— Спасибо двум товарищам из Мышеловки,— заметил начальник штаба Борисов.

А я вспомнил черноглазую девочку и ее немногословного дядю. Они промелькнули и затерялись в потоке событий; на фронте это нередко случается: встретишь человека, запомнишь и... больше не увидишь никогда.

Но Машеньку мне довелось встретить в самый разгар боя, на передовой, когда фашисты ринулись в решающее наступление.

Наша разведка не ошиблась, и показания пленных были правильны: на рассвете фашистская авиация группами по десять — двенадцать самолетов двинулась бомбить Киев.

Теперь нам следовало ожидать артиллерийской подготовки, которой гитлеровцы, как правило, начинали атаки.

Я успел предупредить об этом воинов бригады и сообщил обстановку своему командиру дивизии. Действительно, минут через десять после того, как над Киевом появилась вражеская авиация, загрохотали десятки фашистских пушек и гаубиц, захлопали минометы, и треск пулеметов слился в непрерывный гром.

После этого оглушительного огневого налета из молодого соснового подлеска против наших позиций выкатились фашистские танки. Их было много; я успел насчитать два десятка, но сбился со счета: машины шли на большой скорости, обгоняя одна другую.

Почти одновременно с танками из подлеска появились и бронетранспортеры с десантами автоматчиков, даже с фашистским флагом.

Как видно, перед атакой это буйное воинство получило по доброй дозе шнапса и теперь орало какие-то песни вперемежку с ругательствами и угрозами.

Танки мчались на больших скоростях, ведя на ходу беспорядочный огонь из пушек и пулеметов. Окутанные вихрями пыли и дыма, огромные машины устремились на открытый, безлесный участок фронта, туда, где недавно окопались наши курсанты. Казалось, нет силы, которая смогла бы остановить эту гремящую лавину огня и стали.

Я почувствовал, как дрогнуло сердце: устоят ли наши курсанты? Все они были люди очень молодые, новички в армии, им еще предстояла большая учеба, но война не считается ни с чем.

Танки и бронетранспортеры противника вскоре подошли к нашим позициям совсем близко. Вот уже двести метров отделяли их от наших укреплений... сто метров... пятьдесят... Почему же наши курсанты не открывали огня? Еще одна-две минуты, и танки сомнут наши боевые порядки. Я бросился к телефону и вызвал начальника штаба Борисова. Он не успел еще ответить, как от залпа курсантов дрогнула земля. Весь придорожный откос, занятый для обороны нашей школой, покрылся синеватым пороховым дымом. Дружно грянули пулеметы и автоматы, сметая, вышвыривая с машин фашистских солдат.

Почти одновременно с пулеметами ударили и наши противотанковые пушки, и вот уже загорелся передний танк, за ним второй, третий, потом огромный бронетранспортер нырнул в бомбовую воронку и застыл на месте.

Буйная песня фашистской солдатни сразу же смолкла. Теперь с поля боя доносились вопли и стоны. Стараясь как можно скорее спастись бегством, фашисты бросали своих раненых и отползали через поляну в лесок. Я насчитал семь подбитых и подожженных вражеских машин. Те, что уцелели, уже не вели огня: неуклюже разворачиваясь, пятясь задом, оставшиеся танки противника поспешно возвращались восвояси. Право, странно выглядела вся эта картина, как будто стальные коробки врага только затем и прибыли сюда, чтобы сбросить на поляне под огнем наших курсантов свой живой груз.

События на нашем участке фронта складывались не в пользу врага. Сначала фашисты были уверены, что им удастся одним бравым танковым наскоком ворваться в Киев. Но Киев оказался для них слишком крепким орешком. Все население города поднялось на помощь нашим войскам: они рыли противотанковые рвы, строили укрепления, на заводах ремонтировались наши подбитые танки, отряды народных ополченцев плечом к плечу с воинами сражались на передовой.

К 13 августа наши войска заняли поселок Жуляны, выбили фашистов из сельхозинститута, Красного Трактора, Илюшиных Дворов, Голосеева, Мышеловки...

Теперь-то черноглазая девочка из Мышеловки и ее дядя могли бы вернуться домой. Однако позже я узнал, что они не вернулись.

Когда наш первый батальон, которым командовал капитан Симкин, ворвался в здание сельхозинститута и здесь завязалась жаркая рукопашная схватка, среди бойцов-десантников оказалась и маленькая, смуглая санитарка. Она успела вынести из коридора института трех наших раненых солдат. Удивленный отвагой этой девочки, капитан Симкин приказал ей вернуться в санитарный пункт. Там, в двух сотнях метров от передовой, было не так опасно. Однако через несколько минут капитан снова увидел санитарку во дворе института: она перевязывала руку нашему пулеметчику и над чем-то смеялась. За поясом у нее торчал трофейный немецкий пистолет.

Симкин рассердился:

— Как ты посмела ослушаться приказа? Только и недоставало, чтобы дети здесь под огнем бегали. Сейчас же в санитарный пункт!..

А через полчаса капитан Симкин был тяжело ранен. Теряя сознание, он увидел черноглазую девочку с тяжелой санитарной сумкой через плечо, бегущую к нему сквозь дым и пыль боя.

По-видимому, фашисты решили захватить командира живым. Трое гитлеровцев одновременно бросились к раненому капитану, но Машенька успела раньше. Припав на колено, она выхватила пистолет и уложила двух фашистов с расстояния в пять шагов. Третий немец шарахнулся в сторону и залег за кучей щебня. Он вскинул автомат, прицелился, однако дать очередь не успел: кто-то из бойцов метнул гранату, и она грянула взрывом, далеко разбросав щебень.

После боя, в минуты затишья, когда раненые были отправлены в тыл и прибыло свежее пополнение, солдаты обступили Машеньку, не скрывая удивления и восторга.

— Откуда же ты, такая девочка, тут появилась? Бесстрашная и словно заколдованная от пуль...

— Я из Мышеловки,— сказала она.— Зовут меня Машенька, фамилия — Боровиченко. Вот как получилось: я мечтала учиться в этом институте, а пришлось за него воевать.

Солдаты ее фамилию не запомнили, а стали просто называть: Машенька из Мышеловки.

В сражении за сельхозинститут Машенька получила первое боевое крещение. Ее имя было упомянуто в боевом донесении. Тогда я подумал, что девочка так отважна, потому что не понимает, какая опасность грозит ей на каждом шагу.

Но я ошибся. В той памятной схватке, когда наши курсанты отразили танковую атаку врага, Машенька из Мышеловки снова была в бою, и курсанты удивлялись ее мужеству.

На левом фланге нашей обороны группа фашистских автоматчиков все же прорвалась в наш тыл. Увлеченный боем с вражескими танками, командир курсантов был уверен в надежности своего левого фланга. Он знал, что здесь наступали мелкие группы фашистской пехоты. А когда эти мелкие группы соединились, им удалось прорвать оборону.

Впрочем, фашисты ликовали преждевременно. Они не смогли углубиться в нашу оборону даже на километр. Окруженные курсантами, они и сами перешли к обороне, поспешно зарываясь в землю и все время вызывая по радио подкрепление.

Все их призывы были напрасны. Пять легких немецких танков, которые пытались прийти на помощь окруженным, отбросила сосредоточенным огнем наша артиллерия. Отборные фашистские вояки теперь были вынуждены драться с отчаянием обреченных. Позже, частично взятые в плен, солдаты из этой группы говорили, что если бы им удалось дойти до окраин Киева, все они получили бы по Железному кресту, в случае отступления им грозил расстрел.

За время боя, который шел в перелеске, Машенька успела сделать перевязки шести нашим раненым бойцам. Двух тяжелораненых она вытащила за дорогу и передала другим санитарам.

Уже затихала схватка, когда она заметила на поляне двух фашистских солдат, вставших в полный рост и поднявших руки. Эти двое решили сдаться в плен, и навстречу им из сосняка уже выбежали наши бойцы. Они не успели подойти к пленным — где-то близко прогремели два выстрела, и оба немца рухнули в бурьян.

Машенька заметила, что стреляли из-за старого, окруженного кустистой травой высокого пня. Обежав по краю поляны, она подхватила оброненный кем-то автомат и двинулась к притаившемуся немцу. Он был без каски, наверное, потерял ее в суматохе боя.

Возможно, он расслышал осторожные шаги и быстро обернулся, вскинув пистолет. Но выстрелить не успел: Машенька с силой опустила приклад на его руку. Пистолет упал в траву, а немецкий ефрейтор вскочил на ноги, оступился и сел на пень. Прямо в грудь ему смотрело дуло автомата.

Кривясь и заикаясь, он прохрипел растерянно:

— Рус... девка?!.

После боя, при допросе пленного, командир школы курсантов старший лейтенант Михайлов узнал, что этот ефрейтор, член нацистской партии, сын крупного помещика, был опытным воякой. Он прошагал половину Европы, воевал в Польше, Франции и Норвегии и не впервые убивал своих солдат, если они пытались сдаться в плен.

Теперь, сидя в блиндаже Михайлова, этот отъявленный бандит безутешно плакал, трясся и вытирал на грязных щеках слезы.

— Не понимаю. Нет, не могу понять! Девушка с автоматом... Может, мне это почудилось? Ну, скажите правду, неужели меня, Иоахима Занге, простая девчонка взяла в плен?..

Так Машенька из Мышеловки напомнила о себе. Но в тот день я не знал, что еще не раз услышу ее имя.

4. БИТВА НА СЕЙМЕ

В этой небольшой повести я рассказываю о самом тяжелом периоде войны на Украине, где мне довелось воевать, о первых ее месяцах, когда вооруженные до зубов бесчисленные полчища фашистской Германии напали на нашу Родину. Об этом самом тяжелом времени никогда не следует забывать. Немало наших боевых друзей и товарищей полегло в те дни.

В битве за Киев хищный фашистский зверь основательно выщербил свои клыки. А впереди, на востоке, было еще немало рубежей, на которых ему пришлось захлебываться собственной кровью. Одним из таких рубежей стала река Сейм, неподалеку от древнего города Путивля.

В конце августа наш корпус был направлен на отдых в район Конотопа. Свыше двух недель мы непрерывно вели бои, и враг, конечно, запомнил, как сражаются наши воздушные десантники. На этот заслуженный отдых мы вышли с высокой наградой. От имени трудящихся города Киева корпусу было вручено знамя. Это знамя вручил нам товарищ Хрущев.

Мне и теперь не забыть тех волнующих минут, когда в опаленном городе над замершим военным строем яркое полотнище плеснуло, словно кипящая волна, а Никита Сергеевич обнял и поцеловал молодого, рослого запыленного солдата.

Под этим славным знаменем нам предстояло сражаться до полной победы, и мы поклялись в тот день, что оправдаем любовь и доверие киевлян.

В Конотопе мы с комиссаром условились провести смотр бригады. Наши ряды заметно поредели в тяжелых боях, и на вооружении появились вместо потерянных — трофейные пулеметы. Однако нам нужно было точно знать, сколько у нас бойцов и офицеров, каким оружием мы располагаем, сможем ли по первому приказу снова вступить в бой. Признаться, нерадостно выглядел строй нашей бригады, и даже невоенный человек сразу понял бы, что эти бойцы прошли сквозь ливни свинца. Гимнастерки солдат были изорваны осколками и пробиты пулями, фуражки измяты и закопчены, обувь разбитая, рваная, а у многих несуразные трофейные ботинки.

В строю я заметил и легкораненых, с повязками, белевшими из-под фуражек, с руками на перевязи, с забинтованными ногами. Эти славные воины отказались уйти на лечение в тыл, они не выходили из боя, даже будучи ранеными.

На самом краю левого фланга, среди военфельдшеров, санитарок и медицинских сестер, я заметил стройную смуглую девочку. Сразу припомнился Киев, Голосеевский лес, блиндаж... Неужели это она, Машенька из Мышеловки?

Я подошел к ней, поздоровался, спросил:

— Машенька?..

Выпрямившись и откинув голову, она отчеканила браво и звонко:

— Так точно, товарищ полковник, санитарка Мария Боровиченко.

— Я слышал о тебе, Машенька. Смело воюешь, молодцом... Где твой дядька?

И снова ответ чеканный, но непонятный:

— Не прошел, товарищ полковник... Брак.

— Куда не прошел и что это за брак?

— Наши врачи его забраковали. Теперь он прислал мне письмо из города Калача.

Я спросил нарочно серьезно:

— Может быть, поедешь к нему?

Машенька вздрогнула, строго нахмурив брови.

— Никак нет, товарищ полковник. Бригада — моя семья.— И голос ее вдруг сорвался: — Вы по-прежнему считаете меня маленькой?

Я пожалел, что задал ей этот вопрос: было похоже, что она испугалась такого предложения.

— Хорошо, Машенька,— сказал я,— боевые товарищи тобой довольны. Но в будущем береги себя: смелость не должна быть слепой, она должна быть и осмотрительной.

Что порадовало и меня и комиссара при смотре бригады — уверенность и боевой дух наших десантников. Только вчера эти люди смотрели смерти в глаза, дрались один против трех фашистов, подрывали гранатами вражеские танки, ходили в отчаянную разведку, горевали по товарищам, которых никогда уже не вернуть, а сегодня их лица дышали суровой отвагой и решимостью.

Отдых под Конотопом был очень коротким. Уже на второй день после нашего прибытия сюда в небе загудели вражеские самолеты. Сначала появились их разведчики, а потом десятки бомбардировщиков и штурмовиков. Теперь даже те бомбежки, какие нам довелось пережить в пути из Первомайска в Киев, могли показаться детской забавой. Фашисты как будто собрались испепелить всю землю и сыпали бесчисленные тонны бомб.

А положение на фронте становилось все более сложным. Сильный и хитрый враг прорвал нашу оборону у Киева, перешел через Днепр и двинулся в наши тылы. Над войсками, оборонявшими Киев, нависла очень серьезная опасность. Они могли быть отрезаны и окружены. В этих условиях самым главным было остановить врага.

Я получил приказ — перебросить бригаду на южный берег реки Сейм и занять здесь оборону.

Трудным был наш ночной бросок на Сейм, но в назначенный день, 4 сентября, мы уже рыли окопы на берегу Сейма, устанавливали противотанковые пушки, готовили к бою пулеметы и минометы.

Через четыре дня командиры первого и второго батальонов мне доложили, что на северном берегу Сейма, вблизи деревни Мельня, появилась вражеская пехота и что она готовится к переправе.

Мы тоже не теряли времени даром и были готовы встретить непрошеных гостей. Я решил побывать в батальоне, который занимал оборону у железнодорожного моста через Сейм, и тронулся в путь с двумя автоматчиками.

Едва мы прибыли в батальон и вошли в блиндаж командира, как фашисты открыли по нашим позициям ожесточенный огонь из орудий и минометов. Передовые подразделения немцев начали в это время спускать на воду надувные резиновые лодки. Я сказал телефонисту, чтобы он соединил меня с командиром нашей бригадной артиллерии, и приказал немедленно открыть огонь по переправе противника.

Наши пушки загрохотали в ту же минуту, и почти одновременно с ними с приречных высоток ударили пулеметы.

И куда вдруг девалась вся деловитость фашистских солдат! Лишь минуту назад они спокойно садились в лодки, взмахивали по команде веслами и направлялись к нашему берегу. В их действиях не было ни спешки, ни суеты, и я подумал, что к таким переправам в чужих краях они, наверное, готовились не один месяц.

Но вот грянули наши пушки, и в передовом отряде противника поднялась невероятная суматоха. Тяжелый снаряд разорвался в гуще пехоты врага, и в небо полетели какие-то обломки и тряпки. Батальон открыл огонь, но речка в этом месте была неширока, и несколько лодок успело причалить к нашему берегу.

С обеих сторон теперь началась такая стрельба, какой я не видывал за время войны. Фашисты буквально захлестывали наши окопы свинцовым дождем. Под этой огневой завесой они надеялись пересечь реку. Мы заметили, что на середине ее появилось еще с десяток лодок. Под прикрытием берега, который выступал здесь обрывистым мыском, лодки были недосягаемы для наших пулеметов.

Солдаты противника уже ворвались на железнодорожный мост. Он был немного поврежден, и они сразу же принялись исправлять повреждения. Если бы им удалось быстро отремонтировать мост, фашистское командование немедленно бросило бы против нас танки. Но иногда случается, что исход боя решает один солдат. Если боец грамотен в военном отношении, умеет оценить обстановку и правильно выбрать позицию, он и один в поле воин!

Мы это поняли в те минуты, когда с празого фланга вдоль русла реки неожиданно заработал наш станковый пулемет. Длинная очередь — и саперы противника полетели с моста в воду. Вторая очередь — и переправа противника была парализована. До чего же точно работал наш молодец пулеметчик! Полсотни фашистов уже бултыхались на середине реки, пробитые пулями их лодки выпустили воздух и стали похожими на мокрое тряпье, а «максим» все строчил над самой водой, и брызги от пуль вспыхивали на солнце.

Я спросил у командира батальона, кто этот пулеметчик. Он удивленно пожал плечами:

— Право, не могу сказать...

Потом, будто отвечая самому себе, он заметил негромко и удивленно:

— Неужели... она?

— О ком вы говорите, майор?

Командир батальона улыбнулся:

— Конечно, она! Не иначе... Есть у меня в батальоне одна санитарка, товарищ комбриг. Беспокойная и отчаянная девчонка. Два раза прибегала под огнем в блиндаж и говорила, что пулемет нужно установить за мостом, над обрывом... Сейчас наш пулеметчик именно оттуда ведет огонь. Уверен, это она выбрала позицию.

— После боя пришлите ко мне этого пулеметчика,— сказал я.— А если санитарка ему помогала, пришлите и ее. Я объявлю им благодарность и представлю к наградам. Бригада должна знать своих героев.

Затишье продолжалось лишь несколько минут, а потом над рекой опять загрохотал непрерывный трескучий гром. Фашисты не жалели боеприпасов — за время этого огневого шквала они обрушили на нас многие тонны металла. Но как ни старались они оглушить нас и прижать к земле, пехота их, успевшая переправиться через реку, уже была полностью уничтожена, и наши бойцы захватили десяток пленных.

Стрельба постепенно затихала, и солдаты устало улыбались друг другу: всем было ясно, что расчет противника с ходу переправиться через Сейм был сорван.

Но ясно было и другое: с подходом главных сил фашисты начнут еще более мощное наступление. Поэтому нам нужно было дорожить каждой минутой затишья — отправить раненых в тыл бригады, доставить боеприпасы, накормить бойцов.

Пробираясь меж окопами, я встретил начальника санитарной службы Ивана Охлобыстина. Мне очень

нравился характер этого человека: он никогда не унывал. Даже при яростной бомбежке под Конотопом, когда мы были заживо похоронены под обломками блиндажа, этот человек нашел в себе силы шутить и смеяться. Весел он был и сейчас, хотя шинель на его мощной фигуре была изорвана осколками, рукав от нее где-то потерялся, а голенище сапога тащилось по земле.

— Ну, жаркий денек! — заговорил он, улыбаясь, показывая белоснежные зубы.— А каковы наши десантники? Огонь-ребята! Однако, товарищ полковник, с некоторыми из них я не могу справиться. Человек, понимаете ли, серьезно ранен, и ему необходимо немедленно следовать в тыл, но он не желает уходить с поля боя. Таких я уже свыше десятка насчитал. Как же быть с ними?

— Оказать медицинскую помощь и оставить в строю. После боя вы сообщите мне их фамилии.

— Все же это непослушание и непокорство.

— Нет, Иван Иванович, это высокий пример!

Неподалеку от нас в балочке остановилась санитарная машина. Рослый санитар легко подхватил раненого и передал в кузов другому. Он захлопнул дверцу, по-видимому, собираясь уезжать, но девичий голос задержал его:

— Подождите, еще трое раненых...

Я узнал ее, это была Машенька. Запыленная, в изорванной шинели, она осторожно несла с подругой раненого офицера. Как-то неуловимо изменилось ее лицо: строгая морщинка пролегла меж бровей, глаза смотрели задумчиво и сурово.

Охлобыстин подошел к девушкам, помог им поднести раненого к машине и, прикоснувшись к плечу Машеньки, спросил:

— Сколько сегодня вынесла?

Машенька выпрямилась, отбросила непокорный локон:

— Десять... Трех от самой реки.

Охлобыстин внимательно осмотрел ее с головы до ног и обернулся ко мне:

— Товарищ комбриг, на минутку... Посмотрите на ее шинель!

Он наклонился, взял изорванную полу шинели, потом легонько повернул сандружинницу вполоборота ко мне.

— Семь пулевых пробоин! Да, Машенька, крепко тебе везет. А все-таки жаль новенькую шинельку, да еще подобранную по фигурке, совсем проклятые фашисты испортили. Придется тебе, Машенька, заказывать новую шинель.

Почему-то Машенька смутилась: виновато опустив голову и словно извиняясь, она сказала негромко:

— Я это поправлю, товарищ полковник... Только закончится бой, все прорехи заштопаю. Иголка и нитка всегда при мне.

— Пустяки, девочка, главное, что ты сама цела. А пишет ли дядя?..

Глаза ее радостно засияли:

— Вы помните моего дядю?

— Еще бы не помнить двух добровольцев-разведчиков из Мышеловки! Мы тогда крепко накрыли фашистскую артиллерию, и это благодаря вашим сведениям. А тебе довелось побывать дома после боя?

— Довелось... Только нашей голубятни уже нет.

Она произнесла эти слова так печально и так совсем по-детски, что я невольно подумал: ребенок... И этот ребенок умеет воевать!

Запыхавшись, к нам подбежал командир батальона и спросил:

— Значит, вы сами разыскали ее, товарищ полковник?

— Нет, я никого не искал.

— Но вы спрашивали, кто указал позицию пулеметчику. Это она, Машенька из Мышеловки! Она помогала ему тащить пулемет, и они вместе вели огонь по переправе.

— Фамилия пулеметчика?

— Рядовой Иванов...

— Да, это был Иванов, — сказала Машенька.— Сначала он не соглашался. Говорил, что очень далеко. А потом как жахнули мы по фашистам, так лодки и закувыркались посреди реки.

Я удивился Машеньке. И было чему удивляться. Она совершила подвиг, маленькая киевлянка, и не ведала об этом.

Наверное, в эту минуту я очень внимательно посмотрел на нее, и она смутилась. Еще через минуту я понял причину ее смущения. Ее шинель была пробита пулей и на груди, и лишь сейчас она заметила эту восьмую прореху. Поспешно прикрыв ее рукой, она повторила чуть слышно:

— Вот беда... Штопки на целый вечер...

За время войны я видел много трогательных сцен, однако, пожалуй, впервые я был так глубоко тронут всем обликом этой девочки на переднем крае, смущенной и опечаленной тем, что не успела заштопать пробитую фашистскими пулями шинель.

— Послушай меня, Машенька из Мышеловки,— сказал я.— Спасибо тебе, родная, что идешь ты с нами трудной этой военной дорогой. Спасибо за наших раненых воинов, которых ты спасла. Родина и твой родной Киев не забудут твоей отваги и твоей сердечной доброты, славная девочка наша, дочь бригады...

В тот же день я подписал реляцию о награждении орденами пулеметчика Иванова и санитарки Марии Боровиченко.

5. НОЧНОЙ РЕЙД

В конце октября после непрерывных боев с пехотой, танками и моторизованными частями противника наша бригада снова заняла оборону на реке Сейм, в районе села Шумаково.

Враг наседал, и мы яростно отбивались в ожидании, пока наши саперы починят взорванный мост.

Я находился среди саперов у моста, когда подкатила грузовая машина и с нее спрыгнул стройный, подтянутый офицер.

Было уже темно, однако я сразу узнал начальника оперативного отделения штаба бригады — капитана Зайцева. Этого отважного офицера я хорошо знал: Зайцев не раз ходил в разведку и дважды оставался в наших группах заслона, которые должны были стоять насмерть, удерживая заданный им рубеж.

Я заметил, что Зайцев чем-то взволнован. Мы отошли в сторонку, и я спросил:

— Есть новости?

— Очень интересные новости,— прошептал Зайцев.— Только необходимо ваше разрешение...

Мы присели на откосе берега на бревно, и капитан рассказал, что прибыл от начальника штаба бригады Борисова... Вчера перед вечером к Борисову пришли трое штатских ребят комсомольского возраста. Все они действительно оказались комсомольцами из села Гутрово и предъявили комсомольские билеты. И по документам и по внешности эти ребята не вызывали подозрений. Они сообщили, что в их селе и в соседнем селе Букреево

фашисты останавливаются на ночлег. Сейчас в этих селах скопилось множество машин, груженных продовольствием, обмундированием, боеприпасами и бочками с бензином. Уверенные в полной безопасности, фашисты пьянствуют, объедаются и спят, почти не выставляя охраны.

Я слушал капитана, еще не понимая, к чему он сообщает мне все эти подробности: ведь каждому нашему бойцу было известно, как безобразничают фашисты в занятых ими селах и городах. Но Зайцев продолжал увлеченно:

— Да, понимаете, у них почти никакой охраны; правда, ходят по селу два солдата, посвистывают, иногда постреливают, словом, пугают мирных жителей. Все водители машин ночуют в крестьянских домах, а офицеры заняли здание школы. Столы и парты они из школы выбросили и объявили, что занятия запрещены.

Теперь я понял, к чему вел разговор капитан Зайцев: очевидно, он задумал совершить рейд в тыл противника. До сих пор, ведя оборонительные бои и отходя в глубь страны, мы таких рейдов не предпринимали. Правда, наши смельчаки-разведчики не раз проникали через боевые порядки врага, и им приходилось иногда драться с патрулями фашистов, нападать на их обозы, на штабы. Но разведчики имели задания выяснять силы противника, пути их продвижения и замыслы и только в случае крайней необходимости вступать в бой. А Зайцев задумал другое — специальный рейд, чтобы напасть на противника в его тылу.

Я понимал, что в случае успеха такого рейда в тылу противника будет надолго посеяна паника. Это соответствовало нашим расчетам: постоянно тревожить врага, не давать ему покоя, изматывать его нервы и отвлекать силы для охраны тылов. Я спросил:

— Итак, вы беседовали с начальником штаба... Что предлагает Борисов?

— Начальник штаба предлагает организовать отряд из смелых и физически закаленных бойцов. Этот небольшой отряд должен скрытно проникнуть через линию фронта и быстро достичь села Гутрово. Комсомольцы из Гутрова дали согласие быть проводниками. Они хорошо знают местность и проведут наших бойцов прямо к автоколонне противника. Есть шанс захватить несколько машин с бензином и вернуться на этих машинах через линию фронта.

Предложение капитана выглядело очень заманчиво. В последние дни мы экономили каждый литр бензина, и, если бы нам удалось захватить этот драгоценный груз, положение бригады стало бы намного легче.

Взволнованность капитана незаметно передалась и мне. В самом деле, почему бы не рискнуть? Я знал, что добровольцев для любого смелого дела в бригаде хоть отбавляй. Но какой переполох поднимется в тылу противника! О, это будет фашистам памятный урок.

Не медля мы тут же разработали план ночного рейда. Начальнику штаба Борисову поручалось отобрать группу наиболее отважных воинов в сорок человек, включив в нее восемь шоферов и трех местных комсомольцев. Командиром группы Зайцев предложил старшего лейтенанта Сабодаха, и я согласился. Офицер Сабодах — тихий, улыбчивый юноша — был известен в бригаде железной выдержкой и бесстрашием. Ему уже не раз поручались самые рискованные задания, и он выполнял их с поразительной находчивостью и отвагой.

Было решено, что бойцы отряда уйдут в поход налегке, без вещевых мешков, саперных лопат, котелков и другого имущества. Вооружение — автоматы, винтовки и ручные пулеметы. Кроме того, каждый боец должен был получить холодное оружие — нож или клинок, по три ручных гранаты и по две головых шашки. Эти шашки нужны были на случай, если бы пришлось что-либо подрывать.

Уже через десять минут старший лейтенант Сабодах принялся отбирать бойцов для ночного рейда. Рискованная задача пришлась ему по характеру: он сказал капитану, что давно уже томился по настоящему делу.

Как и следовало ожидать, добровольцев оказалось множество. Но Сабодах отбирал воинов очень строго, только тех, кого лично знал по боям, в ком ни капли не сомневался.

Свой отряд он разбил на группы и назначил старших групп. Бывалый разведчик, он предусмотрел даже отделение тыла, в которое вошли четыре бойца и санитарка.

Через час после моей беседы с Зайцевым отряд был построен в неглубоком овражке у реки, и его командир доложил мне об этом. Я подошел к строю и осмотрел воинов. Одетые в легкие десантные куртки, с ножами и гранатами на поясах, все они выглядели отлично — статные, крепкие парни, как на подбор. Только на левом фланге виднелась маленькая, словно бы случайная фигурка. В сумерках я не рассмотрел лица этого солдата и подошел ближе. Оказывается, это была Машенька из Мышеловки!

— Послушайте, старший лейтенант,— обратился я к Сабодаху,— вы решили взять в рейд и Машеньку? Правда, отбор бойцов для этой операции полностью доверен вам, но девушке будет, пожалуй, не по силам...

Сабодах тряхнул головой и улыбнулся:

— Нет, это не случайно, товарищ полковник! Машеньку из Мышеловки я назвал первой. Она уже два месяца в разведроте, и в ней я уверен, как в себе.

Чуточку взволнованный звонкий голос спросил:

— Разрешите?

Я кивнул Машеньке:

— Слушаю...

— Очень прошу вас, товарищ полковник, оставить меня в отряде. Я знаю, что буду нужна.

— Что ж, Машенька, желаю успеха. Только запомни, что не близкий путь: двадцать километров до села, двадцать обратно. А главное — бой.

Она ответила даже весело:

— Все учтено, товарищ полковник. И главное учтено — бой...

Я сказал бойцам напутственное слово и каждому пожал руку. В девять часов вечера отряд двинулся. Осторожно и бесшумно ступая по следам командира, они повернули цепочкой за излучину оврага и вскоре исчезли в ночи.

С этой минуты время как будто стало идти медленнее. Ночь была темная и сырая. На переднем крае, как обычно, то возникала перестрелка, то устанавливалась настороженная тишина. Противник запускал осветительные ракеты и холодный, мертвенный огонь плескался по взгоркам, по оврагам, по зябкой ряби реки.

Я старался заняться очередными делами, но мысленно все время возвращался к отряду Сабодаха: где сейчас сорок наших воинов, как обстоят у них дела?

По расчетам, путь в двадцать километров они должны были проделать за три-четыре часа. Но

сколько времени займет бой, нападение на школу, в которой разместились фашистские офицеры, и на автоколонну?

Сабодах прикидывал, что эта операция продлится полчаса. Впрочем, возможно, и больше. В таком походе нельзя все предусмотреть, как нельзя забывать о хитростях и коварстве врага.

Если нашим бойцам удастся захватить автомашины, они должны примчаться еще ночью. Если машины не захватят,— еще три часа на обратный путь. Значит, отряд нужно ждать не раньше четырех часов утра.

С отрядом Сабодаха ушел и мой водитель Миша Косолапов. Прощаясь, он говорил:

— Машину выберу самую большую, семитонную. Есть у них семитонки, итальянской марки «СПА». Как-то довелось мне на такой трофейной «СПА» ездить,— огромная, как сарай. Вот, этакий «сарайчик» и мечтается мне «подцепить», да чтобы обязательно с бензинчиком!

Где он был теперь, бойкий и веселый Миша Косолапов? Все ли предусмотрел в ночном походе Сабодах? А вдруг три сельских паренька ошиблись и не заметили фашистских патрулей у школы и у автоколонны?

Ночью наши саперы закончили починку моста и бригада стала переправляться через Сейм на его восточный берег. К четырем часам утра отряд Сабодаха не возвратился. Не было слышно о нем ни к шести, ни к семи утра...

Фашисты подтянули свежие силы и бросили их в бой, стремясь овладеть мостом. На западном берегу реки мы оставили группу смельчаков, которая продолжала держать оборону, пока бригада займет новый рубеж. Связь с этой группой на некоторое время прервалась, так как вражеский снаряд оборвал провод. Поэтому я лишь в девятом часу утра получил из отряда Сабодаха первую весточку. Ее доставил шофер Иван Денисенко.

Он оказался самым удачливым в отряде, рослый, кудрявый, синеглазый донбассовец Денисенко. Он привел в бригаду грузовую трофейную машину с тремя тоннами немецкого бензина.

Как закончился ночной рейд отряда, Денисенко не знал. Он мог рассказать только о первой половине операции. Вот его рассказ.

— Дозвольте сказать вам, что поначалу все шло, как по маслу. И ночка темная, хоть глаз коли, и ветер шуршит — шаги скрадывает. Добрались мы до фашистских окопов неприметно: спят они, клятые, как барсуки. И время раннее, а спят. Видно, перед атакой отсыпаются. Ну, спите, думаем, харцызяки, чтоб вам не проснуться и через год! А тут не по плану получилось: кто-то из наших впотьмах на фашиста наступил. Фашист, как видно, подумал, что свои, ругаться начал, с кулаками полез... Пришлось его, конечно, приколоть, чтоб и другие не проснулись и лишнего шума не было. А другие — без внимания, лишь бы на них не наступили.

Трое ребят, комсомольцы из Гутрова, каждую кочку в поле знают: прямо к школе нас привели. Смотрим, окна в школе завешены и свет сквозь одеяла пробивается. Значит, не спят... Ближе подползаем, песню стало слышно; орут кто в лес, кто по дрова, да еще губные гармошки, будто колеса немазаные, поскрипывают.

А на улице полно машин, большие и малые, и все брезентом поверху затянуты. Груз, видно, важный, но охрана пустяковая — празду ребята говорили, два часовых на улице топчутся.

Залегли мы на огороде, притихли, ждем, пока эти лыцари нагуляются. В двенадцать часов ночи стало вроде бы тише... Тут старший лейтенант приказ по цепочке передал: у каждого окна по два бойца должны стать, а у дверей — пять автоматчиков.

Школа одноэтажная, деревянная, шесть окон и одни двери. Условие такое: по свистку командира десантники выбивают окна и швыряют в классы по гранате и по головой шашке. Автоматчики врываются в здание и открывают огонь.

Но еще первая наша задача нерешенной оставалась: надо было точно узнать — двое часовых у колонны или больше. Тут эта девушка, Машенька, в разведку пошла. Смелая дивчина и легонькая, как тень... Ждем ее пять минут, десять. Двое часовых посреди улицы стояли, а потом ближе к машинам отошли.

Я рядом с командиром у забора лежал. Прикоснулся он к моему плечу, шепчет:

— Будешь машину гнать — запомни: у въезда в село часовые стоят.

Тут Машенька вернулась: я даже не заметил, как она проскользнула под забором огорода.

— Точно, товарищ старший лейтенант,— говорит,— часовых двое, но в машинах, в кабинах и в кузовах, фашисты храпят.

— Придется им побудку устроить,— будто сквозь смех ответил Сабодах и щелкнул три раза пальцами. Это был сигнал: трое десантников, еще в пути им отобранные, двинулись ползком к автоколонне...

Денисенко увлекся рассказом, но я его не прерывал: мне было интересно знать все подробности операции.

— Доложу вам, товарищ полкозник, что эти трое бойцов, Сабодахом отобранные, очень ловкие пластуны. Ползут — ни шороха, ни дыхания, ни самого малого звука. А через минуту докладывают:

— Порядок... Часовых нет.

Тут Сабодах негромко скомандовал:

— Пошли...

Он первый около дверей очутился. Рядом с ним я и Машенька из Мышеловки. Азартная девчонка, всегда впереди... Все у нас шло до сих пор по расписанию: школа окружена, ребята с гранатами у окон. Однако сверх программы какой-то пьяный фашист вдруг из двери вывалился. Как видно, свежим воздухом захотел подышать. Сабодах подхватил его на руки и мертвого к стенке бросил. Машенька по ступенькам метнулась, и в коридор.

Теперь Сабодах скомандовал:

— Шоферы — по машинам...

Кинулся я к первой машине и уже на бегу услышал короткий свист. Грянули гранаты и шашки, затрещали автоматы... Правду сказать, я не оглядывался: мое задание — машина, и каждая минута дорога. Рванул я дверцу трехтонки, и она свободно открылась, но там в кабине фашист развалился и храпит. Ну, дьявол, только с тобой и возиться: схватил я его за шиворот и коленом под ложечку, а сам за руль.

Не видел я и не знаю, а лишнего не скажу, как дальше наши дела повернулись. Мотор мой сразу же завелся, и я давай скорость набирать. Дорогу хорошо помню, мы ведь совсем недавно дрались за это село, но только на окраине она перекопанной оказалась. Ехал бы я тише — наверняка застрял бы, а тут я с правилами не считался и только позже вспомнил, что канаву перелетел...

— А как же на переднем крае противника,— спросил я Денисенко,— не пытались вас задержать? Не стреляли?..

Он удивленно развел руками.

— Признаться, переднего края немцев я не заметил. Кто-то закричал, кто-то из-под машины шарахнулся. Да все это полбеды — тут в небе загорелась ракета, и я увидел мост. Ну, если мост,— значит, дома. Бензин, доложу вам, первый сорт, да еще бочка тормозной жидкости оказалась. А что касается машины, на счетчике у нее пять тысяч километров.. Новенькая, и нам она в самый раз!

— За бензин и машину спасибо, Денисенко,— сказал я.— Но ваши товарищи до сих пор не вернулись.

Красивое лицо солдата побледнело:

— Вот оно что... Я думал, они давно уже отсыпаются. А все-таки они вернутся. Иначе не может быть.

— Почему вы уверены?

— С таким командиром, как Сабодах, не пропадешь.

Денисенко ушел к своей трофейной машине, а я еще раз позвонил в первый батальон. Мне снова ответили, что отряд Сабодаха из ночного рейда не вернулся.

Нет, уверенности Денисенко я не мог разделить. Я знал, что на этот участок фронта противник подбросил свежие силы. Теперь на каждого нашего бойца приходилось три-четыре фашиста. Пройти через боевые порядки врага среди бела дня было почти невозможно.

И все же надежда на счастливый исход оставалась. Она никогда не покидает на войне. Я видел немые вопросы во взглядах офицеров, когда они обращались ко мне по разным текущим делам. Все они знали о рейде отряда и ждали о нем сведений. Но я ничего не мог им сказать. Единственное, что нам оставалось,— ждать.

6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТРЯДА

Сколько бы ни было у солдата тревог в горячую боевую пору, через какие бы опасности он ни шел, а сон, как верно говорит пословица,— лучшее лекарство от всех бед. Однако сон на передовой особенный, чуткий; бывалые солдаты знают правило: лег — свернулся, встал — встрепенулся и тут же действовать готов.

Бессонная ночь давала себя знать, и я прикорнул в блиндаже, на восточном берегу реки, неподалеку от моста.

Как видно, таковы секреты сна, что видится то, о чем думается. Явственно увидел я во сне наш рейдовый отряд, идущий необычной огненной дорогой, раскаленной добела. Черная степь, и только эта дорога пылает, а впереди обрыв, бездонная пропасть, и никто из бойцов не замечает ее.

Одна забота у меня: скорей бы добежать к отряду, крикнуть, предупредить об опасности, но странное дело — голос непослушен мне, и я задыхаюсь, хриплю, но не могу вымолвить слова...

Вот первым уверенно шагает плечистый и статный старший лейтенант Сабодах. Огонь ему нипочем, пламя покорно ложится под ноги, легкие искры взлетают из-под сапог. Но до обрыва остались считанные метры, а он все еще не видит неминучей беды.

— Стойте...— шепчу я.— Стойте! Сейчас же вернитесь назад...

И теперь я отчетливо слышу голос Сабодаха.

Открываю глаза. Да, он стоит у входа в блиндаж, стройный, подтянутый, в ладной десантной куртке, и разговаривает с моим адъютантом, чему-то негромко смеясь. Теперь я понимаю: это уже не сон,— это правда.

— Значит, вернулись? Здорово! Ну-ка, докладывайте, старший лейтенант.

Сабодах, как всегда, сдержан, спокоен, только карие глаза поблескивают веселыми огоньками. Он коротко, четко докладывает о ходе операции, а потом я приглашаю его присесть к столу, и мы ведем беседу, как старые друзья.

— Во-первых, рассказывайте, как вы прорвались через передний край противника. Фашистов сейчас за Сеймом, я знаю, такое множество, что и плюнуть негде... Как же вам удалось проскользнуть?

Лишь теперь я замечаю, что Сабодах ранен. Из-под рукава его десантной куртки виден свежий бинт. Он перехватывает мой взгляд, убирает со стола руку, объясняет чуточку смущенно:

— Свежая отметина. Уже в самом конце операции получил, когда фронт переходили. Правда, в бою в коридоре школы тоже был ранен, да Машенька, спасибо ей, тут же повязку наложила. Случилось, что в самую горячку меня какой-то босяк фашистский ножом в спину ткнул. Может, вторым ударом и свалил бы, но Машенька из автомата его срезала...

Сабодах пытается приподнять руку и кривится от боли.

— Все-таки счастье, что в лопатку не попал. Иначе бы, пожалуй, насквозь продырявил. Ну, это пустяки... А прорвались мы через линию фронта с боем. Взвод фашистов полностью уничтожили и четырех пленных привели. Этот удар с тыла был для них настолько неожиданным, что нам почти не оказали сопротивления. За время операции у нас четверо убитых и трое раненых. Себя я к этому не отношу — у меня ерунда, царапины. Зато фашисты в одной только школе потеряли полсотни убитыми, да в автоколонне десятка три, да еще при нашем отходе не менее десятка. К этому нужно прибавить взвод, потерянный ими на передовой. Тут арифметика в нашу пользу!

В блиндаж вбежал начальник штаба Борисов; таким взволнованным и радостным я видел его впервые.

— Где этот славный мóлодец, товарищ Сабодах, которого пуля боится и штык не берет?! — закричал он и крепко обнял старшего лейтенанта за плечи.— Да, товарищ Сабодах, друг мой сердечный, это, скажу вам, была настоящая операция! Только что наши радисты перехватили донесение противника из села Гутрова своему штабу. Они сообщают, что в Гутрове почти полностью уничтожен весь вражеский гарнизон. Противник потерял до двухсот человек офицеров и солдат, и только в школе — сорок офицеров, которые направлялись на передовую...

Сабодах улыбнулся:

— Ну, им виднее. Теперь у них есть время подсчеты вести. А мне сгоряча казалось, будто мы уложили их до сотни. Тут я и тех учитывал, что на передовой.

Борисов потирал руки и смеялся:

— А какого офицера вы привели! Штабника... Сейчас он проклинает день, когда родился. Но в кармане у него, между прочим, письмо оказалось. Пишет он какой-то своей Гретхен, что обязательно дойдет до Урала и что пленных не будет брать.

Сабодах стиснул зубы, карие глаза его потемнели:

— Знал бы я, что это такая шкура...

Борисов легонько прикоснулся к его плечу:

— Вот и хорошо, что не знал. Сейчас этот вояка подробные показания дает, все начистоту выклады-

вает, и опять-таки, «на Урал просится»! Клянется, что будет хорошо работать где-нибудь на нашем заводе, словно затем и притопал сюда, чтобы поскорее попасть к станку.

Я спросил у Сабодаха, кто из бойцов отряда особенно отличился в рейде. Он с минуту напряженно думал, а потом сказал решительно:

— Все...

— Но среди отважных,— заметил Борисов,— есть самые отважные.

— Если кого и следует назвать,— твердо заключил Сабодах,— так первой Машеньку из Мышеловки.

— Вы словно бы сговорились с Денисенко,— усмехнулся Борисов.— Он тоже о Машеньке твердит...

— Денисенко? — удивился Сабодах, и глаза его повеселели.— Значит, он прибыл?.. В таком случае вношу поправку: наши потери не четверо убитых, а трое. Денисенко после похода я еще не видел. Как он добрался? Не ранен? Очень хорошо! Три тонны бензина доставил? Ну, здорово! А если и он о Машеньке говорит, верное слово — прав Денисенко. И что за девушка! Где вы ее, товарищ полковник, разыскали? Ни тени страха... Под градом пуль она вынесла с поля боя раненого сержанта Бугрова. Потом оказала помощь еще двум раненым, а когда к ней кинулся фашист-офицер, уложила его из пистолета... Извините, товарищи комбриг и начальник штаба, сколько живу я на свете, право, не видывал таких отважных девчат! Она все время была в бою и в самом центре схватки. Как она швыряет гранаты! И особенно запомнилась мне минута, когда мы в класс из коридора ворвались. Какой-то верзила выбил у Машеньки из рук автомат. Что же вы думаете: растерялась? Нисколько! Бросилась на пол, немецкий автомат подхватила и давай оставшихся фашистов добивать.

— Я только что беседовал с Машенькой из Мышеловки,— сказал Борисов.— Сейчас она бойцам десантные куртки чинит. Веселая, но о себе ничего не рассказывает. Я, говорит, сражалась, как и все...

Сабодах наклонил голову, чуть приметно улыбнулся.

— И не расскажет. Что себя на первый план выставлять? Но я отрядом командовал и все видел. Кроме Машеньки, особенно отличились в бою сержант Федор Бугров и рядовой Иван Буланов. Как только мы с фашистами в школе покончили, — сразу к автоколонне обернулись. Тут уже обстановка сложнее оказалась. Машины стояли вплотную одна к другой, и когда две первые загорелись, выкатить какую-нибудь машину из колонны стало невозможно. Фашисты, те, что на машинах спали, успели, конечно, проснуться. Начался бой... Где наши, где враг — в суматохе не разберешь. Я подал команду:

— Жги машины!..

Наши ребята и давай по бочкам из автоматов строчить. Бугров к середине колонны прорвался. Тут его группа фашистов окружила. Заметил это Буланов и на выручку сержанту бросился. Всю группу они уничтожили, только Бугров был ранен. Буланов его в сторонку отнес, крикнул Машеньку и тут же в бой вернулся.

Сабодах привстал с табурета, широко развел руки:

— Какая там жарища была! Представляете, сотня машин, и почти все с бензином. Пламя — до самых небес, бочки, как бомбы, рвутся, огненные брызги летят,— вся площадь в сплошном огне...

Я отпустил Сабодаха и сказал Борисову:

— Товарищ майор, оформите материал на представление к правительственным наградам солдат и сержантов отряда старшего лейтенанта Сабодаха...

— Есть оформить материал! — с готовностью отозвался Борисов и достал из кармана кителя уже приготовленный список бойцов отряда.— Обратите внимание... Под Киевом санитарка Мария Боровиченко была награждена медалью «За боевые заслуги», затем под Конотопом — медалью «За отвагу»... Совсем недавно ей вручен орден Красной Звезды... Теперь она заслужила орден Боевого Красного Знамени...— взволнованно сказал начальник штаба, человек суровый и требовательный.

7. В БОЯХ ЗА ТИМ

Есть на востоке от Курска городок Тим. Здесь после бесчисленных боев, преодолев огромный путь, наша бригада заняла оборону.

Как видно, противник был уверен, что взять этот городок ему будет нетрудно. Он знал, что наша

бригада двадцать пять суток вела ожесточенные сражения. Ряды бригады за это время снова поредели; немалая часть пушек и танков была подбита. Мы ждали свежих сил и пополнения оружием, но и люди, и новые танки, и пушки находились еще в пути. Значит, остановить противника мы должны были прежними силами.

Фашисты верили в удачу своего наступления на Тим еще и потому, что в эти дни к ним подошли свежие подкрепления: много пехоты и танков.

Едва мы расположились в городе и окрестных селах, как противник бросил против нас группу танков. На окраине Тима завязался жаркий бой, в котором наши артиллеристы сожгли пять вражеских машин. Их уничтожила батарея старшего лейтенанта Комоля. Фашисты остановились. Уцелевшие танки быстро отошли на исходный рубеж.

Наши воины ликовали: ведь эту мощную атаку отбила одна батарея! Новенькие машины врага, только сегодня доставленные из далекой Германии, уже превратились в груды горелого железа.

При отражении атаки мы захватили в плен двух вражеских танкистов. Они рассказали, что фашистское радио уже успело сообщить о взятии Тима и даже о трофеях, которые гитлеровцам как будто удалось здесь захватить. Впрочем, фашистам везде и всегда чудилась богатая добыча. На окраинах Тима они получили подзатыльник, однако хвастались «трофеями», не стыдясь брехни.

Мы знали, что враг соберет силы и повторит атаки. Ведь сообщение, переданное по радио, обязывало генералов противника во что бы то ни стало взять этот город.

Обозленные потерей танков, они бросили на Тим соединения бомбардировочной авиации. В действие вступила и артиллерия противника. Сотни снарядов и бомб обрушились на маленький деревянный городок. Тим запылал... Еще более мощная группа танков врага ворвалась на его улицы. Теперь бои шли за каждый квартал, площадь, улицу, за каждый дом.

Название безвестного городка в эти дни прогремело на весь мир. Битва на развалинах Тима с каждым часом становилась все ожесточенней.

В самый разгар боев за Тим я решил побывать в батальоне, которым командовал капитан Наумов. Этому героическому батальону в тот день довелось отбить шесть танковых атак врага, но и теперь, имея крупные потери, он сдерживал натиск целого полка фашистов.

Где находился наблюдательный пункт капитана Наумова, я не знал, так как в условиях боя в городе он все время перемещался. На окраине, в переулке, я встретил молодого крепыша-сержанта. Легко раненный в руку, сержант побывал у санитаров, сделал перевязку и теперь возвращался в свою роту. Он сказал, что может провести меня к Наумову.

Сержант оказался бывалым воином, он выбирал дорогу расчетливо и умно. Сначала мы пробирались глубокой канавой, потом перешли в лощину, поднялись на гору и молодыми посадками садов вышли к длинному старому сараю.

Где-то совсем близко отсюда строчил пулемет, время от времени рвались гранаты и сыпались автоматные очереди.

Дверь сарая была распахнута, и когда я шагнул через порог, навстречу мне поспешно поднялся комиссар батальона Крылов. Кроме него, здесь были два телефониста и в уголке на охапке соломы, свернувшись калачиком, дремал солдат.

Я спросил, где командир батальона. Усталый, с черным от копоти и гари лицом комиссар указал на ближайшие дома.

— Капитан Наумов находится в первой роте. Там тяжело ранен командир. Сейчас командует ротой сержант Егоров. Вот уже в течение часа бой идет за эти четыре дома...

Солдат, сладко дремавший на соломе, поспешно поднялся, поправил ушанку, одернул шинель. Был он невысокий, но стройный, черноглазый, с медицинской сумкой через плечо. Я сразу узнал Машеньку из Мышеловки.

— Как же вы здесь очутились, разведчица? Право, и не узнать.

Она стояла передо мной по стойке «смирно».

— Да, товарищ полковник, я давно уже работаю в артиллерийском дивизионе товарища Кужеля. Все наши пушки сейчас стоят в двух кварталах отсюда на прямой наводке.

— Вы даже разговариваете, как артиллерист...

Машенька смущенно улыбнулась:

— Да ведь я в дивизионе уже не первый день! Еще в боях под Тимом в этом дивизионе вышли из строя все медицинские сестры. Товарищ Волков предложил мне работать здесь. Я согласилась и нисколечко не жалею.

— Это хорошо, Машенька, что вам везло,— сказал я.— Но сейчас, в ожесточенном уличном бою, вам не место. Немедленно направляйтесь в медсанбат. Для вас и там найдется немало дела...

Казалось, она не поверила этому распоряжению и смотрела на меня удивленно:

— Вы направляете меня в тыл? Но ведь сейчас идет уличный бой, и раненым нужна помощь.

Крылов наклонился ко мне и сказал негромко:

— Это, знаете, какой-то бесенок. Она все время была с бойцами в передовой цепи. Я чуть ли не силой вытащил ее с поля боя.

Машенька сделала шаг вперед, заговорила взволнованно:

— Я помню, товарищ полковник, в те дни, когда мы сражались у Мышеловки, вы считали меня ребенком. Но ведь я многое пережила и многому научилась за месяцы войны. Главное, я научилась умело оказывать в бою помощь раненым. Сегодня под пулеметным огнем противника я вынесла пятерых тяжелораненых бойцов. Что, если бы не было меня здесь? Они бы наверняка погибли. Прошу вас, не считайте меня малюткой. Учтите, на моем счету уже есть с десяток фашистов... Нет, я не пойду в тыл. Вот отдохну немножко, и опять на батарею.

Мне было жаль потерять эту отважную девушку, и я спросил Крылова:

— Как вы поступаете, комиссар, если боец не выполняет приказ командира?

Он понял и, сдержав улыбку, ответил строго:

— В крайнем случае мы применяем силу.

— Что же делать? Примените силу и к Машеньке и отправьте ее в медсанбат.

Телефонисты засмеялись, а Машенька вздрогнула и, чувствуя себя виноватой, опустила голову:

— Слушаюсь...

Однако уйти в ту же минуту ей не удалось. На огороде, напротив сарая, поднялась цепочка бойцов и двинулась в обход небольшого домика. Загремели разрывы гранат, резко застучали автоматные очереди.

Я вышел из сарая и привстал на какое-то бревно. Грянула пушка в переулке, взметнулась пыль, и громкий радостный голос прокричал:

— Ай, молодцы! Прямое попадание...

Машенька не ошиблась: снаряд угодил прямо в пулемет противника, разметав его в куски; на углу дома застыли четыре трупа.

— Смотрите, а вот и господа завоеватели! — весело воскликнула Машенька, указывая в сторону переулка.— Сколько их? Ого, пятнадцать...

Вдоль забора два наших автоматчика гнали группу пленных фашистов. Поминутно «кланяясь» пулям и воровато озираясь по сторонам, гитлеровцы торопливо шли в наш тыл.

— Пожалуй,— сказал я Крылову,— сегодня мы вышибем из города этих громил. Наши дела идут успешно, и потери противника очень велики.

Он не успел ответить,— воздух стал наполняться тяжелым, нарастающим гулом, и мне показалось, что маленькое деревцо, стоявшее рядом, затрепетало зыбкой дрожью до каждого кончика ветвей.

Это на город заходили вражеские бомбардировщики. Сколько их появилось над нами, я не мог сосчитать. Они шли девятками, группа за группой, и не было видно конца этому воздушному войску, меченному черными крестами.

Мы отсчитывали секунды. Сейчас от тяжелых туш самолетов оторвутся бомбы. Сейчас...

Но ведущий самолет противника уже миновал наши боевые порядки. Он словно замер над площадью, где оборонялись фашисты, замер и вдруг ринулся в пике...

Весь груз его бомб обрушился на гитлеровцев. Какая ошибка! Да, какая счастливая для нас ошибка! Другие самолеты, вслед за командирским, тоже ринулись вниз, громя свои войска, и черная туча заволокла их оборону.

Машенька прыгала от восторга:

— Замечательно!.. И до чего же это приятно, товарищ полковник. Это же самый радостный сюрприз!

— Ты права, дочка, случай замечательный. Интересно было бы узнать, сколько их полегло от этого налета? А как сейчас чертыхаются те, что уцелели! Теперь, я думаю, главному их пилоту несдобровать...

— Вот, уже и отбомбились,— негромко заметил Крылов.— А сейчас нужно ждать танковую атаку. Они всегда так действуют: после налета авиации в дело вступают танки.

Словно подтверждая слова комиссара, со стороны переулка кто-то крикнул:

— Танки!

Я обернулся к Крылову:

— Сколько у товарища Кужеля здесь, в переулках, орудий?

Он заметно смутился:

— Право, не могу знать.

Откуда-то снова появилась Машенька; она стала рядом с комиссаром:

— Я знаю, товарищ полковник... У товарища Кужеля восемь орудий и при каждом орудии по тридцати снарядов.

— Молодец, дочка... Ты совсем военный человек!

Машенька подбежала к забору, выглянула в переулок:

— Танки! Смотрите, они направляются прямо на батарею Волкова. Вон, видите, меж двумя сараями стоят четыре орудия? А танков шесть штук... Ох, и задаст же им Волков перцу!

Я видел, как неподалеку, на перекрестке, шесть вражеских танков медленно выкатились из-за угла дома и одновременно развернулись к востоку. Фашистские танкисты действовали неторопливо и уверенно. Как видно, они сознавали свое превосходство в силе. Я подумал, что, возможно, за этой шестеркой шло еще большее количество машин. На это было похоже: танки словно бы ожидали подкрепления.

Однако медлительность объяснялась другой причиной. Я это понял, как только расслышал гул самолетов. Оказывается, танкисты ожидали, пока их авиация нанесет по нашим частям бомбовой удар.

Теперь фашистские летчики уже разобрались в расположении войск. Они стали бомбить наши позиции в центре города. Туча густого черного дыма, пронизанного огнем, заклубилась над крышами зданий, над грудами развалин, где только недавно угасли пожары.

Машенька еще стояла у забора, и я крикнул ей, чтобы она вернулась в сарай. На бегу она глянула вверх, всплеснула руками:

— Ложитесь.. Прямо сюда бомба летит...

Я бросился на землю. Земля всколыхнулась, и стены сарая зашатались, рухнула крыша, и где-то вверху с треском переломилась балка.

Задыхаясь, я выбрался из вороха соломы, глины, камней и щепок, схватил за плечи Машеньку, помог ей подняться на ноги. Вокруг уже бушевал огонь.

— Фугаска. Пятьдесят килограммов,— деловито сказала Машенька.— У нее очень сильная волна.

Я заметил: на ней тлела шинель.

— Ступай-ка ты, «фугаска», в медсанбат. Как только немного затихнет, отправляйся.

Отплевываясь от пыли, весь черный и продымленный, Крылов спросил:

— Куда же теперь перенести наш наблюдательный пункт?

— Я знаю,— сказала Машенька.— В ста метрах отсюда я заметила яму. Там безопасно от бомб.

Весь квартал, в котором мы находились, был охвачен пожаром. Дым застлал огород, переулок, соседние дворы. Переходя на новое место, мы потеряли наблюдение за танками врага. Я не заметил, как отбилась куда-то в сторону Машенька...

Неожиданно из-за сарая, в котором мы только что находились, выползли три фашистских танка. Тут было чему поразиться: как же они пробрались сюда совершенно незаметно? Наверное, из-за грохота бомбежки мы не расслышали приближения этих машин...

Мы бросились на землю и поползли вдоль забора. Дым пожара теперь маскировал нас. Но за танками должна была следовать вражеская пехота. Странно, что она не появилась. Где-то близко зарокотал станковый пулемет. Я понял: наш пулеметчик отсек фашистскую пехоту от танков.

Придерживаясь направления, указанного Машей, и миновав два или три двора, мы добрались до ямы, залегли. Дым постепенно рассеивался, и вот перед нами мелькнула знакомая фигурка.

— Смотрите, товарищ полковник... товарищ комиссар! — звонко закричала Машенька. — Ну, что я вам говорила? Там, где стоят орудия нашего дивизиона, ни один вражеский танк не пройдет. Пять танков горят, как свечи! Все они подбиты батареей моего командира товарища Волкова!

— Правильно, детка! — улыбнулся Крылов.— Мы знаем, Машенька слов на ветер не бросает...

Через минуту мне донесли, что подбиты еще три вражеских танка, а их экипажи взяты в плен.

Это были те самые машины, что так неожиданно появились у сарая.

Среди пленных фашистов оказался командир танковой роты некий Ганс Гот. Его привели ко мне. Это был здоровенный, пропахший водкой детина, хмурый, немытый, с двумя «Железными крестами»

на кителе. Пугливо озираясь по сторонам, он устало опустился на землю. Но Машенька строго приказала:

— Встать!

Фашист взглянул на нее изумленно, протер глаза и снова взглянул, брови его приподнялись, челюсть отвисла. Он тут же вскочил на ноги, вытянул руки по швам.

Картина была потешная, и наши телефонисты прыснули от смеха.

Машенька строго посмотрела на них и приказала:

— Прекратить!..

— Дочка умеет командовать,— негромко заметил Крылов.— Верно, Машенька. Время не для смеха.

Я крикнул переводчика, и когда он, запыхавшись, спрыгнул в яму, приказал фашисту отвечать, когда он прибыл в Тим, какой он части и какая перед ними была поставлена задача. Ганс Гот заговорил совсем о другом.

— Война скоро закончится нашей победой, господин полковник,— сказал он.— Что ж, если сегодня я пленный. Завтра я опять буду начальником. Давайте договоримся: вы спасете мне жизнь, не расстреляете меня, а я похлопочу за вас... В благодарность я спасу вам жизнь...

Машенька стиснула кулаки и двинулась на фашиста:

— Да ведь он с ума сошел! Что он бормочет, мерзавец?!

Она обернулась ко мне:

— Разрешите, товарищ полковник, я положу ему на лоб компресс? Может, он придет в себя, и мы услышим что-нибудь поумнее!

— Вот что, Машенька,— сказал я.— Возьмите автомат и отведите этого болвана в штаб.

— Есть отвести в штаб! — откликнулась Машенька.

— Шнель! Пошли!

Ганс Гот попятился, выкатил глаза и, заикаясь, что-то пробормотал переводчику. Вдруг он опустился на колени и воздел к небу руки. Из его горла вырвалось тоскливое, протяжное «О-о-о!».

— Что он ломается? — снова рассердилась Машенька.— Ну-ка, прощелыга, вставай...

— Он просит вас, товарищ полковник,— объяснил переводчик,— дать ему другого конвоира. Он говорит, что если его увидят пленные фашисты, для него это будет несмываемый позор: Ганс Гот, и вдруг под конвоем девчонки!

Машенька окончательно разозлилась: дуло автомата прижалось к животу фашиста.

— Ах, вот оно что! Да как же ты посмел, верзила, меня, советского воина, девчонкой называть? Марш, проходимец... Шнель!

Ганс Гот сгорбился, повернулся и, приподняв вверх руки, поплелся переулком, впереди Машеньки, на восток.

Я кивнул автоматчику:

— Сопровождайте вы этого ухаря. На всякий случай...

Крылов провожал Машеньку смеющимися глазами:

— Какая девочка... Огонек!

8. МАША И МИША

Впервые они встретились в бою, и после этой встречи пришла настоящая большая дружба.

Маша — разведчица и санитарка. Миша — старший фельдшер санитарной роты 34-го гвардейского стрелкового полка.

Двое молодых людей, оба уже бывалые воины, они делили в окопах в приволжской степи и корку хлеба, и горечь утрат, и ежедневные опасности, и радость наших могучих контратак.

Я думаю, что они так крепко подружились, потому что поверили в отвагу друг друга. Машенька из Мышеловки не терпела людей, слабых духом, тех, кто трусил при свисте бомбы, «кланялся» пулям, отставал в атаках, когда каждая выигранная секунда времени была исключительно дорога. Миша Кравченко из Ахтырки постоянно находился на передовой. Этот отважный юноша пренебрегал любой опасно-

стью. Если нужно было оказать помощь раненому, вынести его из-под огня, военфельдшер Кравченко не раз подползал к окопам противника и, отстреливаясь из автомата, отбиваясь гранатами, выручал товарища.

В полку о Мише Кравченко говорили, что ему удивительно везет. И действительно, он выходил невредимым из-под ураганного артиллерийского огня, из-под бешеного пулеметного обстрела, из-под бомбежек, каких еще не знала ни одна война, и даже пули снайпера не тронули его, хотя трижды пробили на нем ушанку.

Что бы ни случилось на передовой, как бы ни бесились фашисты, Кравченко оставался спокойным и уверенным, а его открытая, неизменная улыбка словно говорила: что ж печалиться, ведь мы живем!

Он хорошо играл на баяне и любил песни. Два или три раза мне довелось видеть его, когда их санитарная рота отдыхала. В долгой и яростной битве, которая началась у Волги летом 1942 года и завершилась только в начале февраля 1943 года, санитарам очень редко выпадали часы отдыха. Но когда все же рота получала возможность отдохнуть, Миша брал в руки свой потрепанный баян, и среди обугленных развалин, будто назло врагу, торжественно звучала и ликовала песня.

Он любил песни родной Украины, то грустные и задумчивые, то полные веселья и задора. В разрушенном городе, где на каждом шагу солдата караулила смерть, где снаряды и бомбы сплошь перепахали землю, удивительно необычно было слышать песню, повторенную эхом руин.

Воины нашей дивизии привыкли их видеть вместе, Мишу и Машу, на передовой. Если случалось, Машенька работала одна, у нее обычно спрашивали:

— Маша, а где Миша?

Если Миша работал один, вопрос соответственно изменялся:

— Миша, а где Маша?

Машу и Мишу знали в каждой роте дивизии, в каждом ее взводе, их любили, им верили.

Это доверие и любовь они заслужили. Я знаю, что и поныне живы многие десятки людей, которых в тяжелые, решающие минуты выручили в боях из беды Миша и Маша.

В сентябре 1942 года наш 3-й воздушно-десантный корпус был преобразован в 87-ю стрелковую дивизию. За стойкость и мужество в боях за город Тим дивизии присвоили звание гвардейской, переименовав ее в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию, и нам было приказано переправиться на правый берег Волги. Сразу же после переправы с левого берега наши батальоны вступили в бой.

После победоносного завершения этой битвы в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков наступил решительный перелом: наши войска приступили к планомерному разгрому бесчисленных полчищ противника.

В городе у Волги наши бойцы бесстрашно сражались за каждую площадь и улицу, за каждый квартал и дом, за каждый подвал и этаж и даже за каждый камень.

23 и 24 сентября дивизия непрерывно вела бой, зачастую переходивший в рукопашные схватки,— штыками отбрасывала наседавшего врага. Фашистское командование рассчитывало прорваться к Волге, а затем атаковать нас во фланг ударом вдоль реки. Этот план сорвался. Гвардейцы не дрогнули перед танками врага. Истекая кровью, гитлеровцы были вынуждены перейти к обороне.

Ранним утром 24 сентября я находился на командном пункте. Вокруг дымились развалины зданий, догорали остатки деревянных домов. Грохот танковых пушек, треск автоматов и пулеметов сливались в сплошной прерывистый гул. В воздухе то и дело взвизгивали пули, с коротким, пронзительным звоном рвались мины, и осколки, впиваясь в стены, дробили кирпич.

Залегая в бомбовых воронках, укрываясь за грудами щебня и остатками стен, наши автоматчики косили фашистов с расстояния в двадцать — тридцать метров. Близко от меня разорвалась граната, рыжим клубком взлетела глинистая пыль, и словно из самой пыли, пронизанной коротким блеском огня, вдруг поднялся человек.

Это была Машенька. Осматривая свою медицинскую сумку, она сказала кому-то с досадой:

— Ну что за паршивец — прямо в сумку осколок влепил!

Из-за развалин молодой голос отозвался:

— Больше не влепит, я его уложил...

Машенька бросилась через провал в стене, и только она исчезла, как на том месте, где стояла, грянула взрывом мина. Я успел подумать: «Счастье». Промедли она лишь несколько секунд, и все было бы кончено. Но она услышала стон раненого и поспешила на помощь. Так иногда случается на войне: человека спасает исполнение долга.

А еще через две-три минуты я увидел и Мишу Кравченко. Запыленный, в изорванной шинели, он осторожно нес вместе с Машенькой среди развалин тяжело раненного солдата. Им предстояло пройти по переулку, где противник простреливал каждый метр пространства, и я крикнул Кравченко, чтобы они шли вдоль стены...

Изумленный, он выпрямился и, не выпуская раненого, неловко козырнул:

— Как же вы, товарищ генерал... Вам нельзя здесь находиться, ведь вы руководите боем.

— Спасибо за напоминание, Миша. Я должен видеть, как идет бой.

Он очень смутился:

— Простите...

Возвращаясь на свой наблюдательный пункт, я видел, как Маша и Миша снова вошли в дымящийся квартал. В тот день у них было много работы, и такой работы, которая не ждет, ибо каждая минута промедления — они постоянно помнили об этом — измерялась кровью солдат.

26 января 1943 года, после напряженной и кровопролитной борьбы, гвардейцы нашей дивизии, находившиеся на переднем крае в районе поселка Красный Октябрь, увидели, что с высотки навстречу спускаются советские танки. Высоко неся свое боевое знамя, воины бросились к танкам, и капитан Гущин первый обнял танкиста.

Эта незабываемая встреча означала, что сотни тысяч солдат и офицеров врага отныне были полностью окружены в руинах волжской твердыни.

Однако и окруженный, противник не думал сдаваться. Гитлеровские генералы надеялись, что им удастся вырваться из «котла».

Теперь перед воинами, которые так долго и упорно сражались за город у Волги, была поставлена задача — добить окруженную фашистскую группировку.

Бои разгорелись с новой силой и велись буквально за каждый квадратный метр земли.

Еще раньше, в конце декабря, наши соседи — войска 39-й гвардейской дивизии — выбили фашистов из цехов завода «Красный Октябрь». В одном из этих

разрушенных цехов был создан полевой лазарет, куда санитары доставляли раненых. Вблизи завода, в развалинах, еще удерживались гитлеровцы и зачастую открывали пулеметный огонь по цехам, но этот район наши бойцы уже считали тылом: здесь можно было ходить в полный рост.

После встречи в бою в конце сентября мне долго не довелось видеть ни Мишу Кравченко, ни Машеньку из Мышеловки. Из донесений я знал, что они по-прежнему в дивизии и что командир полка дважды представлял их обоих к наградам.

За два дня до уничтожения окруженной вражеской группировки, когда над истерзанным городом прогремел последний выстрел, случайно я встретил Машеньку и Мишу в поселке Красный Октябрь.

Был вечер, и над городом по-прежнему перекатывались громы орудий, и над Мамаевым курганом, изрытым снарядами и пропитанным кровью, висело тяжелое облако дыма. Там, на западном склоне, снова шел ожесточенный бой, но каждый наш воин помнил, что это были последние судороги фашистской армии. Она еще сопротивлялась. Бессмысленно гибли тысячи немецких солдат. Горели их танки; падали, зарываясь в землю, их самолеты; взлетали на воздух от огня прямой наводкой их дзоты и отлично построенные блиндажи. Дивизии захватчиков таяли с каждым часом, и в самом воздухе, насыщенном запахами горелого железа, порохового дыма и крови, уже угадывалась наша победа.

В этом многострадальном городе, где воины месяцами жили среди развалин, спали в подвалах, на щебне, на снегу, многим из них, конечно, было не до бритвы, не до иголки и утюга. А я всегда ценил в солдате подтянутость и аккуратность — проверенный признак внутренней дисциплины. И мне приятно было встретить двух солдат, которые, казалось, только что возвратились с парада.

Машенька и Миша Кравченко были одеты в новенькие шинели и ушанки, на ногах — добротные да еще начищенные сапоги. Минутой позже, разговаривая с ними и присмотревшись, я заметил на их шинелях множество штопок, но сделаны эти штопки были так искусно, сукно разглажено так старательно, что с первого взгляда, ни дать ни взять, новая шинель.

Конечно, это Машенька в свободный ночной час, где-то в уцелевшем подвале занималась их фронтовой одеждой. Но и выглядели оба свежими, радостными, будто и не были долгие месяцы в боях.

Они тоже обрадовались встрече, и когда я спросил, куда они спешат, Кравченко встал по стойке «смирно» и доложил:

— Выполняем приказ старшего начальника. Направляемся в цех завода «Красный Октябрь», чтобы осмотреть раненых. Ночью предстоит их эвакуация за Волгу, и мы должны отобрать первую группу.

— Вид у вас молодецкий, товарищи,— сказал я им и заметил, как радостно просветлело лицо Машеньки.— Дня через два-три, когда мы разобьем окруженного врага, поставлю я вас перед строем и скажу солдатам: вот пример...

— Мы в санитарной роте уже совещались об этом,— сказала Машенька.— Решили, что сразу же после того, как уничтожим в городе врага, все шинели, гимнастерки, шаровары, белье — в дезинфекцию и в ремонт. Через день, через два наша гвардия будет выглядеть, как на параде!

— Правильно, Машенька. Тут наши врачи и санитары должны себя показать. Вам ведь и в мирные дни нет передышки.

Она задумчиво смотрела на близкие дымы пожаров:

— В такое время мы живем! Но и в это время есть на земле радость...

Миша задумчиво улыбнулся:

— Мы считаем минуты: сегодня, или завтра, или, может быть, через день окруженные фашисты поднимут лапы. Какой это будет праздник! Особенно наш...

— Почему ваш... особенно?

Они переглянулись, и я понял, что две эти жизни словно бы слились в одну, а Кравченко подтвердил мою догадку:

— Когда кончится битва, мы... поженимся...

— Ну, что ж, дорогие,— сказал я им,— успехов и долгой жизни!

Однако мог ли я знать в ту минуту, что вижу Мишу Кравченко в последний раз!

Через два часа мне сообщили, что военфельдшер Михаил Кравченко убит вражеским снайпером в цехе завода «Красный Октябрь».

Позже я узнал, как это случилось. Фашистский снайпер притаился в развалинах на территории завода. Долгое время он ничем не выдавал себя, по-видимому, имея задание убить кого-нибудь из наших высших офицеров. Но, кроме санитарок и санитаров, в цех никто не входил. Потом появился Кравченко. Здесь, среди медсестер и санитаров, он был старшим, и его приветствовали, как начальника. Снайпер, наверное, решил, что дождался высокой жертвы...

Когда, просматривая список раненых, Миша остановился посреди цеха и вдруг уронил бумагу и медленно опустился на бетонированный пол, Машенька бросилась не к нему, нет, она метнулась к провалу в стене, откуда прогремел выстрел. Подхватив на бегу сломанный костыль, она надела на его конец свою ушанку и осторожно подняла над провалом. Ушанка тотчас же была пробита пулей.

Тщательно осмотрев ушанку, Машенька определила, откуда стрелял враг. При ней постоянно были две гранаты. Она пробежала вдоль стены и скользнула в другой пролом, у самого фундамента. А через минуту прогремели два разрыва гранат, и вражеский снайпер смолк навсегда.

Она вернулась в цех и молча опустилась перед Мишей на колени. Казалось, он спал, а она хотела поднять его, разбудить. Но Кравченко был мертв. Кто-то из санитаров с трудом отнял ее руки от его рук.

Через два дня многотысячное фашистское воинство, окруженное в городе у Волги, сложило оружие и сдалось на милость победителей.

9. НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Летом 1943 года, когда, разгромив отборные немецко-фашистские дивизии у Волги, наши армии развернули наступление на всех фронтах, гитлеровское командование решило нанести нам удар в районе так называемой Курской дуги.

В этот период я уже командовал корпусом, а в него входила и наша основная 13-я гвардейская дивизия. Ей снова пришлось вести ожесточенные бои с отборными эсэсовскими войсками.

После боев за Киев, Конотоп, Харьков, Тим, Щигры и после грандиозной битвы на Волге личный состав 13-й гвардейской переменился: многие воины ее пали смертью героев, многие были ранены и находились на излечении в госпиталях. Однако и сейчас я встречал здесь немало своих боевых друзей —

воздушных десантников, с кем с первого боя делил все невзгоды войны.

Машенька из Мышеловки по праву считалась ветераном дивизии, она принимала участие в нашем первом бою у родного поселка и еще тогда спасла от гибели нескольких бойцов.

Вот почему, навестив дивизию перед боем за станцию Обоянь и одновременно встретив четырех воздушных десантников, а пятую — Машеньку, я им обрадовался, как родным: сколько прошли мы вместе трудных фронтовых дорог и сколько пережили за эти два года войны! Мы встретились во время ужина, на кухне (я давно уже лично проверял, как кормят бойцов), и хотя ужинать не собирался, но не смог устоять перед дружным приглашением солдат и давно уже знакомого гвардейца-повара.

На долгом пути войны этот весельчак-повар не раз брал в руки автомат, и даже бывалые воины признавали его «работу» отличной. Помнится, под Щиграми фашистская разведка случайно проникла в расположение кухни, но повар и его помощники не растерялись: шесть гитлеровцев остались лежать на снегу.

Говорят, день на войне равен году, а ведь рядом с этими славными людьми я воевал уже почти два года. Мне было приятно в кругу боевых товарищей отведать добротного солдатского борща и пахучей гречневой каши, тем более, что нас обслуживала... Машенька.

— Что же это, дочка,— спросил я удивленно,— разведчица, боевая санитарка и... на кухне?

Она кивнула на повара:

— Дядя Кузьмич попросил помочь. Вечер какой-то особый, торжественный... Близко, очень близко родные места.

Я присмотрелся к Машеньке и заметил: лицо ее стало строже, серьезнее, во взгляде ясных черных глаз и в уголках губ затаились печаль и горечь.

Солдаты понимали, какую утрату понесла она в те последние дни сражения на Волге, и в их внима-

ний к ней угадывалось больше, чем уважение,— глубокое братское чувство.

— Скажи мне, дочка,— спросил я Машеньку,— что ты думаешь делать после войны, какие у тебя планы?

Она ответила задумчиво и негромко:

— А ведь нам еще долго воевать.

— Конечно, путь до Берлина не близок, а все же ты сама сказала, что уже недалече родные места. Вот скоро мы выйдем на Днепр, и ты сможешь, если захочешь, вернуться в Киев...

— Нет, я с дивизией до победы.

— Отлично. Другого ответа я и не ожидал. Но после победы какие твои, Машенька, планы?

Она порывисто вздохнула и убрала с виска непокорную прядь.

— Конечно, я вернусь в Киев. Может быть, потому, что он мне родной, краше города я не видела. В Киеве я поступлю в институт. В педагогический. Правда, придется крепко готовиться, но это не страшно. Я твердо решила идти в педагогический, чтобы стать учительницей и воспитывать детей. Миша мечтал стать врачом, а мне по душе школа. Я думаю, что учитель должен хорошо знать жизнь и должен быть очень добрым человеком. Какое это высокое и светлое дело — взять за руку малое человеческое дитя и терпеливо вести его из класса в класс и все отдать ему, что имеешь!..

Кто-то из солдат заметил в шутку:

— Другие любят не давать, а брать.

— Знаю,— сказала Машенька,— есть и такие. Только то люди прошлого, охотники за деньгой. Им непонятно, что самое главное богатство человека — он сам, ум его, душевная красота, сердце... Богатство учителя никогда не разменивается и не уменьшается: чем больше он дарит, тем более сам богат.

Видимо, из упрямства тот же солдат молвил негромко:

— Красивые слова! Школьники быстро забывают учителей.

Машенька тряхнула головой:

— Неважно. Это неважно. Представь, Никаноров, что ты учитель. А твой бывший ученик... Знаешь, кто? Василий Чапаев! Скажи мне, ты бы гордился?

— Ого! — удивленно воскликнул солдат, а все другие засмеялись.— Еще бы не гордиться таким учеником!

— Ну, а если бы он забыл и фамилию твою и отчество?

Никаноров шумно вздохнул и сказал виновато:

— Верно. Доконала. Сдаюсь...

Наверное, Машенька немало размышляла над этими вопросами, и теперь ей хотелось закончить свою мысль. Обычно молчаливая, сегодня она говорила увлеченно:

— У Кутузова, у Суворова, у Фрунзе, у Чапаева были свои учителя. Если они дожили до славы своих воспитанников, какая это радость — знать, что ты помог человеку взойти на вершину. Правда, нередко случается, что учитель не доживет до расцвета воспитанного им таланта. Все равно люди помнят, что он не напрасно прожил жизнь...

Я с удивлением слушал Машеньку: оказывается, я так мало знал о ней. Эта молчаливая девушка, скромная и бесстрашная, имела в жизни высокую цель — беззаветное служение людям.

— Я представляю себя в классе,— негромко, задумчиво говорила она.— Часто это случается: отвлекусь, размечтаюсь, и вижу себя в школьном классе. Вот они сидят передо мной, тридцать или сорок девочек и мальчуганов. Кто знает, нет ли среди них будущего Мичурина или Циолковского? Подумаю об этом, и сердце сильнее стучит, и хочется жить и жить, и не верится, что смерть каждый день рыскает меж нами...

Противник начал атаку на рассвете. Сначала он обрушил на наши позиции огонь целой сотни орудий, а потом из-за пригорка в лощину ринулись три десятка его танков.

Наши позиции молчали. В узеньких щелях, ничем не выдавая себя, замерли истребители танков. Фашисты были озадачены обстановкой: только вчера здесь шел бой за каждую высотку, овраг, межу, а теперь их танки и пехота продвинулись более чем на километр, не услышав с нашей стороны ни единого выстрела. Возможно, они решили, что, опасаясь мощной танковой атаки, мы отошли на другой рубеж?

Тридцать новых грозных машин, как видно, только что доставленных из Германии и еще не побывавших в боях, развернулись на склоне долины и прокатились над передовыми щелями нашей обороны. Пожалуй, танкисты противника даже не обратили внимания на эти траншейки, расположенные в шахматном порядке и отлично замаскированные травой. Но едва танки переметнулись через головы наших бойцов, затаившихся в щелях, как передний край ожил и двенадцать вражеских машин загорелись одновременно.

Потрясающая картина! Словно сама земля вдруг плеснула неистовым огнем по бакам, по гусеницам, по моторам танков, по черным крестам и белым черепам, намалеванным на их броне. Почти тотчас грянули автоматы, и пехота противника, ища укрытий, заметалась в степи.

Позже я узнал, что здесь, под Обоянью, кроме других частей противника, против нас сражалась дивизия СС, прибывшая недавно из Франции. Где-то там, под Парижем, эти вояки порядочно разжирели на даровых хлебах и привыкли бахвалиться своими победами. Они не знали настоящей войны, и наши гвардейцы преподали им первый урок, уничтожив девятнадцать танков и почти всю наступавшую пехоту.

Бой закончился в полдень, мы окружили и взяли штурмом станцию Обоянь, захватив значительное число пленных и трофеи. На поле боя осталось свыше четырехсот гитлеровцев и двадцать три сожженных и подорванных фашистских танка. Наши потери убитыми достигали ста человек.

Просматривая список потерь, я прочитал фамилию — Боровиченко. Фамилия мне показалась знакомой, хотя я не подумал о нашей боевой санитарке; в дивизии за ней укрепилась дружеская кличка — Машенька из Мышеловки.

И вдруг мне припомнился Голосеевский лес, и напряженный бой у окраин Киева, и двое беженцев в моем блиндаже, дядя и племянница Боровиченко.

Я схватил трубку телефона и вызвал врача.

Как бы часто смерть ни была нашей гостьей, но не верилось, не хотелось верить, что отважной Машеньки нет в живых.

Врач мне ответил:

— Да, это случилось на рассвете...

Солдат Алексей Никаноров, тот самый, что вечером в саду во время нашей беседы пытался возразить ей, а потом сдался, на следующий день уже на станции Обоянь рассказал мне подробности.

Когда танковая атака противника захлебнулась, Машенька бросилась к щелям, чтобы помочь ране-

ным. Здесь раненых было мало, три или четыре человека: щели надежно оберегали бойцов от пуль и осколков. Одному солдату с перебитой рукой Машенька помогла выбраться из траншейки, другого, с пулевым ранением в шею, вытащила за пояс и передала подоспевшим санитарам. Возможно, она не заметила, что уцелевшие танки врага возвращаются на исходные позиции. Одна из этих машин мчалась прямо на Машеньку, занятую третьим раненым. Это был лейтенант Корниенко, воин из вновь прибывших, новичок в бою. Он сразу же попросился на отважное дело и, пропустив над собой вражескую машину, сумел ее поджечь. Однако он был недостаточно осторожен и слишком рано попытался выйти из щели. Автоматчик противника серьезно ранил его в грудь.

Корниенко был рослый, здоровый парень, и Машенька едва тащила его на руках. Вероятно, потому, что ноша была слишком тяжелой и Машенька боялась ее опустить, она не заметила приближавшегося танка. А потом, когда заметила, поняла, что с тяжело раненным лейтенантом ей не успеть добежать до щели.

Она уронила Корниенко, упала рядом с ним, чтобы прикрыть его своим телом. В ту же секунду у ее ног разорвался снаряд. Танк с перебитой гусеницей завертелся на месте, пыля и глубоко вспахивая землю. Через несколько минут его добили наши бронебойщики. Корниенко остался жив, а Машенька, пожалуй, даже не ощутила боли. Осколок снаряда ударил ей в грудь и пробил сердце. Это случилось на рассвете, в долине, где шумят сочные тразы, а неподалеку, на окраине селения, зеленеют яблоневые сады.

На следующий день Машеньку хоронили. Воины-гвардейцы не умели плакать и стыдились случайной, непрошеной слезы как проявления слабодушия. Но тишина, повисшая над строем, была как немое рыдание и как клятва.

У ее могилы комиссар полка сказал несколько слов. Мне запомнился только обрывок фразы:

— ...Будем верными в дружбе, как ты, наша светлая Машенька из Мышеловки.

Время клонилось к вечеру, и накрапывал крупный дождь, и на западе в тяжелой туче густыми багровыми брызгами кровоточил закат.

☆

Вот и все, что я мог вспомнить об этой удивительной девушке в тот вечер у пионерского костра.

Утром я простился с пионерами, с их вожатыми и учителями. Автомеханик «дядя Федор» действительно оказался «профессором» по автоделу. Он вместе с Анатолием отремонтировал машину «с гарантией» и, пожимая мне руку, посмеиваясь в рыжие усы, сказал:

— Слушал я вас вчера и, право, будто заново все пережил. Вот и сейчас будто вижу их живыми — капитана Сабодаха, Машеньку из Мышеловки, шофера Денисенко, Федю Бугрова...

— Постойте, разве вы тоже их знали?

Он наклонил голову, и я заметил, как густо блестит из-под его кепки седина.

— Я участвовал в том ночном рейде с комсомольцами из Гутрова.

— Значит, вы были в нашей дивизии?

— Да, от самого Киева и до Днестра.

Так вот почему с первого взгляда мне показалось таким знакомым это обветренное, загорелое лицо!

Мы обнялись, а пионеры вокруг нас захлопали в ладоши и зашумели.

Окруженные ребятами, мы прошли тропинкой на поляну, где еще виднелись заросшие травой наши окопы. С расстояния времени в двадцать один год я словно бы снова слышал знакомые голоса и нарастающий гул атаки. А когда из березового подлеска на поляну вышла, разгребая руками высокую траву, смуглая девочка, стройная и черноглазая, я был готов поверить в чудо,— ну, точно Машенька из Мышеловки! Нет, это была Маша Воронок...

А чудо все же существовало: я видел по лицам, по взглядам ребят, что им передано самое главное — мужество отцов и ясная верность дружбы.

Юрий Шавырин

У жизни много дорог. И разными дорогами идут молодые поэты. Иным все дается легко: их детство и юность полны светлых воспоминаний, и суровые жизненные испытания им незнакомы. Но у других даже годы раннего детства полны горя и лишений. Отец Юрия Шавырина, почтовый работник, погиб на фронте в 1942 году, когда Юрию было шесть лет. Он родился далеко от тех мест, где сражался его отец, в городе Салаире, Кемеровской области, но тень войны легла и на этот маленький городок, который назывался далеким тылом. Невеселые, долгие, трудные годы...

До пятнадцати лет жил Юрий в поселке Барит. После семилетки учился в ремесленном училище на радиорегулировщика. Стихи стал писать с восемнадцати лет. Ныне он студент пятого курса Литинститута.

Вот перед нами его поэма «Встреча с отцом». Она суровая, шершавая, необычная. Но она и привлекает именно своей скупой, беспощадной правдой. В ней нет пустой красивости, которая во множестве встречается в стихах молодых поэтов. В ней нет и водянистой философии, ложного глубокомыслия. Она представляет тот глубокий внутренний диалог автора с жизнью, который не может не затронуть читателя. Речь идет о главном — о том, за что пожертвовал своей жизнью отец героя поэмы.

Отцы жили тоже трудной, трудовой жизнью, но они твердо знали, на защиту какой страны, на защиту какого строя жизни пошли в смертный бой. Мне нравится, что молодой поэт ставит перед собой трудную задачу, не боится говорить о боли, о грусти, о страдании, находя для них подлинные поэтические выражения. Он умеет вмещать большой смысл в суровую краткость своего стиха.

Не только та высота, на которой погиб отец, живет в памяти сына. Недаром он говорит:

И чертою своей любою,
Повторяя твои черты,
Я останусь самим собою,
Чтоб достичь твоей высоты.

Поэма «Встреча с отцом» Юрия Шавырина — доброе начало стихового пути. Он поэт думающий, волевой, дорожащий словом, обещающий... Будем справедливы, и, если есть за что ругать молодого поэта, будем его ругать без жалости, но если есть за что хвалить, то и похвалим его перед лицом большого нашего читателя.

Николай ТИХОНОВ

ВСТРЕЧА С ОТЦОМ

Поэма

Часть первая

1

Замечали, в углу укромном,
Где вокруг тебя ни души,
Не считаешь себя нескромным —
Сильным мнишь себя и большим.
А в густую толпу замешанный,
Вдруг лишаешься всех прикрас;
Я брожу по Москве, уменьшенный
В шесть миллионов раз.
От сибирского солнца рыжий,
Вырастал я в краю глухом,
Там с высокой дощатой крышей
Затерялся наш старый дом.
О холодного камня груды —
Многостенные терема!
В них порой мы с нездешней грустью
Вспоминаем свои дома.
Словно мать вспоминаем. Впрочем,
Потерявшая с домом связь,
Мать моя, оставаясь в прошлом,
В нашей памяти с ним срослась.
Вот опять с неотвязной мукой
Вспоминает наш прежний кров —
Там она потеряла мужа
И заездила трех коров.

2

Помнит памятью незабвенной
Поколенье моей земли
То, что с первой поры военной
Безотцовщиной нарекли,
Умещавшийся на ладони
Черный хлеб, тяжелей свинца,
И размытые слезы вдовьи
На последнем письме отца.
От отцов остались в наследство
Лишь медали да ордена,
И за них нас ласкала с детства
И воспитывала война.
Там, где золото добывали
В рубашоночках, налегке,
Ковырялись мы на отвале
В золотом промытом песке.
У отвала росли деревья.
Из песка мы под кедрачом
Насыпали мосты, деревни
И «бомбили» их кирпичом.
Шел домой усталый и грязный,
Но, однако, до сей поры
Вспоминаю как лучший праздник
Радость мстительной той игры.
Позабыв доброту и нежность,
Все мы жили тогда одним:
Увидать бы живого немца
И за все рассчитаться с ним!

3

Под пронзительный вой метели,
Словно вести издалека,
Мне на память приходят щели
В крыше ссохшейся чердака.
Он от множества их был светел,
Только в щели на мир глядел.
По ночам в них продрогший ветер
Низко, жалостливо гудел.

До утра надрывался ветер,
И ворочалась мать без сна —
Мужем бредила.
На рассвете
Начиналась ее война.
Не кончала и школы даже,
И профессии тоже нет.
Вышла замуж, и тетей Дашей
Стала вдруг в девятнадцать лет.
Не скупилась — детей рожала.

Одного за другим ждала.
Как картошку до урожая,
Все растила их, берегла.

Засыпала к утру устало,
Труд мужской на себе неся.
И сама, как картошка, стала,
Почернела, высохла вся.
Вспоминая свой волос русый,
Говорила не раз с тоской:
— Хорошо, отец не вернулся,
Разве стал бы он жить с такой?
А с утра по деревне слухи,
Что с японцем еще война...
Жаль солдаток:
за их заслуги
Не давали им ордена.
Да чего уж, какой там орден,
Здесь и с орденом нелегко.
Дали лучше хотя бы ордер
На сгущенное молоко.
И хоть мать в той борьбе неравной
Не по-женски была сильна,
Но все новой и новой раной
Обжигала ей грудь война.
И уже нищеты приметой
Окружила со всех сторон...
В дорогую доху одетый,
Вдруг у нас появился он.

4

Словно ангел, приятный ликом,
А характером злой, как сыч,
Все от мала и до велика
Величали его Кузьмич.
Домовитый, на деньги жадный,
Все он ладил и все умел.
Улыбался улыбкой жалкой,
Словно вечно себя жалел.
Как редчайшую в мире ношу,
Что нашел он не на войне,
Волочил за собою ногу
Деревянную, на ремне.
И с тревогою замечал я,
Как, зайдя просто так, без дел,
С недопитою чашкой чая
Он подолгу у нас сидел.
За окном непроглядной глушью
Шевелилась во сне тайга.
На полу оставляла лужу,
Согреваясь, его нога.
И тогда, потеряв терпенье,
На крутом крыльце без перил
Я тихонько одну ступеньку
С двух сторон пилой подпилил.
Улыбаясь своей улыбкой,
Загремел он ногой с крыльца
И уполз навсегда улиткой,
Озираясь на тень отца.

5

Много праздников было разных.
Все их в память свою вбирал.
А у нас был престольный
праздник,
Если кто-нибудь умирал.
Прямо с кладбища по тропинке
По прямой, чтоб пораньше сесть,
Убегали мы на поминки,
Чтобы досыта там поесть.
На поминках нас угощали
Со старухами наравне.
Нас кормили густыми щами,
Щами горькими на траве.
Утирались полой протертой,
Носовым платком холстяным.
Говорили спасибо мертвым
И сочувствовали живым.

6

Чтобы нашей корове серой
Не пришлось голодать зимой,
Собирали мы в кочках сено
И возили на ней самой.
Только сена ей не хватало,
И, едва на дворе весна,
Прошлогодней травой отталой
Все подкармливалась она.
Но корова нас не корила,
Исполняла свои дела:
Маслом, творогом нас кормила,
Будто лошадь, в упряжке шла.
Нет, не стала она короче,
Эта память. Года прошли.
Только я и теперь корове
Низко кланяюсь, до земли.

Часть вторая

1

Двадцать лет миновало
с лишком
С той поры, как пришла война.
В волосах у ее мальчишек
Пробивается седина.
А вершители той победы
Серебрятся от седины,
И уже не отцы, а деды
К лику прошлого причтены.
Только он, на века уснувший,
С молодым, как мое, лицом,
Оживая в одном минувшем,
Навсегда остался отцом.
И его, не считаясь с правдой,
Я упрямо искал в кино,
Не догадываясь, что с прахом
Только встретиться суждено.

2

Я в кафе черным кофе греюсь,
От дождя все окно в слезах,
А напротив садится немец,
Чистокровный, до сини в глазах.
Молодой, хорошо одетый,
Смотрит так же, как я смотрю.
Предлагает мне сигарету.
Что ж, пожалуй, я закурю...
Зажигалку подносит учтиво.
Худощавый, обличьем прост.
Разливает по кружкам пиво,
Предлагает за дружбу тост.
И тотчас меж нами на скатерть
От конца ее до конца
В запыленной солдатской каске
Пала тень моего отца.
И с сыновнею дрожью в теле
Я почувствовал: час пришел!
Встал отец с ледяной постели
И меня за столом нашел.
Оглядев всех недобрым взглядом,
На руках, без обеих ног,
Он на стул взгромоздился рядом
И промолвил:
«Здравствуй, сынок.
Ты, я вижу, здесь друга встретил.
Разве счеты у нас не те?
Для чего ж тогда в сорок третьем
Я остался на высоте?
Для того ли, скажи на милость,
Стал пригорок моим одром?
Или все это мне приснилось,
Как однажды в сорок втором?
Я, сыночек, тот сон проклятый
До сих пор забыть не могу.
Снилось мне, что вы вместе
с братом
Спите голые на снегу...»

Стало тихо в огромном зале.
Только слышался стук сердец,
А они напряженно ждали,
Ждали — немец и мой отец.
Ну так что же я, значит, трушу?
Потому и молчу, как пень?
И тогда я сказал: «За дружбу!»
И куда-то пропала тень.

3

Может, спятил с ума немного,
Не во сне каком, наяву
Окружила меня тревога.
Только ею теперь живу.
И с чего б?
Выхожу из дому,
Плещет солнце в лицо, пьяня.
А она, как в жару истома,
Неотступно томит меня.
Ухожу к поездам, к вокзалам,
К пассажирам больших дорог,
Но тревоги крутым накалом
Оглушает меня гудок.
Время тянется, словно вечность,
Оживают глаза витрин.
Я с тревогою в этот вечер
Остаюсь один на один.
Зажигает огни столица.
Я гляжу, как, упав в реку,
В ней, шестимиллионолицый,
Город спит на одном боку.
И в молчании ночи летней
Понял вдруг, за волной следя,
Что, как шпик в допотопной
ленте,
Я преследую сам себя.

4

Ну, а может, терзаться нечем,
Ведь такое могло не быть?
Только знаю я: этой встречи
Никогда не смогу забыть.
И отцу, если встречу снова,
Не приверженный к мятежу,
Я по-честному, слово в слово
Все, что понял теперь, скажу:
«От салютов остыли пушки,
И, на вольном ветру пыля,
Пусть всегда тебе будет пухом
На вершине твоей земля!
Но с твоею предсмертной верой
В тот победный России зов
Все, что делаем нынче, мерим
Честной жизнью своих отцов.
И чертою своей любою
Повторяя твои черты,
Я останусь самим собою,
Чтоб достичь твоей высоты».

Памяти Тициана Табидзе

На Мцхету падает звезда,
Крошатся огненные волосы,
Кричу нечеловечьим голосом —
На Мцхету падает звезда...

Кто разрешил ее казнить,
Кто это право дал кретину —
Совать звезду под гильотину?
Кто разрешил ее казнить,

И смерть на август назначал,
И округлял печатью подпись?
Казнить звезду — какая подлость!
Кто смерть на август назначал?

Война — тебе! Чума — тебе,
Земля, где вывели на площадь
Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.
Война — тебе! Чума — тебе!

На Мцхету падает звезда.
Уже не больно ей разбиться.
Но плачет Тициан Табидзе...
На Мцхету падает звезда...

Часы пик

Все младенцы пахнут молоком,
Все мужчины пахнут табаком.
Мчится транспорт,
он набит битком,
Красный, он мне кажется битком —
Красным, пламенеющим, сырым.

На конфетах нарисован Крым,
На обертке острого сырка —
Тень коровы, он из молока.
А на книге — профиль Спартака
И за ним бегущие рабы.
Выхожу на площади Борьбы.

Зимнее

Зима! С морозом, с белым снегом,
Уже во множестве — снега.
Так борщ приходит с белым хлебом
В страну, разбившую врага.

У леденеющих березок
Вдали душа звонком звенит,
И снега искренний набросок
Рисунок детский полонит.

А в нем ни скуки, ни унынья,
В нем дыма синего кусок,
В нем по заснеженной равнине
Летит с мороженым возок,

Дымится остренькая крыша,
Мелькает остренький забор,
И кто-то, ведрами колыша,
Идет на остренький бугор.

Ему носатая колонка,
Должно быть, светит на бугре,
И по велению ребенка
Ему дорога — в серебре.

И, крикнув королю, что голый,
Идет, сияя, напролом
Вся эта свежесть произвола
Души, не омраченной злом.

Так обувь к празднику — сапожник,
Так платье к празднику — портной,
Когда и вольный и художник
Не крепостник, не крепостной.

☆

Я — птица чернбго пера
У черной ветки на запястье.
Ко мне работа так добра,
Когда случается несчастье!

Будь проклят! Уезжай! Лети!
Мне одиночество не в новость.
Меня утешит снег в горсти
И память чистая, как совесть.

В том душном городе морском,
Где лик мой выглядел опиской,
Все птицы с тонким голоском,
А у меня — грудной да низкий.

Пусть пальмы изумрудный крест
Тебя в том городе возвысит,
Как окрик мой, как мой приезд,
Как рев дождя в ночном Тбилиси.

Светает! Я — в своем уме.
Горит волос моих корона.
Тбилиси держит на холме
Свой рот в улыбке фараона.

Однажды

Мы виделись в январском городке,
Где все трамваи холодны и шатки.
Он был, как все, в большой мохнатой
шапке,
Я — в домотканом таллинском платке.
Огни цветные на реке пестрели,
Торчали синих елок острия.
— Вот эта церковь,— говорила я,—
Построена учеником Растрелли.
Часу в девятом наступала ночь,
Сжимало рот морозными клещами.
— Не плачь,— сказала шапка на
прощанье,—
Не плачь, стихами горю не помочь.
Я пальцем в гору — Церковь
на Крови,
Зеленая, пятнадцатого века.
А по ночам переводила Смрека
Балладу о циничности любви [1].
В ней все примерно выглядело так:
Она — чиста, наивна, из народа,
Его солидно обошла природа,
Он — из народа, циник и дурак.
Такси бежало к белому вокзалу.
Смеялись дети с голубых подвод.
В издательстве хвалили перевод
За то, что близок был к оригиналу.

---

[1] «Баллада о циничной любви» — стихотворение словацкого поэта Я. Смрека.

В конце концов

Из памяти уходят боль и горе
Нечаянных и чаянных обид.
И снова чувство цельности, как море,
И день на утро — вечер не разбит.

И хорошо оплаканные письма
Теряются в деревьях словарей.
И радуют вовсю вино, и пища,
И вечный Блок, и пляски кораблей.

На именинах — восковые свечи,
Здорова мать, не так уж плох отец,
И залит рынок молоком овечьим
От местных, мелких шерстяных овец.

И мне любая книга по карману.
И никому я денег не должна.
Ах, течь слезам, обиде и обману!
Хоть кровь из горла—только не война.

Во весь лист

Ребенок рисует ребенка
В одежде для взрослых людей.
Еще в голове у ребенка
Ни капельки взрослых идей.
Но образ на образ находит
И смутно волнует его,
И вот из «оттуда» выходит
Рожденное им существо.
Оно говорит, суетится,
Оно разгоняет тоску.
На левом — летящая птица,
И сердце — на правом боку.
Оно благодарно за счастье
Лежать на столе без конца.
Оно проявляет участье
К обидам и скукам творца.
Ни в чем никогда не откажет.
Наряд его красен и бел.
Оно не посмеет, не скажет —
«О боже, как ты надоел!»
Должно же быть что-то на свете
Твоим навсегда, насовсем.
И это предчувствуют дети,
И ими рисуются дети,
И так же рождаются дети,
И верности хочется всем.

Повесть

Анатолий ГЛАДИЛИН

Первый день нового года

Рисунки В. Юдина.

ГЛАВА I

ОТЕЦ

Ночи стали очень длинными. Такими длинными, что еле дождешься рассвета.

А потом, когда где-то за окном встает солнце (лучи его не попадают ко мне в комнату), становится легче.

По коридору шаги. Легкие, утренние шаги медсестер. Приглушенный смех Наденьки. Наверно, очередное приключение в автобусе. Я хорошо представляю себе, как она смеется, хотя сам никогда не видел.

Надя открывает дверь. Улыбку она скинула еще на пороге. Ко мне она входит с лицом доброго утопленника (она считает, что улыбка может оскорбить тяжелобольных).

— Как себя чувствуем? Как спали? Ничего, ничего, все будет в порядке!

В ее голосе бездна оптимизма.

Обычные, дежурные слова. Дежурные вопросы.

Она задает их потому, что так принято. И она искренне удивится, если вы вместо дежурного ответа «как обычно» или «так себе» вдруг начнете ей рассказывать, как вы себя чувствуете, какие у вас сложные отношения со сном и некоторые свои мысли по поводу выздоровления. Это ее не касается. Вот придет врач...

Я понимаю, что ей, наверно, противно со мной возиться, подавать «утку», плевательницу. А может, для нее уже все привычно. Каждый раз я представляю на своем месте какого-нибудь молодого парня, да еще холостого, да еще выздоравливающего. Мне хочется хоть раз услышать от нее нормальное человеческое слово. Увы...

Потом приносят завтрак. Потом приходит врач. Меня смотрят, выписывают новые лекарства.

У каждого врача — новая теория. И одна и та же бодрая интонация в голосе.

А мне становится все хуже.

Боли почти не прекращаются. За последние три года я четвертый раз попадаю в больницу.

И сейчас, по-моему, мне не выкарабкаться.

Единственный врач, который что-то понимал, ушел в отпуск. До его возвращения осталось двадцать дней. Дождусь ли я его? Надо бы дождаться.

Месяц назад мне сделали операцию. В случае кризиса будет еще операция. Вероятно, последняя.

Мне рассказывают, что бывали случаи, когда и само проходило. Возможно. Я верю. Но вряд ли это случится с человеком, которому шестьдесят два года, который был тяжело ранен, голодал и жил очень нелегко.

Когда-нибудь ведь приходит конец.

Честно говоря, мне кажется, что еще рано, и я веду бесконечные разговоры о крови в моче, о каналах, об опухолях. Я изучаю график температуры. Я узнаю о последних новшествах в урологии. Я понимаю, что все это никому — ни медсестрам, ни моей семье и моим товарищам — в общем, всем, кто меня навещает,— все это никому, кроме меня, не интересно.

Но я ничего не могу с собой поделать. Ведь я надеюсь выздороветь.

Плохо, когда начинаются беспрерывные боли. Можно сразу просить, чтоб кололи наркотики. Но я знаю, что боль может продолжаться несколько суток и еще усилиться, а к наркотикам привыкнешь, и они скоро перестают действовать. И потому, пока есть возможность, я терплю. Кажется, что тебя кромсают на куски, а ты лежишь очень маленький и очень беспомощный. Тело свое ты отдал кому-то на растерзание, и осталась нетронутой только голова, и все твое «я» держится только в этой голове, и ты лежишь, накрывшись, и тихо, бесшумно стонешь.

Мне много приходилось бывать в больницах, и я видел, как люди ревели от царапины. Я знаю, что никогда не буду таким. Никогда.

Но врач, тот врач, который что-то понимал, он сразу чувствовал, каково мне. И он приказывал колоть мне наркотики. Он ругал меня: дескать, почему я молчу? Что ж, у него своя теория, у меня — своя.

А когда все стихает, и газеты прочитаны, процедуры выполнены, посетители ушли, и совместными усилиями врачей и медсестер в тебя ввели определенное количество лекарств и калорий пищи и очередную (я уже не знаю, на что их измеряют!) порцию витаминов, тогда начинает раскручиваться кинолента в голове. И перед глазами — все то, что запечатлелось за всю твою жизнь.

Память — странная штука. Вероятно, это не я первый заметил. Но все же любопытно — отдельные, как это говорится, части кинофильма очень ярки. И целые годы я забываю. Так, смутные воспоминания. Кинофильм под названием «Частная жизнь некоего Алехина». Он умрет вместе со мной, и поэтому, пока не поздно, я просматриваю сохранившиеся кадры. Времени у меня, надеюсь, хватит.

Говорят, что когда вспоминают, то закрывают глаза. Так принято. Но и с открытыми глазами я отчетливо помню лицо извозчика. Меня послала за ним барыня. Мы ждали с ним у подъезда, и извозчик вдруг стал прислушиваться к скрипу ступенек.

— Что это? — спросил он испуганно.

— Спускаются барыня со своей сестрой.

Чем громче становился скрип, тем напряженнее лицо извозчика. Наконец, когда на крыльце показались две женские фигуры общим весом пудов этак на пятьдесят, извозчик столкнул меня с пролетки и стеганул лошадь. Вероятно, он твердо знал, что пролетка рухнет.

Я отчетливо помню то чувство, которое охватило меня, когда я нес хозяину электрические лампочки (тогда очень дорогие) и увидел стаю воробьев. Воробьи словно дразнили. Они отлетали шагов на десять и, когда я подходил, отлетали опять. Кончилось тем, что я швырнул в них свертком, который нес в руках, совершенно забыв, что в этом свертке. Фейерверк был великолепный. У хозяина, естественно, он повторился, только в несколько другом роде.

Я до сих пор могу представить тот дикий мороз, когда я на санях ехал из Вятки в первую коммуну за пятьдесят километров. Я помню, как по дороге мы остановились ночевать в каком-то бараке. Но спать мы не могли. Как только мы задували лампу, со всех стен, с пола и с потолка лезли... то есть кто только не лез! Так мы и просидели, очертив керосином круг и нервно поглядывая наверх. Потом выяснилось, что в этом бараке долгое время жили беспризорники, а как только мы затопили печь, то началось...

Но вот, например, армию я редко вспоминаю, хотя был на фронте около года.

Вероятно, запоминается то, что надо запомнить.

А что же надо запомнить? Ведь биография моя очень проста.

Я был двенадцатым ребенком в семье. Пока жил дед, нас звали Алехины (дед Алексей). Когда дед умер, мы стали Марьины (бабка Марья). Но фамилия у меня осталась по деду. Одиннадцати лет я был отдан в город на заработки. В восемнадцать лет вступил в кавалерийскую дивизию Киквидзе. Под моей лошадью разорвался снаряд. Одну ногу мне ампутировали, из другой извлекли семнадцать осколков.

В больнице я пытался кончить жизнь самоубийством, но меня отходили.

Я поступил на рабфак. Через три года — в Московский университет. Потом я был на партийной работе (в партии я с 1919 года). Я работал инструктором оргруппы ЦК, начальником проектного бюро, директором фабрики, управляющим большим строительством, парторгом тракторного завода, начальником отдела кадров наркомата. Где я только не работал! Даже полгода исполнял должность заместителя наркома.

Но война помешала мне кончить второй институт и получить техническое образование. Потом наступило время, когда открыли зеленую улицу для дипломированных специалистов. Мы их уже вырастили, и я ушел тоже по специальности — на юридическую работу. Я был народным судьей, потом (и до последнего времени) членом городского суда.

Я прожил трудную и очень счастливую жизнь. Счастливую потому, что после случая в госпитале не было ни одной минуты, когда бы я вдруг спросил себя: «Алехин, а зачем ты живешь?»

Мы не думали о квартире, машине, новом костюме и вообще обо всем, что называется личной жизнью, то есть считали, что все это для нас — дело двадцатое. А основное была работа. Потому и жизнь моя прошла счастливо, что, мне кажется, я хорошо работал. Теперь, когда я вспоминаю, у меня нет желания что-либо переделать. А ведь это главное. И так как в этом, главном, было все в порядке, именно поэтому я мало сейчас вспоминаю свою работу. Дело сделано. И в том огромном здании социализма, которое мы построили, есть и мои кирпичи.

А вот так называемая личная жизнь, на которую я никогда не обращал внимания, вот ее почему-то я все чаще и отчетливее теперь вспоминаю. И мне кажется, что там бы я многое переделал. А может, только кажется. Но почему-то сейчас все время всплывают те кадры кинофильма, которые на протяжении многих лет я начисто забывал.

Но у меня всегда было главное. И в главном я был очень счастлив.

Дай бог, чтоб у моего сына было так же!..

ГЛАВА II

СЫН

В это время здесь катаются только командировочные, дети и мухи. Для купания холодно. Пляжники в «Пильзене» попивают пиво. И опять же расписание. Через двадцать минут отправляется в сторону Каменного моста, в Кунцево, в Фили. Но это не помешало ей попасть именно на этот пароходишко, да еще на корму, да на пустую скамейку, да еще взглянуть на меня, а потом еще раз взглянуть.

Именно в пасмурную погоду бывают солнечные удары.

Я человек, измученный всем,— семьей, ремеслом и телевизором, дисциплинированный квартиросъемщик; я забыл, что **такое** бывает. И опять мы переглядываемся, как два идиота, и тут же независимо отворачиваемся. И теперь не будем смотреть друг на друга до следующей остановки. Я уж эти штучки знаю! Добропорядочность и воспитание. А что она подумает, и что соседи, и что милиция? Мама моя, влипнуть с первого взгляда! Фантазия! Двадцать пять лет мне вбивали правила поведения в общественных местах. Но как подойти? «Разрешите, гражданка почтенная, одинокий нарушить покой?» Спросить, сколько времени, какая следующая станция, какой сегодня день, по какой реке мы плывем? Ну? Или просто, откуда она свалилась?

Я встаю. Отступать поздно. Она заметила, но не реагирует. Активное внимание двух толстых теток с задней скамьи. Только бы голос не дрожал. Сажусь с ней рядом.

— Извините меня, может, это очень глупо, но я искал предлог, чтоб к вам подойти, и решил просто так. Очень извините, но у вас удивительное лицо, и я хочу с вами поговорить минут пять. Я художник, и меня просто поразило ваше лицо. Может, это очень глупо, а может, и нет. Если вы против, я уйду и, честное слово, не буду приставать.

Я смотрел на себя со стороны. Костюм явно не вечерний. Мольба бедного рыцаря. Идальго.

Она пожимает плечами.

— Ладно, сидите. Вы ко всем так пристаете?

— Угадали, ко всем. Это моя вторая специальность. Встаю в пять утра и начинаю с кондукторов. Особенно люблю молочниц на Ярославском вокзале. Масса интеллекта. Обогащает.

— Умом?

— Нет, вынимают из мешка кто бутылку, кто кусок плавленого сыра. Так и пробиваюсь. Но сейчас меня больше всего интересуют ваши родители. Как это у них так получилось?

— Что получилось?

— Вы.

— А это секрет!

— Девушка, это ж запрещенный прием! Все так говорят. Вы бы могли ответить по-другому.

Она первый раз откровенно смотрит мне в лицо, с интересом. Я рисковал. Могла обидеться, и все. Но ведь она не дура. Вернее, мне казалось, что она не дура. Она не может быть дурой.

Я достаю блокнот. Карандаш. Быстро рисую.

— Это вы. Это я.

Она смеется. Я опять рисую.

— Вот так я буду ходить за вами.

Она смеется. Берет рисунок. Рассматривает.

— Да, вы действительно художник!

— Извините, это я вам наврал. Я бухгалтер. Обыкновенный совслужащий. Масса отчетов и арифметики. Баланс и калькуляция. Устаешь за день, вот и балуешься. Вы, конечно, разочарованы. Но работа бухгалтера ответственная. На выдержку. Проходит масса денег, а зарплата мизерная.

— Не хватает?

— Три жены, восемь детей. Да еще снимаю комнату в подвале для личной жизни. Опять же расходы.

— Личная жизнь? Ну расскажите!

— Безумно интересно. Основное развлечение — сидишь вечерами и разводишь клопов. Они у меня все ручные. Я их по именам знаю. Большой, Рыжий и т. д. А главарь у них по кличке Стасик. Хитрюга. Когда мать поливает диван дезинсекталем, он со своей командой забирается на шкаф. Сидят там, животы от хохота надрывают.

— Любят они вас?

— Как прихожу, все ко мне. Отмечаются. Я задерживаюсь — нервничают. Диван двигают.

Теперь она не может удержаться от смеха. Тетки сзади разочарованы. Ох, уж эта современная молодежь! В наше-то время! Я бы его так отшила, а эта хохочет. Падение нравственности!

Я могу на секунду перевести дух. Порядок! Ей становится со мной интересно.

— Девушка, мне неудобно к вам так обращаться, поэтому скажите, на какое имя вы откликаетесь.

— Ира.

— А что вы делаете в свободное от прогулок на пароходе время?

— Сейчас ничего. А вообще я учусь в институте.

— Мясомолочном?

— Почему?

— Это так модно.

— Нет, специальность у меня прозаическая.

— Ин-яз?

— Как вы угадали?

— Раз прозаическая специальность, значит, хотите похвастаться. И вообще вы недавно вернулись с юга, а на даче торчать скучно. До занятий еще около месяца, и вечером вас пригласили в кино, а пока вы не знаете, как убить время, и решили прокатиться.

— С вами становится скучно. Вы все знаете. А я о вас знаю, что вы художник, простите, бухгалтер, и еще что-то о восьми ваших детях. Пока это мало.

— Понимаю. Анкета. Феоктист Филимонович Фильдеперсов. В 1936 году. Нет. Мужской. Служил в белых армиях, из партии кадетов. Состоял в левой и правой оппозиции. Жил на оккупированной территории. В настоящее время шпион парагвайской разведки. Подпольная кличка — Феликс. Устраивает?

— Заучили?

— Ну, так как на юге? Аборигены процветают? Торговля фруктами идет вовсю?

— На юге...

Рассказ о юге, о море, о скучных культурниках, о нахальных брюнетах. Обыкновенно. Я изредка вставляю реплики. Путешествие по памятным местам. Я еще с детства понял, что ты можешь быть остроумным, как Рабле, но это ни к чему не приведет, если ты не заставишь девушку что-нибудь рассказать. Звук собственного голоса успокаивает. Опытный ты мужчина, Феликс! И несет тебя! Происходит что-то странное: девочка пришла к тебе из сказки, а ты мелешь чушь, аж самому противно. И попробуй остановись. Куда там! И где ты нахватался? Феликс, что с тобой? Ты смотришь на нее и дуреешь. А может, девушка самая обыкновенная? Так, красивая упаковка?

Я смотрю ей в глаза. И она изредка тоже на меня посматривает. Удивительное лицо! Его можно увидеть только во сне. В ее глазах отражаются мои глаза и мальчишки, прилипшие к борту, химический завод, лодочная станция, стадион, самый крупный в Европе — на сто две тысячи мест и со столиками для пинг-понга, шедевры московской архитектуры с десятками колонн, и опять, очень редко, мои глаза.

— Ира, давайте сойдем в парке.

— Зачем? Мне к Каменному мосту.

Естественно, просто сказать «да» она не может.

— Как, парк культуры и отдыха? Разве вы против культуры и отдыха? Там такие стенды! Такие диаграммы! Мы пойдем на лекцию «Крупноблочное строительство». Захватывающе!

Она раздумывает.

— Понимаете...

— Понимаю. То, что вы идете со мной в парк, это не значит, что вы обычно так легко знакомитесь с каждым встречным. Я это знаю. Но я еще не привык к вашему лицу. Когда привыкну, то отпущу вас на все четыре стороны: в кино, на дачу, к папе и маме.

— Нет...

Она чуть покраснела. Я угадал. Мы покидаем наш океанский лайнер под торжествующие взгляды теток. Их представления о безнравственности молодежи наглядно подтверждаются.

Лайнер продолжает свое путешествие к Каменному мосту.

На лестнице я чуть пропускаю ее вперед. Да, все именно так, как я думал. Быстро смотрю на часы. Заметила.

— Вы торопитесь?

— Нет, проверяю точность расписания. Ира, пошли в тир. Мы мирные люди. Но дальше что-то насчет бронепоезда. Правда, в этом тире все ружья кривые. Правда, мушка там так сделана, что, привыкнув к ней, вы никогда не попадете в человека с пяти метров из нормальной винтовки. Правда, мишени там или не шелохнутся при точном попадании артиллерийского снаряда, или падают просто от сотрясения воздуха, но все равно в тир сходить нужно. Тренировка.

После некоторых колебаний я беру ее под руку, и она через полминуты привыкает к этому состоянию.

Океанский лайнер пошел к Каменному мосту. Без меня. Ну и пусть. Сегодня утром я почему-то подумал: а не повеситься ли? Иногда бывает. А сейчас — солнечный удар. Вот и верь, что человек — существо постоянное. Прав Павлов: процессы торможения сменяются процессами возбуждения. Физиология.

Помню, в глубоком детстве я приходил в парк кататься на качелях, на лодке (если были деньги), а вечером послушать бесплатный концерт симфонической музыки. На аллеях я пристально рассматривал обнаженные скульптуры спортсменок, а потом околачивался на танцах. Именно околачивался, потому что танцевать я не умел.

Но с тех пор прошло много времени. Танцевать польку-бабочку на площади меня почему-то не привлекает, программа симфонических концертов (Чайковский и Глинка) с тех пор осталась абсолютно та же, лодки и качели к вечеру обрастают такой очередью, что стоять бессмысленно, а уходить из парка мне не хотелось. Вероятно, я боялся, что за оградой Ира вспомнит о каком-нибудь Игоре, который ждет ее с билетами в кино.

Вообще теперь, очевидно, по тупости, я совершенно не понимаю, что привлекает столько народу в парк. Свежий воздух, уединение? Может быть, только часов в пять утра. Но после четырех часов дня скамейки прочно абонируются, и места передаются или по наследству, или по ведомственным признакам. А пыль, поднятая тысячью ног, по-моему, вреднее радиоактивных осадков.

Но что-то надо было делать. Мы уже прошли обязательный ритуал мороженого и газированной воды, причем я долго выскребал из щелей карманов какую-то завалявшуюся мелочь. На это у меня были свои причины. А признаться, я изрядно выдохся. За несколько часов я произнес больше слов, чем за весь предыдущий год. По-моему, нет более утомительного занятия, чем гулять с молоденькой девушкой и хотеть ей нравиться. Мы обсудили, по-моему, все, что существует на этом свете. Исключая мою специальность. О ней я могу говорить очень много и очень интересно. Я сам это знаю. Но для меня это очень серьезно, и сегодня я не хотел. Кроме того, я упорно убеждал ее в своей профессии бухгалтера, поражая Иру тонкостями специфики (живущие на гонорар очень быстро постигают все детали). Что касается Иры, то определенного мнения о ней у меня еще не было. Я бы вообще хотел когда-нибудь оказаться на месте девушки, когда перед ней извиваются мелким бесом, а ты соизволишь быть зрителем и изредка осчастливливаешь ответом. Подыгрывала она мне хорошо. Но для этого достаточно весьма среднего интеллекта и опыта. Раскусить ее я еще не мог.

Я бы с удовольствием просто молча сидел и смотрел на нее. Или рисовал. Увы, оба варианта отпадали.

Я устал и нуждался в так называемом допинге. Оставался шаблонный вариант — ресторан. Я затащил ее в «Поплавок».

Рестораны в парках имеют две особенности. Во-первых, им принадлежит первенство по самой отвратительной кухне. Во-вторых, официантки, озверев от разномастной пьяной публики, рычат на посетителей. Сервис превосходный, но, услышав запах пищи и предупредив официантку, что буду бить сразу справа всех, кто попытается подсесть, я несколько взбодрился.

Вот тут в первый раз Ира вышла из своей роли наблюдателя. С шести часов я устраивал ей цирковое представление, где был одновременно и рыжим у ковра, и акробатом, танцором на проволоке, лошадью, дрессированной лисицей, мотогонщиком и тигром в клетке. Теперь ей захотелось спуститься из директорской ложи и самой принять участие в игре.

Когда она предложила тихо выпить по чашке кофе, а я сказал, что надо как следует поужинать и чего-нибудь выпить и решительно пододвинул ей карточку, предложив выбрать все, что она хочет, я почувствовал, что меня пристально изучают.

И когда она сказала, что она хочет, я понял, какое у нее сложилось обо мне мнение и что сейчас мне дадут классический урок. Я понял, что она заметила, с какой тщательностью я выскребал мелочь из карманов. Но я принял игру и увеличил ставки в пять раз. Я заказал бутылку армянского коньяку и черной икры, набор закусок и цыплят-табака.

Таким образом, напряженность действия сразу возросла, и любые невнятные фразы приобретали подтекст, потому что ей было интересно, как я теперь выпутаюсь, а мне было интересно, что она думает по этому поводу.

Я сознательно раскрыл карты, когда мне надо было выйти, и она напряженно застыла.

— Не волнуйтесь, я вернусь через минуту, не сбегу.

И ушел быстро, не дожидаясь ответа, который ей было нелегко сразу найти.

Когда я вернулся, она была спокойна, словно ничего не слышала. Игра продолжалась.

Разные предположения вертелись у меня в голове. Может, она из тех, кто любит поужинать за чужой счет? А может, просто идет та игра, о которой я догадался?

Но, в общем, я старался не думать. Я знал, что сейчас передо мной самая красивая девушка, какую когда-нибудь я видел. Я знал, что если она такая, какой мне показалась,— я пропал. Я погиб, как суслик. Все может полететь к черту! И почему я не поехал к Яузе обыкновенно, на троллейбусе, и почему попал именно на этот пароходик, и вообще кому было нужно, чтоб она тоже попала на него и не обождала минут двадцать следующего, да еще раз прошла на корму, посмотрела на меня, а потом еще раз посмотрела.

Но гордость Армении (а я пил в два раза больше Иры) начинала действовать. Милиционер-регулировщик, который сидит у меня в голове и анализирует обычно каждое мое движение, подсказывая повороты направо, налево или предусмотрительно зажигая красный свет, стал путаться в сигналах, а я, воспользовавшись его сонным состоянием, уже держал руку Иры в своей руке и, может, придвинулся бы ближе, будь это в другом месте. Изредка орудовец протирал глаза и вопил: «Что, не видишь сигнала? Смотри, как хитро блеснули ее глаза. Ты ей совсем не нравишься. Она просто присутствует на спектакле и заранее предвкушает его конец. Осторожней на поворотах, малый». Но я мужественно оглушал его новой рюмкой, и он на время затихал.

Со стороны мы, наверно, казались самой счастливой, самой влюбленной парой, небесными ангелами, неизвестно как попавшими в это винное, цыплято-табачное царство, да и друг другу мы казались именно такими, пока жизнь, которой надоело сидеть в углу и зевать, нарушила нашу идиллию, осторожно подсунув бумажку, на которой была проставлена сумма, запланированная мной на две недели обычной жизни.

Наши руки расстались, и орудовец безумно оживился, как все орудовцы, когда наконец настает пора брать штраф. Я положил счет перед собой и сказал, что, вероятно, начнется дождь, и как это жалко, и какой был хороший вечер. Ира согласилась и выразила готовность обсуждать погоду всех широт. Мы как раз выясняли тонкости сезона дождей в республике Мали, когда официантка кончила кружить около стола и стала рядом, олицетворяя собой, как подсказал мне орудовец, восклицательный знак, знак непосредственной опасности. Я взглянул на Иру. Даже без помощи постового было заметно, что сезон дождей в Мали не самое главное, что ее волнует.

— У вас найдется разменять? — пролепетал я неуверенно официантке.

— У нас все найдется,— ответила она почти враждебно, а Ира почему-то придвинула к себе свою сумочку и, быстро, торжествующе взглянув на меня, заинтересовалась узорами на ручке ножа.

Тогда я вытащил новенькую сторублевку. Официантка заверила меня, что она, конечно, что она сейчас побежит в кассу и разменяет, одну минуточку.

Я не очень уверен, что Ира когда-нибудь держала в руках такую бумажку. Во всяком случае, лицо ее изменилось, и я заметил, что она обиделась на меня, больше того, разозлилась. Ведь получилось, что она прыгала на арене, а я сидел в директорской ложе.

Мы вышли, и мне показалось, что она просто в силу необходимости терпит мою руку на своей руке. Ага, подумал я, ты думала проучить пижона, а он оказался еще и купцом. Ты сама напросилась на шикарный ужин, и теперь твоя очередь платить. Или? Или роль твоя незавидная.

Мы взяли машину, и я сделал так, что мы должны были проехать мимо дома, где я снимал комнату для работы. Она, видимо, догадалась, чем вызвано отклонение маршрута.

Мы сидели на заднем сиденье, было достаточно тесно, но вместо того, чтобы взять ее руку в свою или попытаться поцеловать Иру, я вел разговор о благоустройстве московских улиц. Она отвечала весьма спокойно, но я себя чувствовал солдатом на минном поле. Пошевелишься — и все взорвется.

На углу машина притормозила.

— Вот видите это парадное,— сказал я,— а вот внизу, налево, в подвале, темное окно. Вот там я привожу в порядок отчетные ведомости и воспитываю Стасика.

На этот раз она промолчала. Вероятно, она готовилась к следующему вопросу.

— Поехали,— сказал я шоферу.

У ее дома мы вышли, и когда она подошла к подъезду, я попросил шофера подождать. Я пошел за ней, мы поднялись на первую лестничную площадку и остановились. Лампа светила на следующем пролете. Я не мог разглядеть лица Иры. Но мой орудовец включил зеленый свет. Я почувствовал, что еще минута — и я к ней прилипну, и весь транспорт московского коммунального хозяйства меня не оттащит от нее до пяти утра.

— До свидания, позвоните мне завтра в восемь вечера,— сказал я и, «сделав тете ручкой», повернулся и ушел.

Я поехал не в мастерскую, а домой и тихо, стараясь не будить мать, прошел к себе в комнату, где стояла полутораспальная кровать и детская кроватка и где не было ни жены, ни ребенка, потому что все лето они жили у ее родственников на Украине, и долго сидел, не раздеваясь, и думал, что таким кретинам, безмозглым пижонам и идиотам, как я, лучше бы вообще не рождаться, а уж если они и появились на свет, то их всех надо ставить к стенке, и дайте мне пулемет, я первый нажму гашетку.

ГЛАВА III

ОТЕЦ

Полгода назад в старых бумагах я нашел фотографию времен гражданской войны. Нас трое. Артем и Иван сидят в креслах, я стою между ними. Вид у моих товарищей солидный, воинственный. Они перепоясаны пулеметными лентами, маузеры на боку. У меня в руках шашка. Лицо напряженное, и я похож на мальчишку.

В молодости я всегда стыдился своей внешности, когда сталкивался с девушками. А потом, после ранения, я подумал, что вряд ли найдется женщина, которой я буду нужен.

Это не значит, что я дичился. Нет. Я был секретарем курсовой ячейки, и ко мне бегали все наши девушки за советом или за помощью. Мы до хрипоты спорили и ругались на заседаниях и о Троцком, и о старых профессорах, и о нэпе. Мы проводили субботники, мы вместе сдавали экзамены. Нас объединяло одно слово — «товарищ». Но о чем-нибудь другом мне было даже как-то странно думать.

У меня была отличная память. Я никогда не вел конспектов, и это поначалу раздражало профессоров. Я помню, как старик Данилов как-то прервал лекцию:

— Алехин, вы все мечтаете, а ну-ка повторите, о чем я рассказывал.

Каково же было его удивление, когда я слово в слово повторил лекцию,— а он читал уже минут пятнадцать.

Благодаря своей памяти я подружился с Фаней. Она тогда была маленькой, застенчивой черненькой девочкой с очень чистым лицом. Может, потому, что она совсем не походила на дородных женщин, которых я привык видеть сначала в своей деревне, потом в городе, а может, тут были сотни причин, а может, так, без причины, я влюбился в эту девушку с первого взгляда, влюбился, но, конечно, ничего ей не говорил.

Я заменял ей и профессоров, и конспекты, которых она тоже не вела, и учебники, которых тогда просто не было. Ей нравилось, что я не только пользовался наибольшим авторитетом среди наших ребят, но меня уважали и разные недобитые сынки дворянчиков и адвокатов, которых тогда много было в университете, и по образованности они нам давали сто очков вперед и считали себя белой костью, а к нам относились свысока.

Мы с Фаней были большими друзьями и часто долго гуляли по городу (я тогда ходил на протезе, и незаметно было, что нет ноги, так только, чуть прихрамывал).

Наконец я решился объясниться. Это произошло на Кремлевской набережной, и я помню, что стены Кремля блестели инеем и деревья стояли как белые памятники.

Но я не успел.

— Знаешь, Алексей, я давно хотела тебе сказать...

И Фаня рассказала, что влюбилась в одного нашего студента, и он любит ее, и они хотят жить вместе. Она просила у меня совета. Что я мог ей сказать? Тот парень был хорошим партийцем, честным человеком. Я одобрил ее выбор.

Знала ли она, как я к ней отношусь? По-моему, догадывалась.

Потом однажды в Крыму мы далеко заплыли в море с одной молодой женщиной. Начался шторм. Нас подобрал спасательный катер.

Так я познакомился со своей будущей женой.

Она была вдова. Ее муж погиб на гражданской войне.

Ее сыну было шесть лет.

Она, вероятно, еще любила своего первого мужа, а я не мог забыть Фани. В сущности, два одиноких, по-своему несчастных человека, мы сошлись и дружно прожили долгую жизнь. Но у каждого осталось что-то свое, неисполненное.

Ее сын Анатолий стал мне как родной. В тридцать шестом году у нас родился ребенок, которого мы назвали Феликсом в честь Дзержинского.

В сорок первом году Анатолий погиб на фронте.

В сорок девятом — расстреляли по Ленинградскому делу мужа Фани. Она, крупный научный работник, долгое время вынуждена была работать на фабрике уборщицей.

Жизнь наша клонилась к закату, но мы понимали, что всегда любили только друг друга. Я хотел уйти от семьи, но это очень тяжело — уйти от женщины, с которой прожил двадцать пять лет, у которой один сын погиб, а второй, твой, еще даже школы не кончил. Потом я очень любил Феликса. Как бы он тогда перенес уход отца? К тому же ответственный работник Алехин, старый член партии, и вдруг...

Крутится кинофильм, и возникают давно забытые кадры... Два часа до отхода поезда в Кисловодск. А в тресте заседание. Я освободился только через час. Пока мы заехали домой, сложили чемоданы, осталось пятнадцать минут. «Гони»,— сказал я шоферу. Мы понеслись по улицам под непрерывную трель милицейских свистков. Я успел вскочить в последний вагон.

Поезд тронулся. Я стоял на площадке. Шофер махал мне рукой. Возле него, на перроне, стоял мой чемодан.

И новый кадр... Мы вернулись с женой из Евпатории. Без копейки денег. И вдруг я узнаю, что на одну облигацию выпал выигрыш в 250 рублей. Тогда это была огромная сумма. Мы купили шкаф, кровать, занавески.

И еще я вспоминаю, как поздно вечером возвращался на дачу, в Томилино. Я выбирался с работы часов в десять и так уставал, что перед станцией засыпал и часто проезжал свою остановку. А однажды я вернулся рано. И на траве сидел маленький Феликс и играл лопаткой. Увидев меня, он вдруг

встал и пошел мне навстречу с криком: «Папа!» Это были его первые шаги.

В сорок третьем году наш наркомат вернулся в Москву. Семья моя осталась за Уралом. Я долго не мог открыть свою комнату. Когда я вошел, то не увидел ни одного стула. Все книги были сожжены. Пока нас не было, здесь жили моряки, и им нечем было топить.

Опять же наша комната. Раньше в этом доме было общежитие инвалидов. Когда я женился, комната казалась мне очень большой. Потом, когда женился сын, мы сделали перегородку.

Последнее время я добивался квартиры, но вряд ли ее дождусь.

А дом был интересным. Молодые ребята и их жены выходили на кухню, и устраивался концерт самодеятельности. Жили мы дружно. Но шли годы. Приезжали новые жильцы. Становилось теснее. Жена моя не разговаривает с соседкой, которую я знаю больше тридцати лет.

Кинофильм из жизни Алехина. Места действия — учреждения, заводы, проектные бюро, залы заседаний, стол судьи, комната в одном из московских переулков, дачные участки, которые приходилось снимать каждое лето.

Действующие лица — тысячи людей, из которых о многих я ничего не знаю: одни погибли, другие пошли на повышение. Однажды, когда я работал с Орджоникидзе, он дал мне пропуск на заседание в Кремль. Я подходил к каждой двери, предъявлял пропуск, и мне вежливо говорили: «Нет, вам не сюда, дальше». Наконец я нашел нужную дверь и оказался на местах для президиума. Я просидел до перерыва, забившись в угол, а в перерыв забрался на галерку и остался там до конца.

Само действие — оно не кинематографично. Нет эффектных кадров. Война почему-то вспоминается смутно, а остальное — будничная, черновая работа. Работа с утра до позднего вечера, бессонные ночи. Я знаю строительное дело, юридические законы, книги Ленина, Маркса, Сталина, Плеханова, немного экономику. А вот из немецкого языка я запомнил всего три слова, и в письме у меня встречаются орфографические ошибки. Еще, по-моему, я немного разбираюсь в людях. Ведь на какие там участки меня ни бросала партия, в основном это всегда была работа с людьми.

До сих пор ко мне приходят советоваться старые и новые товарищи. Приходят все, кроме собственного сына.

Но ведь молодежь теперь умнее нас. Так, во всяком случае, она считает.

Финал кинофильма — больница старых большевиков. Отличная больница, хорошие врачи, палаты на одного человека. Вот если бы мне когда-нибудь встать и посмотреть, что там делается, за окном. Говорят, что оно выходит в большой сад. Но я его не видел. Когда меня сюда привезли, мне было не до природы.

Вот и все.

Фильм смонтирован. Один только кадр я не знаю, куда пристроить. Кремлевская набережная, и стены блестят инеем, и деревья стоят, как белые памятники.

Да, я помню, ехал извозчик и спал на ходу. И высокие сугробы вдоль тротуара с поперечными траншеями для пешеходов. И конечно же, луна, закутанная в лисий серебристый мех, зажигающая миллионы снежинок, и карие глаза девушки, что шла рядом со мной и грела попеременно руки в карманах моей старой кожанки.

ГЛАВА IV

СЫН

Вечером она мне не позвонила.

Я ждал звонка на следующий день. Звонков было много. Звонили ребята, звонил один поляк, звонили из агитплаката, из журнала «Смена». Звонили моей маме, соседям. Узнавали, когда работает прачечная, какое кино идет вечером, просили принять заказ на Ленинград, спрашивали какую-то Люду.

Я поехал к отцу и по возвращении устроил матери форменный допрос: кто звонил?

Ничего похожего.

Тогда утром я ушел в мастерскую. Я писал новую картину. Я работал с редким вдохновением и задыхался от бешенства. Я заранее предвкушал, как приду домой и мать мне скажет: «Тебя несколько раз спрашивал женский голос».

Ну и хорошо, что не застанет дома. Так ей и надо! Еще раз позвонит.

Часа в четыре я слетал в закусочную и поехал на Беговую. Там была выставка (двухдневная) работ молодых ребят. Интересно, вывесили моего «Машиниста»? Я не питал никаких иллюзий. Отнюдь. Но вдруг?..

Картина была давно мною задумана. Я решил написать лихого рабочего парня, хозяина паровоза, который, когда ведет состав, чувствует себя первым человеком на земле! Ему доверена жизнь сотен людей. Он сейчас главный.

Как этого добиться?

Часто изображают планперевыполняющее лицо, вдохновенный взор и тщательно выписывают металлические части паровозной будки.

Или еще вариант: довольная, радостная улыбка. Машинист машет белым платком из окна.

Или просто крупный портрет — цветная фотография. Задумчивые, чуть усталые глаза и т. д.

У меня на полотне тоже появляется паровоз. Он мало похож на машину со всеми своими винтиками, шурупами, колесами, маховиками. И вообще, кажется, он идет не по рельсам. Он скорее напоминает живое существо, которое мчится, закусив удила.

Но самое главное — это машинист. Мне трудно описать его словами (я гораздо легче делаю это кистью). Но, наверно, на неискушенного зрителя машинист поначалу произведет впечатление довольно странное. Дело в том, что я хотел показать в машинисте то, что не укладывалось в привычное понятие цветной фотографии, дающей чисто внешнее изображение человека, и мне пришлось с особой тщательностью прописать главное — глаза, глаза, излучающие радость, напряжение, мысль, а остальное как бы погрузить в тень, размыть в стремительном движении.

И, конечно, я ждал сюрприза. Я считал, что глаза моего машиниста настолько выразительны, настолько верно передают состояние этого рабочего парня, что его невозможно не пропустить на выставку, да и товарищи говорили, что не могут эту картину не выставить. И я все мечтал, как эту картину будут смотреть люди, какие будут споры. Потом мне сообщили: нет, Алехина не пропустили.

Так все время. Пишешь новую картину, несешь на новый выставком. Опять ждешь. Но ведь должна

быть справедливость! Ну, может, повезет тебе. Ну уж эту картину обязательно выставят! И снова неудача. Но ты садишься и пишешь новую картину. Воспитание воли и характера. «Нету чудес, и мечтать о них нечего». Выставляются другие работы, менее интересные и более подражательные. Но ты продолжаешь работать, продолжаешь искать.

На стендах висели какие-то пейзажи. Около пейзажей спорили, настоящие ли художники Матисс и Гоген.

Когда я вошел, я сразу услышал:

— Алехин! А его ведь опять не выставили.

Это подчеркнуто громко произнес взрослый мальчик, лет тридцати, из тех людей, которые всегда будут мальчиками. Он явно был рад, что меня не выставили. И не потому, что меня не любят, и не потому, что не понимают живопись, а потому, что теперь он сможет кричать на всех перекрестках: «Вот, зажимают молодых художников!» Есть повод для скандальчика... Такие мальчики мешают работать! Среди них, конечно, есть и честные ребята. Но большинство, мы-то это хорошо знаем,— люди, лишенные таланта и потому старающиеся делать имя на таких вот скандальчиках. Они бойко мажут картины, которых никто не понимает, и чем у них получается непонятнее, тем это считается «модернее». Они, эти крикливые мальчики, и кучка их истеричных поклонников объявляют всех остальных дремучими невеждами. А у самих нет ничего за душой, у них в искусстве нет собственного голоса, они не умеют рисовать, не знают жизни, не любят людей. Но именно они дают повод иным демагогам фарисейски кричать: «Вот посмотрите, какая у нас молодежь!» Но что было мне ответить этому «мальчику»? Я только пожал плечами и сказал: да, мол, действительно не выставили. Плохо.

Потом меня остановил Олег. Олег — хороший художник.

— Старик, ты гигант,— сказал он.— Я видел твоего «Машиниста». Могучий парень! Веришь, что эта его еле прорисованная тобою рука крепка, уверена, веришь, что он действительно ведет огромный поезд.

Это было сказано искренне и порадовало меня.

— Феликс, наконец-то,— прервал наш разговор один из членов правления. Он отвел нас в угол.— Картина у тебя, Феликс, гениальная. Я вот смотрю и чувствую движение паровоза. Я чувствую, что он мчится со страшной скоростью. Просто ощущаешь свист ветра. А машинист? Такие ребята делают чудеса. И все-таки ты дурак, Феликс. Почему ты писал в такой манере? Ты же знал, что картину не выставят, а тебя снова не примут в Союз художников. Ну зачем тебе лезть на рожон? Напиши что-нибудь обычное, легко доступное всем. Что называется «проходное».

И он назвал примерную «проходную» тему. В это время к нам подошел один из самых молодых членов правления.

— Алехин,— сказал он,— вы огорчены, я понимаю. Но мы не могли выставить вашу картину. В ней вы совершенно отрываетесь от традиций русской классической живописи. Нет, нет, мне лично кое-что в вашей картине, пожалуй, понравилось. Хорошо передана динамика движения, виден характер рабочего. Великолепные глаза. Такие глаза может изобразить только истинный живописец, Алехин. Ну хорошо. Глаза великолепны. Но на картине они привлекают основное внимание. А паровоз? Разве это паровоз? Он летит, как самолет. А разве паровозы летают?

— Так что же, значит, у меня нет права на поиск? — возразил я.

Мой собеседник взял меня под руку и отвел в сторону.

— Алехин, не считайте меня своим недругом. Я, право же, хочу вам помочь. Разве мне было бы не приятно видеть, что вот молодой художник Алехин выставил новое талантливое полотно? Но к чему все эти ваши изыски? Знаете что, мой вам совет: поезжайте в командировку, куда-нибудь на большую стройку, поприсмотритесь к людям, покажите им свои эскизы. Скажите мне, куда бы вам хотелось поехать, я мигом все устрою.

Он говорил это искренне, я чувствовал, что он искренне хочет мне помочь. Судя по его советам, выходило, что перемена климата решает все проблемы.

Потом ко мне подошел полноватый седой человек с узенькими усиками. Он рассеянно шел по залу и чуть не натолкнулся на меня, потом вдруг остановился, посмотрел на меня почти в упор.

— Вы Алехин? Ну что нос повесили? Картину не приняли? Печально, конечно, но скажу по секрету: картина-то не дописана. Есть, так сказать, идея, неплохая идея, но даже для меня, художника, она выражена только наполовину. Вы подчинились пространственной задаче и начисто потеряли предмет. А у нас, живописцев, кроме взаимоотношения предмета и пространства, других выражений идей нет.

Думаете, я не понимаю, что для выражения вашей идеи вам понадобились глаза? Отлично. Но вы молоды и не знаете, что был когда-то на Кузнецком мосту такой фотограф с дореволюционным псевдонимом Паоло. Так вот он, когда печатал фотографии с негатива, все на нем размазывал и оставлял одни глаза или там кусочек носа. И ведь находились поклонники. Преуспевал. Но это ведь был успех фотографа-штукаря, а вы же не фотограф... Пластика и цельность, друг мой, железный закон для нас, художников, и никакое новаторство, слышите, никакое, если это настоящее новаторство, нас от этого не освободит. А если освободит, то ограбит...

Он поискал положенную куда-то по рассеянности шапку, нашел ее, улыбнулся, двинулся дальше, у двери обернулся и помахал мне рукой.

Я приехал домой очень поздно.

— Ну,— спросил я небрежно,— кто-нибудь мне звонил?

— Никто.

Естественно, я долго не мог заснуть. Я очень спокойно обдумывал, как быть дальше. Все, кончилась сказка. А может, ее и не было? Собственно, этого и следовало ожидать. Урок на будущее. Еще один урок. Бесконечная школьная программа. Ну и слава богу! Тебе ли сейчас искать приключения на собственную шею? Пойдет размеренная, обыкновенная жизнь. Распорядок дня. Вернется жена, все постепенно станет на место. Ты не мальчишка, тебе надо содержать семью. Кстати, о деньгах. От гонорара, который ты получил за рисунки в «Смене» и лихо выложил в тот же день перед восклицательным знаком, осталось чуть больше половины. Ясно, не хватит до возвращения жены. А там? А там потребуется еще больше. Ты же должен был зарабо-

тать за лето. Значит, нет выхода. Надо лететь в Красноярск. Тебе давно предлагают эту командировку. Что ж, это интересно. Можно привезти много рисунков и напечатать их в разных журналах. Сибирь — всегда нужная тема. Решено. Кончаешь картину, платишь за мастерскую вперед за сентябрь, двадцать дней на казенных харчах, приезжаешь и становишься Чарли-миллионщиком. Чарли-миллионщиком на два месяца. Но это очень здорово. А там что-нибудь придумаем. Значит, улетаешь. Через неделю. Нет, за два дня надо кончать все дела — и к черту из Москвы. Свежий воздух укрепляет нервную систему. Перед отъездом хорошо бы разбить телефон. Свести старые счеты. Ты взрослый человек, ты должен думать о семье. Вдруг, не дай бог, что-нибудь с отцом?

Часа в три я все-таки усмирил подушку и заснул.

Рано утром меня разбудили телефонные звонки, я поехал по делам, оформил командировку, пообедал в издательстве и отправился в мастерскую. Хозяйка, молодая дворничиха, была изрядно удивлена, когда я ей вдруг выложил деньги за сентябрь.

Я приготовил краски. Но работа не шла. Все казалось мне искусственным и фальшивым. И вообще, кому это нужно, что я пишу? Ну, ребята скажут: «Ничего, старик, здорово». Ну, жена вздохнет. И?

Комната вся обвешана моими рисунками. В углу груда холстов. А дальше? Хозяйка и так вынесла всю мебель, оставила только стол, стул и диван. Скоро и они будут мне мешать.

Но я не люблю уезжать, оставив что-нибудь неоконченным. Замазать картину? Не психуй! Вот на Енисее подлечишь нервы.

Я лег на диван, закрыл глаза и словно провалился.

Не помню, отчего я проснулся. Ира сидела на единственном стуле и рассматривала рисунки.

Я встал, причесался, и, пока я проделывал всю эту гимнастику, я готов был задать тысячу вопросов. Потом я подошел к выключателю и зажег верхний свет.

— Хотите чаю? — сказал я.

— А у вас есть чай?

— У хозяйки есть чайник.

Я пошел на кухню и зажег газ. Потом вернулся.

— Что на улице? — спросил я.

— Дождь.

Я достал из-под стола стаканы, пачку сахара, одну маленькую ложку.

— А чей это портрет? — спросила она.

— Это портрет моей жены.

Я пошел на кухню и принес маленький чайник и потом большой чайник.

— Хорошая,— сказала она, указывая на портрет.

— Ее, к сожалению, нет в Москве.

Мы молча выпили чай. Я убрал стаканы и вынес чайник. Потом я приготовил кисти.

— Я вам не помешаю? — спросила она.

— Нет, если хотите, оставайтесь.

Я начал что-то мазать красками. Она встала.

— Знаете,— сказал я,— давайте быстро набросаю ваш портрет. Это вас задержит максимум на полчаса.

Она села. Я отложил кисти, достал фанеру, прикрепил лист ватмана, взял карандаш.

— Не шевелитесь,— сказал я.

— Вы любите свою жену? — спросила она.

— Я очень люблю свою жену, свою дочь, свою маму, столицу нашей Родины — Москву, нашу страну, нашу землю, все девять планет нашей солнечной системы, наш Млечный Путь и даже ту, соседнюю галактику, которая проглядывает в созвездии Кассиопея. Впрочем, насчет созвездия я точно не помню.

Через двадцать минут я кончил рисунок.

— Вот,— сказал я,— возьмите на память.

Она продолжала сидеть.

— Это ваша комната? — спросила она.

— Нет, я ее снимаю.

— Что, у вас негде работать?

— Да. Я живу в перегороженной комнате. В свое время отцу давали квартиру. Два раза предлагали. Он тогда был большим начальником. Но отец мой старой закалки. Идеалист. Каждый раз подвертывался человек, который больше нуждался, и отец отдавал ему свой ордер.

— Ваш папа, где он сейчас?

— А сейчас он в больнице. Я от него ехал, когда встретил вас.

— Ну, вы продолжайте,— сказала она,— я вам не помешаю.

— Если вы не устали, я еще раз вас нарисую,— сказал я.

Я кончил рисунок, свернул лист и протянул его Ире.

— Возьмите на память. Но сегодня у меня нет денег на ресторан. Я могу предложить вам только чай.

— Вас никогда не били? — спросила она.

— Нет.

— Странно.

— Давайте я еще раз вас нарисую,— сказал я.

— Нет,— сказала она.— У меня было скверное настроение, и я спустилась на пароходик, чтобы сидеть у борта и смотреть на воду. Но когда я пришла на корму, я подумала: какие сумасшедшие глаза у этого парня. Кстати, в тот раз у меня были с собой деньги.

— Вы слишком много говорите,— сказал я,— пойдемте лучше в кино.

Мы пошли в ближайший кинотеатр. В зале было много свободных мест. Это была самая интересная картина из всех, что я видел, потому что мы сели на последний ряд, и, как только потушили свет, я стал целовать Иру и открыл глаза только тогда, когда фильм кончился.

— Надо бы чего-нибудь поесть,— сказал я, когда мы вышли на улицу.

— Зайдем в магазин,— сказала она.

Мы купили булку, сыр, банку консервов (кильки в томате) и бутылку пива, а потом вернулись в мастерскую.

И тут я уж ничего не мог с собой поделать. У меня дрожал голос, дрожали руки. Я с трудом открыл консервы.

Я говорил какие-то несвязные фразы и вдруг начинал смеяться.

И потом я вышел на кухню, подставил голову под холодную воду и насухо обтерся полотенцем. Я вошел строгий и подтянутый.

— Слушай, Ира, у меня не будет денег, чтобы отвезти тебя на такси. А Моссовет следит за нашей нравственностью. Троллейбусы до полпервого ночи.

— Садись! — сказала она.

Я хотел к ней подойти.

— Нет,— сказала она,— садись. Ты можешь посидеть спокойно?

Я сел. Она молча смотрела на меня. Я хотел встать.

— Сиди,— сказала она.

Я чувствовал, что опять меня охватывает дрожь, и если так пойдет, то меня начнет раскачивать и я свалюсь со стула.

— Слушай,— сказал я,— спроси у меня что-нибудь о жене, о ребенке, о зарплате, о том, сколько я денег получу вот за эту мазню.

— Ты не можешь помолчать? — сказала она.

— Могу,— сказал я,— фига два от меня теперь дождешься хоть единого слова. Я буду нем, как саратовский холодильник, как ведро воды, как собрание членов общества креста и полумесяца неопределенного цвета.

— Теперь можешь подойти,— сказала она.

— Романтика,— сказал я.

— Кретин,— сказала она.

Я постепенно транжирил командировочные деньги. Сначала я решил, что мне хватит два рубля в сутки. Потом — полтора рубля. Потом я подумал, что как-нибудь выкручусь, и свел свой будущий рацион к рублю двадцати копейкам.

Маме я говорил, что мне надо кончать картину. Впрочем, я человек самостоятельный, и она особенно не допытывалась, почему я все откладываю с отъездом.

Конечно, я не работал. Я целые дни лежал на диване, ни о чем не думал, ничего не делал. Я ждал Иру. Ей приходилось труднее. Я уж не знаю, что она говорила дома, когда появлялась там только на вторые сутки.

А у меня было очень много дел. И надо кончить картину и заехать на Беговую, домой...

Наверно, все думали, что я здорово работаю. Ребята даже перестали ко мне заходить, чтоб не мешать.

А я, стыдно признаться, я лежал целые дни, уткнувшись в подушку. Может, я о чем-то и думал, может, просто дремал — не важно. Я ждал Иру.

Иногда я вскакивал. Хватит. Ты не ребенок. Возьми себя в руки. Ты должен работать.

Я брал чистый лист ватмана... и начинал рисовать Иру. И ничего у меня не получалось.

Вот, ты считаешь себя художником. Ты знаешь, что и как. Ты разбираешься в сюрреализме и экспрессионизме. А просто портрет девушки ты не можешь сделать. Но разве можно ее нарисовать? Бред собачий, а кого нельзя нарисовать? Ну в чем же дело?

И вдруг я смотрел на часы и замечал, что сижу уже так часа два, не сдвинувшись с места, и не могу вспомнить, о чем же я думал все это время.

Потом шли опять какие-то провалы. Потом передо мной вставала картина. Огромное, спокойное, чуть плещущееся море без горизонта. Но море не синее, а серое. Светло-серое, солнечное. Какие-то шарики или ролики в моей голове начинали крутиться и профессионально набрасывать картину этого моря. Но ничего не получалось. Огромное, светлое, блестящее море без горизонта. Оно не вмещалось ни в какие рамки.

Хватит, Феликс, ты взрослый человек. Она обыкновенная девушка. Обыкновенная. Две ноги, две руки. Понял? Сколько ты таких видел? Каких? С двумя ногами, с двумя руками? Нет таких. Таких больше нет. И не было и не будет. Каких таких? С двумя ногами и с двумя руками? Перестань. Но она обыкновенная. После школы — институт. Летом работала переводчицей. Этим летом она решила отдыхать. Еще бы, есть возможность. Папа и мама плюс дача. Ей не приходилось с восемнадцати лет зарабаты-

вать деньги. Да, с восемнадцати лет ты уже приносил деньги домой. А она? Она еще ничего не испытала и ничего не знает. И знает больше, чем ты.

И так до бесконечности. Милое препровождение времени, не правда ли?

Когда она приходила, я не мог встать. Я лежал и смотрел на нее.

— Сумасшедший,— говорила она,— если бы я тебя не знала, то испугалась бы твоего взгляда. Ты опять бездельничал? Нет, так не пойдет. Тебе надо срочно уезжать. Увидеть другой мир, других людей. Что, ты еще не был на улице?

Она садилась возле меня. Я брал ее руки, притягивал их к своим губам.

— Чудо мое,— говорила она,— смотри, ты скоро перегоришь.

А я смотрел ей в глаза. Мне ничего не надо было. Только чтобы она никуда не уходила. Только бы смотреть на нее.

Мой орудовец наглухо закрывался в своей будке и делал вид, что все происходящее его не касается. Я забывал о его существовании.

Но когда Ира уходила, он появлялся, сверкая начищенными пуговицами на новом мундире, держа под мышкой большой том «Правил уличного движения».

— Ну,— говорил он ехидно,— так что же будет дальше?

Зажмурившись, я выбегал из дома.

☆

От Красноярска я уже не мог отказаться. У меня не было денег, чтобы вернуть аванс, полученный на поездку.

Перед моим возвращением из Сибири в Москву с Украины приезжает моя семья. На двойную жизнь я не способен.

И тогда?

Был куплен билет. Самолет уходил на следующий день, утром.

Вечером я поехал к отцу.

В коридоре молоденькая сестра (по-моему, ее звали Надя), потупившись, прошла мимо.

Так повторялось каждый раз. Однажды я резко оглянулся. Она смотрела мне вслед.

Отец был очень плох. Он с трудом, не поднимая головы, протянул мне руку. Лицо его осунулось. Глаза были тусклыми.

— Привет,— сказал я бодро.— Я принес тебе три лимона.

У нас с ним такая манера разговора. Как будто он чуть-чуть прихворнул и скоро встанет, и вообще ничего особенного.

— Хорошо,— сказал он тихо.— Положи в тумбочку.

— Я завтра улетаю в Красноярск,— сказал я.— Большая командировка.

Я стал подробно рассказывать. Я чувствовал, что надо что-то говорить. Я боялся молчания.

— Хорошо,— сказал он.— Тебе надо ездить. Красноярск — большой промышленный город. Там интересно.

— Что с операцией? — спросил я.

— Отложили. Может, вернется мой врач. Пока, говорят, не страшно.

— Слава богу,— сказал я.— Ты знаешь, я привез тебе письмо с Украины.

Я дал ему письмо. Я знал, что он очень любит мою дочь. И жена это знала. Она написала подробное письмо о Маше и в конце зарисовала контур ее руки.

Он долго читал письмо.

— Машенька стала большой девочкой,— сказал он.— Уже кричит: «Мама, мышонок проснулся!»

Это было написано в письме.

— Да,— сказал я,— большая девка, бьет своего двоюродного брата.

Это тоже было написано в письме.

Мы помолчали. Я встал и подошел к окну. По садику гуляли выздоравливающие в синих пижамах. Слева стояло одноэтажное серое здание. Это был морг. Я сразу отошел от окна и сел на стул.

— А ты читал Программу партии?

Отец у меня иногда любит задавать неожиданные вопросы.

— Читал,— сказал я.

— Ну?

— Ничего,— сказал я.

— А я уж, было, помирать собрался, а прочел — нет, жить хочется, хочется все это увидеть своими глазами.

— Ну,— сказал я бодро,— конечно, увидишь.

— Мама мне говорила, что у тебя роман с какой-то девушкой.

Вот это номер! Однако агентура работает. Тут явно не обошлось без моей хозяйки.

— Да,— сказал я.— Я ее люблю.

— Ты знаешь, как я отношусь к твоей жене и к Машеньке. Но ты подумай. Не делай той ошибки, что сделал я. Ведь ты знаешь, что я...

— Да,— сказал я очень быстро.— Я все знаю.

Я знал эту женщину. Ее звали Фаня Борисовна. Она была, очевидно, хорошей женщиной. Но что-то в ней меня раздражало.

— Понимаешь, папа,— сказал я,— все это очень сложно. Вот буду в командировке, все обдумаю.

— Надо обдумать,— сказал он.

Мы помолчали. Я мучительно соображал, что бы еще рассказать. Невольно я взглянул на часы. До отлета самолета оставалось семнадцать часов.

— Ты, наверно, торопишься? — сказал он.

— Нет,— сказал я,— я еще посижу.

— В чем ты едешь? — спросил он.— Там, может быть, холодно.

— Не волнуйся, там жарко. Но я возьму с собою свитер.

Конечно, я и не думал его брать.

— Когда ты прилетаешь в Москву?

— Наверно, тридцатого августа, а если там будет очень интересный материал для работы...

Вдруг я увидел, как он побледнел и словно судорога свела его лицо. Он отвернулся и вытер глаза. Я знал, что это означает.

— Позвать врача? — спросил я.

— Не надо. Иди, Феликс, я устал.

— До свидания,— сказал я,— выздоравливай.

На углу я схватил машину и примчался в мастерскую.

— Ирка, милая,— сказал я,— как хорошо, что ты здесь.

Она улыбнулась.

— Что там?

— Ничего,— сказал я,— по-прежнему.

— Ну, не хочешь, не говори.

Тут я не выдержал.

— Собачья жизнь! — кричал я.— Так нельзя. Так не может быть. Какие-то столетние старухи до сих пор спят на пуховиках. А тут?.. Он всю жизнь мучился. Его резали и кромсали. Он все время болел и все время работал. Но хоть бы под конец стало легче! Я убежал от него. Я не могу там быть. У него дикие боли. Ничего нельзя сделать. Такая была тяжелая жизнь, так хоть бы сейчас, под конец, стало легче! Это нечестно. За что? Ведь он делал только хорошее людям. Был бы бог, он бы не допустил этого. Так нельзя! Так нечестно! Это просто несправедливо!

Я заплакал.

Потом мы пошли в какую-то паршивую забегаловку и здорово выпили.

Ночью мы почти не спали.

В кассе Аэрофлота Ире долго не продавали билет на автобус. Провожающим нельзя. Так и не продали. Тогда мы просто сели в автобус. У нас даже билета не спросили.

Уже все пассажиры вошли в самолет.

— Я напишу тебе письмо,— сказал я.

— Нет, не надо,— сказала она.— Ты там чего-нибудь напридумаешь, не надо. Лучше приезжай скорее.

— Да,— сказал я,— ты знаешь, где лежит ключ. Если тебе понадобится комната, пользуйся, не смущайся.

— Обязательно,— сказала она.— Я сейчас приглашу туда весь летный состав аэропорта Внуково, всех шоферов автобусов и таксистов. Мы хорошо повеселимся.

— Привет Игорю! — сказал я.

— Какому?

— Тому, что ждал тебя тогда с билетами в кино.

— Хорошо, передам. Его, правда, звали Эдик. Я ужасно по нему соскучилась. Скорее бы ты улетел.

В самолете я нашел свое кресло, сел и потянулся к окну. Ира все еще стояла. Потом пошла. Остановилась. Обернулась. Я помахал ей. Но она меня не увидела.

ГЛАВА V

ОТЕЦ

Мне очень хотелось, чтоб он приехал. Я знал, что он должен приехать, но у него иногда бывает какое-нибудь неотложное дело, и он пропадает. Вообще мой сын — самый таинственный человек из всех, кого я знаю. Вечно у него какие-то непонятные дела, как он выражается, «интриги», потом он вдруг неожиданно срывается в командировку, неожиданно появляется. Из стула, на котором он сидит, явно торчат гвозди. Они ему не дают спокойно побыть на месте. Нам, конечно, он почти никогда ничего не говорит. Но кое-что я про него знаю.

Уже давно в соседние палаты пришли посетители. Я слышал их шаги.

Да, он может не прийти. Это на него похоже.

Он появился, как всегда, неожиданно.

Лицо у него было усталое, но глаза лихорадочно блестели.

— Привет,— сказал он бодро,— я принес тебе три лимона.

Я уже привык к его манере разговора. Когда-нибудь сказать просто, нормально: «Здравствуй, папа, как себя чувствуешь?» — выше его сил.

— Хорошо,— сказал я,— положи их в тумбочку.

В тумбочке лежало еще штук десять. Их принесли с работы. Скоро я открою филиал фруктового магазина.

— Завтра я улетаю в Красноярск,— сказал он.— Большая командировка.

И стал мне подробно рассказывать. Но я так и не понял, почему он летит именно в Красноярск. По-моему, все дело в гвоздях. У него редкое чутье. Он видел, что я хочу с ним поговорить о чем-то серьезном, и поэтому говорил сам. Откровенных разговоров о его дальнейшей судьбе он упорно избегает.

— Хорошо,— сказал я,— тебе надо ездить. Красноярск — большой промышленный город. Там интересно.

Мне бы туда полететь. Я никогда не был восточнее Новосибирска. Сейчас это просто. Пять часов. В свое время я из Москвы в Новосибирск ехал пять суток.

— Что с операцией? — спросил он.

Я знал, что если дело дойдет до операции, то вряд ли она мне поможет. И вообще пускай спокойно уезжает.

— Отложили. Может, вернется мой врач. Пока, говорят, не страшно.

— Слава богу,— обрадовался он.— Ты знаешь, я привез тебе письмо с Украины.

Это тоже один из его приемов ухода от разговора. Он со мной говорит или о поездках, или о Машеньке.

Письмо было написано явно для меня. Наверно, это он так просил. Но мне очень бы хотелось увидеть девочку. Вот ее ручка. Дети растут. Помнит ли она меня? Нет. Она еще очень маленькая. Она меня не запомнит.

— Машенька стала большой девочкой,— сказал я.— Уже кричит: «Мама, мышонок проснулся!»

— Да,— сказал он,— большая девка, бьет своего двоюродного брата.

Об этом я уже прочел. Он встал и подошел к окну. А я мучительно раздумывал: как начать с ним разговор? Как узнать, что он думает делать дальше? Понимает ли он, что происходит в стране? Интересует ли это его? Или он замкнулся в узком кругу «непризнанных гениев» и считает себя обиженным?

Он сел.

— А ты читал Программу партии?

— Читал,— сказал он.

— Ну? — спросил я.

— Ничего,— сказал он.

Я сделал последнюю попытку:

— А я уж, было, помирать собрался, а прочел — нет, жить хочется, хочется все это увидеть своими глазами.

— Ну,— сказал он весело,— конечно, увидишь.

Нет, бесполезно. Он опять ушел. У него наверняка есть свои соображения, но мне о них он никогда не скажет. В общем, поговорили. Ладно. Извините меня, но сейчас я имею право: еще один интимный вопрос.

— Мама мне говорила, что у тебя роман с какой-то девушкой.

Он смутился. Значит, серьезно. Он еще очень молодой. Он думает, что все еще впереди. Он не может понять, что настоящего спутника жизни встречают один раз. Один раз — а остальное все будет не то, ненужное. И если это настоящее, надо быть осторожным. Очень легко все потерять.

— Да,— сказал он,— я ее люблю.

Значит, серьезно. Это страшно — уходить от семьи. Я это испытал. У меня не хватило сил. Но ведь он совсем другой.

— Ты знаешь, как я отношусь к твоей жене и к Машеньке.— Мне почему-то стало трудно говорить. Начало покалывать сердце.— Но ты подумай. Не делай той ошибки, что сделал я. Ведь ты знаешь, что я...

— Да,— резко прервал он меня,— я все знаю.

Конечно, он обижен. Он обижен за мать. Я не должен ему говорить такие вещи. Но у меня мало времени. Как ему помочь?

— Понимаешь, папа,— продолжал он,— все это очень сложно. Вот буду в командировке, все обдумаю.

Сам решу. Сам обдумаю. Характер. Самостоятельность. А ты лежи и не суйся в чужие дела. Так.

Я знаю, что он меня любит. Я помню, как он приехал грязный, мокрый и очень усталый из Москвы. Пятьдесят километров на велосипеде под дождем. А у меня начался приступ. И он сел снова на велосипед и поехал за врачом за десять километров. Обратно он еле доплелся.

Я понимал, что мы мужчины. Скрываем свои чувства. Но не стыдно их хоть раз показать: вдруг потом будет поздно?

Куда там! Его ждет девушка. Он уже нервничает и смотрит на часы.

— Ты, наверно, торопишься?

— Нет,— соврал он,— я еще посижу.

Ну, посиди еще немного. Твоя девушка от тебя не уйдет. Никуда не уйдет, если она настоящая. А я еще посмотрю на тебя.

— В чем ты едешь? Там, может быть, холодно.

— Не волнуйся, там жарко. Но я возьму с собою свитер.

Конечно, не возьмет. Разве он меня послушается!

— Когда ты прилетаешь в Москву?

Резкая боль обожгла меня. Удар был неожиданным. Исподтишка. Началось. Я почувствовал, что на глазах — слезы. Я отвернулся и вытер глаза платком. Каждое движение причиняло мне еще новую боль. Он не должен был ничего заметить.

Что-то он почувствовал.

— Позвать врача?

Я сделал последнее усилие, и голос мой звучал спокойно.

— Не надо. Иди, Феликс, я устал.

— До свидания, папа,— сказал он,— выздоравливай.

Дальше я плохо помню, но, вероятно, он тут же сказал сестре. Она прибежала и сделала мне укол. Наркотик. Обезболивающее. На этот раз я не протестовал. Скоро боли стали стихать, и я уснул.

☆

Я начал подозревать, что люди в белых халатах все-таки кое-что понимают в медицине. Во всяком случае, мне стало лучше. Мои товарищи, жена, Фаня, напуганные последним кризисом, просиживали у меня все время, отведенное для посетителей.

Врачи увеличили свою активность, и эксперименты надо мной продолжались. Так что распорядок дня был весьма насыщенным.

И только ночью, когда я просыпался просматривать забытые ленты, и комната светлела, а сестры еще не приходили, я продолжал вести невысказанный разговор с сыном.

Феликс вырос в семье, где мать и отец все дни пропадали на работе. Его никогда не баловали. Отнюдь. Средства, особенно в последнее время, у нас были ограниченны. Свою сознательную жизнь Феликс

в основном провел в школе и в пионерских лагерях. Дома он мыл посуду и полы, выносил ведра, и вся тяжелая работа была на нем.

Правда, когда он стал студентом, мать старалась освободить его от всего.

Уже на третьем курсе института он добился выставки своих работ, которая вызвала шумные споры.

Появилось несколько статей. В одних его хвалили, в других ругали, но все отмечали, что он очень способный, талантливый художник.

Он рано стал ездить в командировки от журналов.

Один маститый журналист, который был вместе с Феликсом на строительстве Волжской гидростанции, рассказывал, как он работал.

...Мороз, сильный ветер. Феликс часами сидит где-нибудь на краю котлована и рисует. Острые палочки он макает в пузырек с черной тушью. Руки мерзнут, а в перчатках нельзя работать. Застывала тушь. Когда он приносил рисунки в гостиницу — тушь оттаивала, расползалась. Рисунок приходилось переделывать. Наутро он снова с блокнотом бродил по котловану, а вечером — подчищал и переделывал. И так каждый день.

Он кончил институт. Его все больше ругали, но продолжали говорить, что он самый молодой и самый талантливый.

Потом критика заговорила о других, молодых, сильных художниках, а Феликса уже и не вспоминали. Его картины становились все непонятнее. Я заметил, что он стал нелюбопытен, почти не ездил по стране, замкнулся в узком кругу своих товарищей.

Серьезных разговоров со мной он не вел никогда, на мои вопросы отвечал уклончиво, и в его ответах сквозило:

«А что ты понимаешь?»

Чем больше я наблюдал за этой молодежью, тем больше удивлялся. Возможно, потому, что для меня была школой гражданская война, а для них — пятьдесят шестой год. Время романтики и время анализа.

Мы жили и работали в таких кошмарных условиях, которые им и не снились. Мы построили огромное государство. Построили ценой больших жертв. Но мы радовались успехам нашей страны. Ведь не случайно из года в год в наших газетах ежедневно публиковались цифры выполнения плана по добыче угля, по выплавке стали. В этом была наша жизнь, наша работа. Мы были счастливы, когда наконец кончились пробки и аварии на транспорте, когда начал действовать Магнитогорский комбинат, Днепрогэс.

Но вот этого такие юнцы, как мой Феликс, не понимают. Знаем, мол, эти проценты. В зубах навязли!

Увлечение квакающей, психопатической музыкой, сумасшедшей живописью, западными фильмами, книгами, модами охватило часть нашей молодежи. Не замечать этого, относиться пренебрежительно,— по-моему, преступление. Значит, надо найти причины, обдумать, устранить их. В конце концов, дело не в музыке и в одежде. Ну, черт с ними, пускай ходят, в чем хотят!

Самое страшное — это уход от общественной жизни в свой личный, мелкий мирок, равнодушие ко всему происходящему.

Но ведь мы же для вас терпели лишения, ведь мы же для вас строили!

Ведь ради вас отдали жизнь миллионы наших товарищей, лучшие наши товарищи!..

ГЛАВА VI

СЫН

Я раскрыл глаза. Самолет шел низко над горами. Казалось, что летим над лугом. Деревья — как травы.

Скоро земля потемнела, и замелькали огни Красноярска.

В переполненном троллейбусе я понял, почему москвичи вежливы и рассудительны. Машин в Москве много — одна ушла, другой дождешься. А сибирякам не до хороших манер. Остановился троллейбус — прыгай, другого — ждать полчаса.

Мне был забронирован двухместный номер. Вторая койка пустовала. Она была тоже забронирована.

В вестибюле на чемоданах скучали приезжие. В окошке у администратора красовалась табличка: «Свободных мест нет».

Сейчас в Москве — семь вечера. Здесь — полночь. Я выспался в самолете и не знал, что же мне делать.

Я начал думать об Ире, но чем больше думал, тем увереннее приходил к выводу, что самое лучшее — пока об этом не думать.

И тогда я вспомнил больницу. У отца опять начался приступ. Я правильно сделал, что ушел от разговора. В его положении сейчас не надо нервничать. Опять приступ! Еще один.

А может, надо было с ним поговорить?

Ведь мне очень многое надо узнать. Кто мне расскажет о том времени, как не мой отец?

Я хочу понять, как же там было на самом деле.

Кажется, нет ничего естественнее, как прийти и сказать: «Папа, расскажи мне о первой пятилетке».

Просто прийти и попросить. Идиллическая картина. Душевный разговор отца с сыном.

И самое главное, я очень хочу его послушать, а он — мне рассказать.

Но это немыслимо. Я скорее умру, чем произнесу такую милую фразу: «Дорогой папа, расскажи мне о первой пятилетке». И даже если все пойдет вверх ногами и я вдруг сумею выговорить эти слова, отец на меня посмотрит, как на сумасшедшего. Настолько это не вяжется с моим характером. Боюсь, что он тут же мне сунет градусник и вызовет врача.

Иногда мне кажется, что я не понимаю отца, иногда — наоборот, ясно вижу, о чем он думает.

Однажды я пришел к нему на работу. В приемной было много посетителей. И тут же сидел один из его сослуживцев, полный, солидный старик. И все его робко о чем-то спрашивали и почтительно выслушивали его ответы.

Появился отец, сел за свой стол. Вокруг него столпился народ, и сослуживец начал что-то важно докладывать.

— Замолчите,— громко прервал его отец,— дайте мне выслушать человека!

Солидный, толстый старик покраснел и смутился, как мальчишка.

Потом я спросил отца, почему он так резко прервал старика.

— Сергеева, что ли? Он просто дурак!

Может быть, отец был прав, но я никогда не за-

буду беспомощного взгляда старика и того холодного равнодушия, которым сразу прониклись все посетители к сослуживцу моего отца.

И другой эпизод. Опять же давно это было. Я пришел из института, и мать сказала, чтоб я бежал к отцу на работу и помог ему дойти до дому. На улице подморозило, люди скользили, и отец, когда шел на работу, упал.

Была сильная гололедица. Мы двигались медленно, и я, собственно, ничем не мог помочь, только следил за тем, чтобы резиновые набалдашники костылей не попадали на явный лед. Вероятно, утром отец сильно ушибся, но, конечно, он ничего мне не говорил и только изредка с раздражением просил, чтоб я не мешался под ногами.

Мы остановились у перекрестка. Проехал «ЗИЛ». С шофером сидел холеный мужчина, смотревший в окно ничего не замечающим взглядом.

— Вон проехал Паша Тимофеев,— вдруг сказал отец,— он работал у меня в отделе.

Больше он ничего не сказал. Но мне стало очень обидно за отца. Почему это Паша Тимофеев должен кататься в машине, а отец ковыляет пешком по льду? Ведь он, наверное, заслужил большего.

И вообще, как получилось, что отец так и остался средним совслужащим? Он же был когда-то большим работником. И ведь он хорошо работал, ведь он был очень способным — это я знаю по рассказам его старых товарищей. Из-за того ли, что он, как проверенный солдат, был на самых сложных участках фронта и никогда не думал о себе? Или тут были другие причины, которые помешали ему? Или он сам не захотел в определенное время находиться на руководящих постах?

Кто мне это объяснит?

Странно, меня интересует он, а его интересую я. Я знаю, он никогда не будет говорить о себе, но очень хочет узнать все про меня.

Да и я сам хочу многое ему рассказать.

Это не так просто. Нужна спокойная обстановка. Нужно обоюдное желание выслушать друг друга, а не только высказаться самому.

Например, если бы он теперь сидел в моем номере. Если бы вторая койка была забронирована для него. Мы же должны хоть раз поговорить по-настоящему!..

Старая песня. Отцы и дети. Отцы не понимают детей. Это неверно. Вы должны нас понять.

Каждое поколение особенное. Но на наших глазах совершается переход человечества из одной социальной формации в другую.

Вероятно, именно мы будем сдавать самый серьезный экзамен, которому когда-либо подвергался род людской: быть или не быть жизни на Земле?

Конечно, поколения разные. И в нашем поколении есть такие, что плывут по течению, стоят в стороне, лишь бы не думать — пускай все решается без них.

Но под словами «наше поколение» я разумею думающих людей.

Конечно, между нами существует много различий. И если у человека стоит вопрос не «как жить», а «как пообедать»... В общем, ты понимаешь, о чем я говорю!

Я говорю о рабочих и художниках, артистах и инженерах, шоферах и врачах, которых не только волнует извечный фаустовский вопрос: как жить, зачем жить,— но которые делами своими хотят ответить на этот вопрос.

Мы, молодежь мира, внешне очень похожи, несмотря на то, что все мы очень разные.

Мы одновременно сузили брюки, укоротили волосы и юбки. Мы тянемся вверх на высоких каблуках и заостряем носы ботинок.

Да, мы очень разные. Иногда кажется, что мы с разных планет. Мы люди разных идеологий. Мы отвергаем их практицизм, а они не могут себе представить, как наши ребята добровольно покидают большие города и едут на целину и новостройки.

Неужели мы не поймем друг друга? Ведь это же так важно: мы все вместе отвечаем за будущее мира!

Одни и те же мелодии популярны во всех странах. Мы смотрим современные фильмы, читаем современные книги. Мы хотим быть космонавтами, мы беспокоимся о маленьких детях во ржи. Мы встречаемся на дорогах Мексики и Алтая, на улицах Парижа и Таллина, в джунглях Амазонки и в Чукотской тундре. Нам есть о чем поговорить и поспорить на фестивалях и форумах.

Мы все были свидетелями больших событий. Мы воспитаны на этих событиях. Пока мы росли, была война и погибло почти пятьдесят миллионов человек. Они погибли для того, чтобы защитить наше будущее и нашу жизнь.

Но это трудное и героическое время мы плохо помним.

При Сталине нам вдалбливали: у нас все хорошо, все отлично.

У нас самая богатая страна.

У нас самый мудрый вождь. Он убережет нас от всех бед.

У нас — детей — самое счастливое детство.

Наши колхозы — самые зажиточные.

Наша одежда — самая красивая.

Все этому верили. Я знаю, отец, ты мне скажешь: как вы могли не верить? Ведь у нашего народа много героических дел: Днепрогэс, Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре, папанинцы и т. д.

Это все правда.

Но в то же время колхозники получали иной раз за все лето сотню старыми деньгами. А после XX съезда мы узнали о трагедии тридцать седьмого года, о трагедии первых дней войны, о ленинградском деле.

Представляешь, как это подействовало на всех нас, особенно на самых молодых?

Ты можешь заявить: вы впали в нигилизм. Нет, отец, тут и проявилась разница между нами и нашими сверстниками из буржуазного Запада.

Мы поняли, что поколение наших отцов — именно вы — нашло мужество раскрыть все ошибки и злоупотребления прошлого.

Ты часто говоришь о тех огромных успехах, которых добилась наша страна, наш народ, наша партия.

Мы не слепые, мы это знаем и видим.

Да, мое поколение уже стало взрослым. Мы поняли, что после десятилетки надо работать и учиться, что работать — это счастье, и что жить можно не в одной Москве, и жить надо не только для себя, а для людей. У нас есть специальности, у нас есть свое место в обществе. Более того. Большинство из нас нашло свою первую любовь. Мы женились, остепенились. Точка. Вот здесь обычно кончаются все романы. Человек созрел, теперь ему остается жить-поживать да добра наживать!

А для нас все только начинается. Кто мы: «фишки или великие, лилипуты или поэты?»

Как нам жить дальше? Как нам продолжать дело отцов, не повторяя их ошибок?

Последствия культа личности не исправишь, огра-

ничившись только изъятием портретов и переименованием городов.

Культ личности — это инертность мышления, это боязнь думать самому, это мечта о тишине и ненависть к новому.

Мы не хотим быть толпой — «все как один», безголосой фигурой на шахматной доске большой политики. Мы хотим сами понять, «что такое хорошо и что такое плохо». Мы не хотим быть маленькими винтиками. Ведь коммунизм начинается тогда, когда человек перестает чувствовать себя бесправной деталью большой машины, когда он считает себя хозяином всего и знает, что ему доверяют и прислушиваются к его мнению, и прислушиваются по-настоящему.

Мы хотим, чтобы нам доверяли, чтобы у нас было право на поиск.

Ты помнишь, отец, историю моего товарища, Сережи?

Он вернулся из Донбасса и привез превосходную картину «Шахтеры».

...Уставшие, черные от угольной пыли, еще не остывшие от напряженного труда, молодые ребята вразвалку шагают по залитой весенним светом дороге. Контрасты черных лиц с ослепительным светом дня, следов усталости с затаенными улыбками вполне довольных своей трудовой судьбой людей, темных терриконов с полосой голубого неба делали картину выразительной и по-настоящему жизнеутверждающей.

На выставкоме Сереже категорически заявили: много темного. Не типично для нашей действительности. И кто-то из «китов», имевших тогда вес, предложил — чтобы картина пришла в «равновесие» — поставить рядом с шахтерами девочек в белых платьях, которые вручают рабочим пышные букеты цветов.

Сереже хотелось, очень хотелось хоть раз выставиться перед большой аудиторией. И он... подчинился.

А зрители шли мимо этой картины — холодные, равнодушные, останавливаясь разве только для того, чтобы отпустить пару иронических замечаний по поводу ангелочков с цветами. И хотя картину эту воспроизвел один очень распространенный иллюстрированный журнал, все же она с треском провалилась. И Сережа тогда сказал: «Меня как будто растоптали».

А потом написал такую же картину. А ведь он был способным художником!

Хорошо, что другие наши ребята не сломались.

Мы любим свое дело, и мы хотим, чтобы живопись в нашей стране стала такой же настоящей, как наша лучшая архитектура, поэзия, проза, как наши лучшие фильмы, как наши разнообразнейшие науки, особенно физика; чтобы живопись помогала людям жить, чтобы она звала и воспитывала, а не была равнодушной, раскрашенной фотографией, мимо которой проходят с холодным сердцем.

Ты мне всегда говоришь, что я все отрицаю огульно. Это не верно! В нашей современной живописи много хорошего: Сарьян, Нисский, Дейнека, Чуйков — отличные художники старшего поколения. А Пророков, Мухина, Шадр! Нет, не о них речь. Когда появилось столько талантливой молодежи, когда получили признание новые приемы изображения, нельзя пользоваться только старыми. Древние создавали прекрасные здания из тесаного камня. Но кому придет в голову использовать тесаный камень сегодня, в век бетона, стекла и алюминия?

Как видишь, отец, мы с тобой и не очень разные. Просто мы на различных участках одного и того же фронта.

ГЛАВА VII

ОТЕЦ

В свое время меня спасла чистая случайность. Когда я был парторгом на военном заводе, главным инженером там работал некто Балдин, хороший специалист, но человек высокомерный, не считавшийся с интересами рабочих. В конце месяца люди «вкалывали» без выходных. Сверхурочные часы... Техника безопасности была запущена, новое оборудование внедрялось слабо.

На одном партийном собрании мы резко критиковали Балдина. Бюро объявило ему выговор.

Вскоре он неожиданно пошел на повышение. Его назначили главным инженером главка.

Тогда я сказал секретарю парторганизации:

— Сергей Иваныч, спрячь протоколы собрания в сейф. Документы эти не очень приятны для Балдина, а он теперь начальство и постарается их изъять.

Потом меня перевели в один из трестов химической промышленности.

В тридцать восьмом году меня неожиданно освободили от должности. Управляющий говорил со мной очень странно, вторая фраза у него противоречила первой, а глаза бегали.

Через неделю меня вызвали в горком партии.

— Вы работали с Балдиным? — спросили меня.

— Да.

— Вы знаете, что Балдин оказался врагом народа?

— Нет,— сказал я,— никогда бы не подумал.

— А как вы к нему относились?

— Понимаете, все, что я сейчас буду говорить,— ответил я,— вас не убедит, но если вы возьмете из сейфа завода протоколы партийного собрания, то кое-что вам станет ясно.

— Хорошо, ждите.

Меня вызвали через несколько дней. Со мной говорили уже другим тоном. Я приехал в трест. Управляющий выбежал из кабинета навстречу мне.

Спустя еще пару дней я был назначен и. о. заместителя наркома.

Теперь я часто думаю о Балдине. Он был хорошим инженером и плохим руководителем. Его надо было снять с высокого поста, но не расстреливать! Я не мог его спасти, но чувствую за собой вину. Ведь я оказался игрушкой в чьих-то руках.

Странное это было время. Мы все внимательно следили за сражениями в Испании и Китае, возмущались еврейскими погромами в Германии и Польше, волновались за папанинцев, приветствовали Гризодубову и Раскову, ожидали открытия очередной линии метрополитена, расширяли улицу Горького. Вводились в строй новые заводы и фабрики. Магазины были полны продуктов. Мы ругались, что не хватает калош. Германия захватила Австрию. Около Мурманска разбился дирижабль. Погиб Валерий Чка-

лов. Вышел фильм «Богатая невеста». Московский автозавод перевыполнил план. Вот чем мы жили в то время.

И еще были так называемые враги народа. И мы верили, что они существуют. И мы верили, что бывшие руководители нашей промышленности, огромных краев и областей продавались за двести долларов иностранной разведке.

Теперь я часто думаю: почему многие старые большевики, люди, прошедшие царскую ссылку и тюрьмы, признавались во всех нелепых обвинениях, которые против них выдвигали?

Кроме всех фактов, которые сейчас проясняются, по-моему, играло роль еще одно обстоятельство. Они знали: чем чудовищнее будет обвинение, тем скорее в будущем должна проясниться его вздорность.

Можно поверить, что старый большевик в разгар партийной борьбы хотел сместить Сталина с поста генсека. Но что этот же большевик, кроме того, в восемнадцатом году устраивал заговоры, организовывал убийства, поджигал склады, портил оборудование, подсыпал яд в зерно, отравлял маленьких детей, завербовался одновременно в английскую, американскую, французскую, немецкую, японскую, польскую, бразильскую и иранскую разведки и обещал отдать другим странам Украину, Белоруссию, Крым, Кавказ, Дальний Восток,— в это сейчас не поверит даже школьник третьего класса.

По-моему, основным документом для реабилитации многих таких большевиков служат выдвинутые против них обвинительные заключения.

А долгое время мы этому верили. Верили потому, что логика борьбы действительно может привести во вражеский стан.

Я понимаю, почему сейчас молодые ребята стараются все проверить на личном опыте, прощупать, осмотреть со всех сторон, но меня возмущает, когда иной раз брюзжат: это плохо, то плохо. Если бы мы тогда обращали внимание только на недостатки! Я уже не говорю о первых годах разрухи, когда город сидел на голодном пайке, а деревня валялась в самогонном чаду. Но ведь еще в тридцать пятом году в Москве в трамвай нельзя было сесть!

Ну и что? Дело не только в том, что мы теперь запускаем спутники. Наша страна стала одной из самых сильных в мире. Вот что главное! Уж если мы такие горы свернули, то неужели не заровняем колдобины на дорогах?

В сорок четвертом — сорок шестом годах я стал народным судьей. У меня были дела по детской преступности. Это самая страшная работа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться. Но в течение десяти лет число преступлений резко уменьшилось. Бывало, мы регулярно заседали до двенадцати ночи. А теперь, как у нас шутят, мы выполняем постановление Совета Министров: пробило шесть часов — по домам.

В сорок пятом году к нам пришел один американский судья, приехавший с делегацией юристов.

— Сколько вы зарабатываете? — спросил он меня.

— Девятьсот рублей.

— В неделю? Так мало?

— В месяц.

Он не поверил. А мне было бы странно, если бы тогда я получал больше. Время-то было какое!

Но вот начиная с работы в народном суде я и стал валяться по больницам. Язва, тромбофлебит, сердце, почки — и пошло... Разладился механизм.

Ко мне приехал с работы Перцов. Сообщил новости. Рассказал последнее дело, которое он слушал вчера. Подсудимый Николаев получил десять лет. Мы заспорили.

— Много, — сказал я, — ему бы хватило и пяти.

— Ну, Алексей, ты всегда был адвокатом, а не судьей.

Когда он ушел, я вспомнил эту фразу. Был. Вот так вот, Алехин, ты уже был. Был такой судья Алехин.

А насчет адвоката — смотря когда. Но однажды так и получилось. В сорок седьмом году. Только что вышел указ: за кражу общественного имущества пять — восемь лет. А передо мной — дело. Мать троих детей. Выкопала на колхозном поле полведра картошки. Колхоз подал в суд. Собрались мы, обсуждали. Смысл указа ясен. Никаких других толкований. Нет выхода. Но женщину — минимум на пять лет?! А дети? Куда детей? В детский дом? Вызываю обвиняемую. Вот что, говорю я ей, приведите детей в суд.

Начинается заседание. Вопросы прокурора. Вопросы адвоката. А дело ясное: указ.

На скамье женщина в черном платке и старом пиджаке. Наверно, остался еще от погибшего мужа. А в зале, в первом ряду,— трое ребятишек. Один другого меньше.

Вызываем сторожа. Ответы точные. Не придерешься.

Но смотрю, и он детей заметил. Вроде даже засмущался. Одно дело теоретически — трое детей. А вот когда они перед тобой сидят, носами шмыгают...

— Так вы сами видели, как она копала?

— Сам видел.

Все правильно, и в протоколе следователя так записано.

— Хорошо,— говорю я,— может быть, вы уточните, сколько картошки она успела выкопать? Раньше вы утверждали, что полведра. Но, может, знаете, так по началу показалось или сгоряча сказали полведра — и точка! А сколько все же было картошки?

А сам на детей смотрю. И он на них смотрит.

— Да меньше,— говорит он неуверенно.

— А вы не можете вспомнить, сколько картошек было в ведре?

Прокурор и адвокат даже замерли. Тишина в зале.

— Да штук около десяти,— говорит он.

— А если точнее?

— Четыре штуки,— говорит он.

Смотрю, прокурор захлопнул папку.

Раз четыре, то суд может и не усмотреть состава преступления. Заседатели совещались одну минуту. Решение единодушное: оправдать.

Я получил письмо от Фани. Она заболела и поэтому уже с неделю не приезжала ко мне. Пускай выздоравливает. Успеет. А если не успеет? А я успею? Что мне надо успевать?

Правда, может быть внезапный приступ, и тогда сразу операция. А исход? «Не приходя в сознание...»

Я вынимаю листок бумаги и карандаш. Вот так, Алехин. Пишем завещание. Дожили. Вот никогда бы не подумал.

«В случае... ну, скажем, мягче... неблагополучного исхода:

1. Сыну моему — чтоб берег мать. И продолжал дело своего отца.

2. Положите меня в зале заседания суда, где я работал последние четырнадцать лет.

3. Не ставьте мне никаких памятников и надгробий».

Коротко и ясно. Последнее твое решение.

Я спрятал листок в конверт и сунул его в ящик тумбочки. А в общем, это называется, подстраховался. Думаю, оно не понадобится. Как это так — жил и вдруг умер? Такого не бывает. Правда, практика утверждает обратное. Но сам ты еще этого не испытывал, не приходилось.

Самое главное — надо жить. Ну как они там будут без меня? Ведь голова-то у меня еще работает. Я многое еще могу сделать. Значит, надо бороться.

Не нервничай. Не выплевывай ту гадость, какою тебя пичкают врачи. Выполняй все процедуры, какие они предписывают, и, как говорится, дыши глубже. Это только слабые умирают. А тебе еще жить и жить. Эх, сбросить бы сейчас лет пятнадцать...

— Слушай,— сказал я жене, когда она пришла ко мне.— Ну посмотри, на кого ты похожа? Зачем тебе ездить в такую жару да еще каждый день? Ведь свалишься! А кто за тобой будет бегать? Некому. Зачем мы снимали дачу? Сиди там спокойно. Ну, ладно, звони в Москву. Чуть что — тебе сообщат. Со мной ничего не случится, понимаешь? Мне лучше.

ПИСЬМО ИРЫ

«Сегодня я увидела, как у нас в лесной зоне играют в пинг-понг. Я подошла ближе. Играло человек пять; по железному закону — проигравший вылетает. Выигрывал все время один парень, которого (ты угадал) звали Эдик. Ребята показывали неплохой накат и хорошую подрезку.

Потом Эдик сказал:

— Ребятишки, мне надоело вас высаживать, уступите место девушке.

Очевидно, это его метод знакомства. Учти, может, тебе пригодится в Красноярске.

Ребята меня осмотрели, обменялись между собой тихими замечаниями и стали усиленно меня уговаривать.

Я сказала, что играла очень давно и очень плохо.

— Я буду нежно играть с вами,— сказал Эдик.

— Я не хочу нежностей,— сказала я (естественно, общий хохот),— давайте серьезно.

— Ладно,— сказал Эдик,— пятнадцать очков форы.

Я играла еле-еле, перекидывала и смотрела, что он может. Он не тянул сильной подрезки и укороченных мячей. Но я послала только два таких мяча, для проверки.

Счет был двадцать один — девятнадцать в мою пользу.

Полное ликование публики.

— Проиграл — уходи! — кричали Эдику.

— Что-то у вас получается,— сказал Эдик,— десять очков форы.

Эту партию я тоже выиграла. Случайно, на последних мячах.

— Так вы умеете играть! — сказал Эдик.

— Я просто разыгралась,— сказала я.

— Повторим, десять форы.

— Пять,— сказала я.

Он свистнул.

— Пять? Держитесь, я буду играть серьезно.

Мы начали играть серьезно. Он старательно и сильно бил справа, но мячи почему-то шли в сетку. И я опять еле-еле выиграла.

— Черт возьми, вам повезло,— сказал Эдик.

— Да,— сказала я,— играем на равных.

Он очень старался. Публика улюлюкала. Я перешла в нападение. Он не принимал сильных ударов. Но у меня тоже не все получалось. Опять я выиграла на двадцати двух. Можешь представить энтузиазм его товарищей.

— Теперь я вам даю пять форы.

— Ах, так! — сказал он.

Я думала, он разобьет мячик, сломает стол или порвет сетку. Я выиграла.

— Десять форы,— сказала я.

Ребята уже не могли ни кричать, ни смеяться. Они катались по траве. Я его совершенно забила ударами слева. Причем на примитивной тактике. Даю ему направо, потом сильно подрезаю в левый угол. Если он бьет, то в сетку. А подрезать он как следует не успевает. Дает высокий мяч. Я бью. Элементарно.

Давать ему пятнадцать форы было легкомысленно. Он все-таки неплохо накатывает. Но расчет был психологический. Правда, я ушла в глухую защиту (при такой игре нельзя рисковать), но он просто уже не видел мяча и со злостью лепил удары в сетку.

Выиграв, я поблагодарила его и сказала, что устала.

Меня провожали до калитки нашей дачи. Пришлось сознаться, что когда-то, давным-давно, у меня был хороший второй разряд.

Об этом матче по поселку ходят легенды.

Вчера я пришла на волейбольную площадку. Там были мои недавние знакомые, но кто-то из неизвестных мне ребят спросил меня:

— Ира, вы играете?

— Когда-то играла, слабо,— сказала я.

— Все понятно, — сказал Эдик. — Ставьте ее на четвертый номер и давайте ей второй пас.

Вот так я развлекаюсь. И еще читаю английские книжки. «Неплохо, не скучаешь»,—скажешь ты. А что мне остается?

Надо все время быть чем-то занятой. Иначе... Ты, конечно, будешь смеяться, но даже во сне я вижу тебя. Извини, я знаю, что ты не любишь так называемых сентиментальностей. Больше не буду. Ни за что не буду. Пойду играть с Эдиком в пинг-понг и читать английские книги. Вот я какая! Самостоятельная.

Я считаю дни, когда ты приедешь. Я знаю, что дальше будет трудно. А может, вообще ничего не будет. Я хочу, чтобы ты приехал завтра, сегодня, сию минуту.

Не прилетай, слышишь? Это я тебя прошу. Задержись там как можно дольше. Обещаешь? Это потому, что я все время о тебе думаю. Все время. Главное даже, чтоб не мы с тобой,— главное, чтоб был ты. Ты очень хороший художник. И надо, чтобы ты таким оставался. А сейчас ты на месте. Не обижайся: не нравоучения, не советы,— но надо, понимаешь, надо, чтоб ты много ездил и много видел!

У тебя сейчас тяжелое положение — нельзя, чтобы ты замыкался в себе. Тогда кончишься. От твоих последних картин становится страшно. Не хочется жить. А разве это так? Разве тебе не хочется жить?

Да, ты обижен: выставляются художники слабее тебя. Но зачем ты на них равняешься? Ты равняйся на Валентина Серова, Врубеля, Ван-Гога и Сезанна. Ты пытайся до них дорасти. А тогда уже не страшно. Милый, извини, я очень хочу, чтоб ты приехал, но ты еще не скоро выберешься. Ты опять будешь

сидеть целый год в своей мастерской или слоняться по старым переулкам Москвы.

И не думай ни о чем. Только смотри. А за меня не волнуйся. Я буду ждать. И ты знаешь, мне кажется, ты мне ближе, когда ты сейчас в Красноярске, чем потом, осенью, когда ты будешь в Москве.

ГЛАВА VIII

СЫН

Неделю я пробыл в Дивногорске. Наверное, в двадцатый раз я приехал на большую стройку. Первое впечатление — все до ужаса знакомо. Но дома для строителей и старые бараки, очереди в столовой и новый спортивный зал, пыль над котлованом, танцы в общежитиях и даже знакомая фраза: «Вы из «Огонька»? Нет? Тогда пройдите к заместителю».

Но походишь, посмотришь — нет, все-таки другое. Да и к «известным вещам» тоже не привыкнешь, когда рабочие работают по пояс голые, а над ними резвится комарье.

Все, что я увидел нового, я нарисовал. Хватит для нескольких журналов.

«Опытному» художнику это на один день работы. Но вся «беда» наших ребят в том, что мы не умеем халтурить. И я бы просидел еще месяц, если бы не Ира.

Я торопился в Москву. Но, вернувшись в Красноярск, получил на главпочтамте ее письмо.

Я решил остаться. Но надо было придумать что-нибудь такое, что отвлекло бы меня от мыслей о Москве. Путешествие? Постоянная смена впечатлений?

И я решил совместить приятное с полезным: пройти на пароходе вниз по Енисею.

Днем договорился в управлении, вечером перенес вещи, как здесь говорят, на «композитора» (именами композиторов называют суда, построенные в Чехословакии). Утром открываю глаза — на потолке дрожит мутный солнечный зайчик.

Капитан мне выделил каюту заболевшего третьего помощника. И все бесплатно. Райская жизнь!

Я вышел на палубу. Постоял. Мелькали пейзажи. Ну, я буду последним подонком, если начну зарисовывать берега. Здесь, наверно, столько художников побывало! Все облизали. Так что стой, наслаждайся видами и дыши свежим воздухом. Кто-то говорил, что это полезно, укрепляет.

Я зашел в ресторан. Там сидел человек в военном кителе. Перед ним стояла стопка водки и гуляш. С утра пораньше.

Больше в ресторане никого не было, поэтому буфетчица подошла ко мне довольно скоро.

— Ого! — сказал я, посмотрев карточку.

— А у нас всегда так! — ответила она.

— А на Севере?

— Там еще лучше. Оттуда и снабжаемся.

— Два стакана чаю! — сказал я.— Утром совсем не хочется есть.

— Перебрали? — спросила она.

— Получилось,— сказал я. Что мне еще оставалось? Объяснять свой бюджет?

Вошел мужчина. За ним вошла женщина. Мужчина сел за соседний стол, женщина, секунду подумав, села ко мне.

Мужчина, по-моему, был из тех, что любят заводить принципиальный разговор в переполненном троллейбусе.

Женщина достала зеркало и припудрила нос. Потом взглянула на меня так, словно я должен был после этого затрепетать, рассказать кое-что о литературе и искусстве, а потом просить ее пройтись со мной по палубе.

Мужчина углублен был в чтение меню. Казалось, он его заучивал.

— Молодой человек,— сказала мне женщина голосом «не хотите ли вы со мной пройтиться»,— попросите, пожалуйста, у этого субъекта карточку.

Любитель троллейбусных дебошей вдруг оживился и сказал мне очень вежливо:

— Будьте любезны, передайте карточку этой особе. Пускай успокоится.

Я встал и передал карточку.

— Обычно в хорошем обществе,— сказала женщина, ласково глядя на меня,— женщине первой предлагают меню.

— В хорошее общество не пускают крокодилов,— сказал мужчина, подмигивая мне.

Женщина показала мне глазами на соседний столик.

— С Канатчиковой дачи. Выпустили на поруки.

— Да, молодой человек,— сказал задумчиво мужчина,— пятнадцать лет супружества с..., простите, и не туда попадешь.

«Ну нет,— подумал я,— за два стакана чаю я плачу советской валютой из своего кармана. Пусть хоть пароход перевернется, но я их дождусь».

— Извините, молодой человек, существует ли здесь официантка? — спросила меня соседка.

— Молодой человек, приготовьтесь, сейчас она пошлет вас на кухню, а потом попросит принести из каюты кофточку, а потом... словом, набегаетесь.

— Правда, когда двое говорят, третий не встревает,— сказала мне женщина чуть ли не с материнской нежностью.

Я заметил, что военный китель залпом осушил стопку водки и доедал гуляш с лихорадочной поспешностью.

Я чуть поклонился даме, встал и вышел.

В коридоре я столкнулся с буфетчицей. Она несла мне чай.

— Тут два очень милых клиента,— сказал я.— Просят вас.

Я сел на свое место. Буфетчица приняла заказ и удалилась. Один стакан я выпил довольно быстро.

— Молодой человек, вы не скажете, где мы сейчас проезжаем? — спросила у меня дама.

— Сбегайте, юноша, на палубу, посмотрите,— проревел торжествующе мужчина.

Военный китель с шумом встал, отодвинул стул и нырнул в дверь.

— Передайте своей соседке, что мы плывем по Енисею,— сказал мужчина.

— Ради бога, не обращайте на него внимания,— попросила меня женщина.— Там, на Канатчиковой, сейчас молодые врачи. Мальчишки. Ошиблись диагнозом. И вот результат.

— Дай человеку спокойно выпить стакан чаю,— сказал мужчина.

— Он, наверно, вам мешает? — спросила женщина.— Не обращайте внимания. Клинический случай.

Оставалось еще полстакана.

— Здесь что-то темно,— сказала женщина.— Не отдернуть ли занавеску?

— Что ж вы сидите, молодой человек? — радостно воскликнул мужчина.

Я допил чай. Встал.

— Испортил человеку завтрак,— сказала женщина.

— Ничего, мне было очень приятно посидеть с вами,— сказал я.

— Приходите к обеду,— ответил мужчина.

— Обязательно, если возникнет желание заниматься легкой атлетикой.

Пока она обдумывала мой ответ, я вышел. В конце коридора из-за угла выскочил военный китель.

— Ну как? — спросил он меня.

— Жив.

— Повезло.

— Сам удивляюсь.

— Бывает,— сказал он, усмехаясь.

Мы расстались довольные друг другом. Я пошел в каюту за альбомом. «Ничего себе семейная жизнь,— думал я.— А что у тебя будет через десять лет? Такое вряд ли! Но ты женат только пять лет. Все впереди. Хорошо, какой вывод? Рвать с Ирой? Немыслимо».

Я схватил альбом и побежал на капитанский мостик. Вход посторонним был запрещен. Я вошел в рубку, поздоровался, молча разложил альбом, достал карандаш, сел чуть ли не перед носом рулевого и стал рисовать.

— Вы, пожалуйста, подвиньтесь,— попросил капитан,— рулевому надо проглядывать фарватер.

На листах альбома появились рулевой, второй штурман, капитан.

Потом я спустился в машину и зарисовал второго механика и моториста.

Я снова поднялся в рубку и сделал портрет первого штурмана.

Мы прошли Казачинский порог. Первый штурман пригласил меня в красный уголок.

— Здесь у нас столовая для команды,— сказал штурман.— Может, вы отобедаете с нами? Попробуете нашу кухню?

— Что ж,— сказал я,— все надо испытать.

Енисей. Солнце заползает за левый берег. Фиолетовые волны реки. Катера смело выбрасываются носом в песок. Потом команда прыгает в катер, он дергается, бултыхается и слезает задом с берега. А то ждет волны с проходящего большого парохода.

И опять же пейзажи. Их можно зарисовать. Но как передать словами? Человеческая фантазия очень бедна. Ограниченность ее почти непреодолима. Человек все олицетворяет. Скалы, облака, дома, холмы напоминают ему фигуры и лица людей. Красивая женщина — это эталон, максимум прекрасного в эстетике человека.

Однажды мы с ребятами были на озере Рица. Там великолепны само озеро, дорога, горы, лес.

— Ну как? — спросил я ребят.

— Здорово,— сказали они,— но ты посмотри, вон, у машины, такая девочка!

К ночи «композитор» подошел к Енисейску. Наверху темной деревянной башни прибита доска, и кажется, рука с вытянутым пальцем показывает на пристань.

Всюду лужи, оставшиеся, по-моему, еще с прошлого года. Город в одиннадцать часов спит. Только на пустынной центральной улице на полную мощность играет радио. Бегают большие тихие собаки. Несколько сохранившихся купеческих особняков.

Переулочки резко бросаются к реке, прорезая оврагами высокую набережную. Над откосом, на скамейке, парень обнимает девушку.

Типичный старый русский город. Сколько я таких повидал!

И еще один день прошел. На коротких остановках местные жители штурмовали буфет. Пиво выносили ведрами.

Берега опустились. Через пару часов глянешь в окно — одно и то же. Как будто стоим на месте.

Ночью я дежурю в рубке. Ждем огней встречного теплохода. Иначе меня так далеко увезут, что вернусь только в сентябре.

Останавливаемся у деревни Лебедь. Остановка здесь не предусмотрена, и нет даже причала. Но у нас на борту колхозник с женой, а с ними — четверо ребятишек. Женщина, держа в руках двух самых маленьких, уговорила капитана остановиться.

«Композитор» кинул якорь метрах в пятидесяти от берега. Дали два гудка. На берегу кто-то забегал, засуетился.

Встрепанный, нечесаный приходит на моторе лодочник. Колхозник пытается спустить мешок.

— Детей давай,— кричит лодочник.— Детей!

Лодка наполовину затоплена.

В три часа ночи разворачивается встречный теплоход. Теплоход переполнен, и меня поселяют в каюте первого механика: он болен и остался в Красноярске. На тот путь, который я прошел за сорок восемь часов, теперь придется затратить четверо суток.

Здесь был старый капитан, который поначалу отнесся ко мне весьма сурово. Но мой альбом действует, как волшебный ключ, как магический пароль: «Сезам, откройся».

И хорошо, что я успел сделать «дежурные» наброски на капитанском мостике. Потому что дальше произошло непредвиденное.

Я спустился в третий класс. Там было душно и пахло портянками и пеленками. Там на всю мощь играло радио (сотни раз «Я люблю тебя, жизнь»), забивали «козла», пили водку, там орали дети, а один бородатый парень обольщал какую-то молодку. Огромный твиндек, разгороженный двухэтажными полками, жил своей, особой жизнью. Здесь не бегали в ресторан, а вынимали из мешка огурцы и хлеб, шли в буфет за консервами и даже умудрялись как-то состряпать суп. Ей-богу, как они это делали, я до сих пор и не понял, но первое, что я начал рисовать,— это трех женщин, уплетающих содержимое большой кастрюли.

Сначала дежурный матрос, который меня привел вниз, вежливо говорил:

— Граждане, не напирайте!

Потом уже местные энтузиасты взялись наводить порядок.

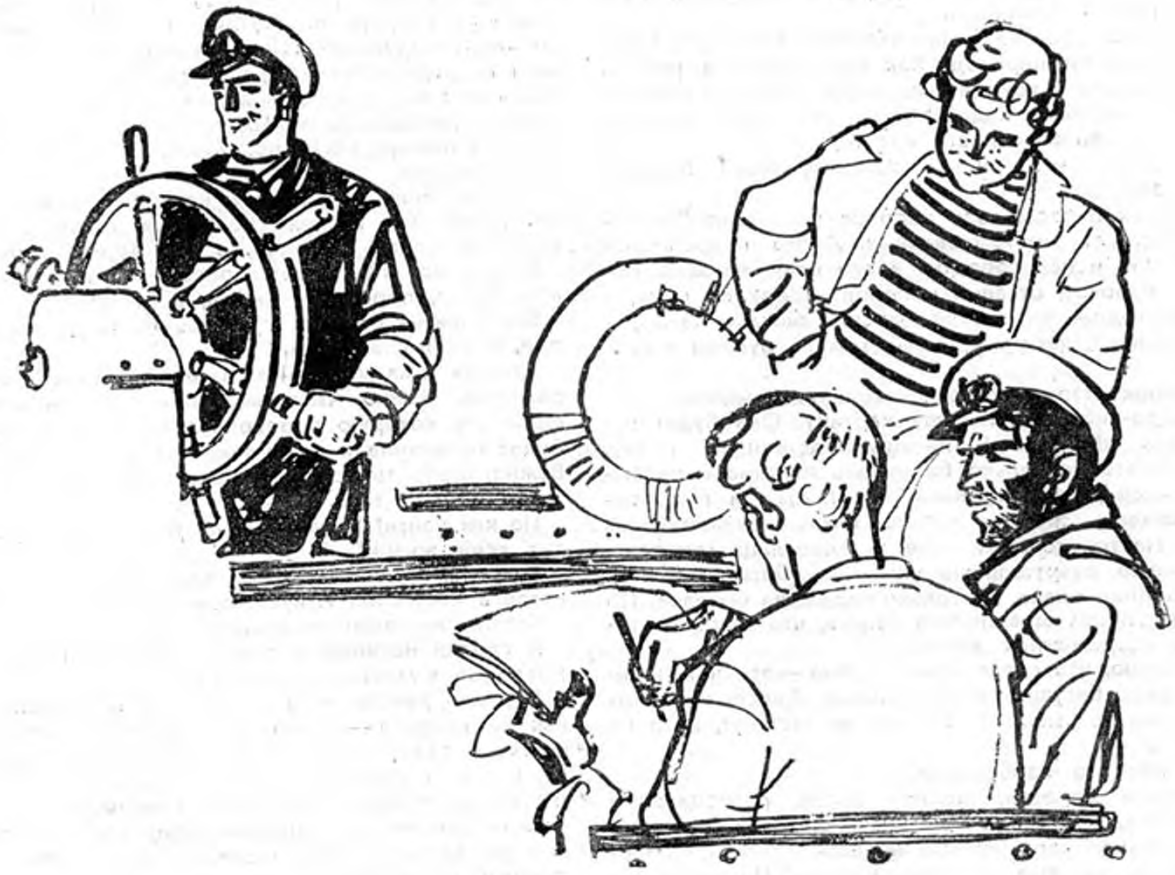
— Ну ты, куда прешь? Видишь, свет загораживаешь.

А я сидел и рисовал лица. Одно за другим. Портреты, написанные быстро и неровно, приводили третий класс в детский восторг:

— Смотри, как похоже!

И, может быть, на палубе, из первых и вторых классов, нашлись бы тонкие ценители рисунка, которые бы со знающим видом говорили: «Эта линия не так, и слишком мрачен фон».

А здесь все принималось сразу, таким, каким вышло из-под карандаша. Я уж не знаю, в какой мане-



ре я работал. Главное было уловить характеры в лице.

...Нет некрасивых человеческих лиц. Все лица по-своему красивы. И даже в очень замкнутом лице, с близко поставленными глазами, с коротким носом, низким лбом, злым, тонким ртом можно найти свою гармонию, свою, присущую только этому лицу индивидуальность. Очень часто в суровом, обветренном лице мужчины угадываются мягкие, нежные черты его матери. И я настолько представляю эту женщину, ее взгляд, ее улыбку, что мог бы без натуры нарисовать портрет. Самое что есть лучшее, совершенное на земле — это человеческие лица, это особый, уникальный мир каждого «я». На каждое человеческое лицо жизнь — самый лучший в мире художник,— как на белое полотно, накладывает свои черты. И так появляются характеры, появляется доброта и злоба, подозрительность и доверчивость, честность и хитрость, появляется все, что волнует человека, все, чем он живет. Может, когда-нибудь я напишу картину, которая будет называться «Земля». Я изображу не глобус, не бескрайние поля пшеницы или снежные горы. Нет, на огромном полотне будут одни лица. Наверное, мечта каждого настоящего художника — это успеть нарисовать лица всех людей...

Я не знаю, сколько времени я сидел. За каждым моим движением следили десятки глаз. Люди переговаривались, о чем-то меня спрашивали. Я что-то отвечал, по-моему, шутил. Я не помню, что именно, но им это нравилось, и они смеялись.

У меня кончился альбом. Мне принесли ученические тетради, и я «пожирал» страницы одну за другой.

В эти часы я вспоминал, что раньше, давно, в детстве, я любил ходить на гулянья в парки, на площади, просто бродить по шумным улицам. Я не переносил одиночества. Мне всегда было интересно в суетливой людской толпе, и я сам чувствовал себя маленьким камешком в большом потоке. Наверное, мое истинное место было всегда у конвейера, или в строю солдат, или в зале больших собраний. И тогда, в детстве, я не мог предположить, что мне предстоят долгие дни одиночества в маленькой подвальной комнате.

Часть рисунков я роздал. Часть оставил себе. Зачем? Не знаю. Но я сказал:

— Это мне для работы.

Поднявшись наверх, я спрятал свой исписанный до обложки альбом и еще кучу листков, где были эскизы с первого парохода и карикатуры на «милых супругов» ресторана первого класса, на дно чемодана, тщательно завернув все в газету.

На корме начались танцы. Я наскоро перекусил в буфете и пошел на корму. Я сидел на скамейке, смотрел на танцующих, но уже не рисовал. Было темно.

*

На следующий день капитан пригласил меня к себе в каюту и начал рассказывать разные истории. Дескать, на реке стало хорошо — постоянные кадры. Матросам платят более шестидесяти рублей в месяц плюс полное обеспечение. На судах поставили локаторы — можно идти в тумане.

А вот берега пустеют. В деревне Тонково остался один только бакенщик.

И еще истории из жизни капитана. Как первый раз ему доверили пароход. Как сын пошел в речное училище. Как в тридцать седьмом году все руководители бассейна надевали по две пары нижнего белья: ждали внезапного ареста.

Из всего, что он рассказывал, меня поразил один эпизод.

В сорок первом году пароход увозил из Енисейска шестьсот мобилизованных. Долго надрывались гармошки, и над городом висел плач женщин. Наконец пароход отвалил и пополз вверх по реке, а за пароходом, километров десять, бежали по берегу женщины, дети и кричали, махали руками и плакали.

В сорок пятом в Енисейск вернулись многие.

...Когда-нибудь я напишу картину. Она будет называться «Война». Я напишу настоящую войну. Война — это не только батальные полотна с разрывами снарядов, фигурками пехотинцев и подбитыми танками. Это не только лихая кавалерийская атака. Не только вдумчивое, усталое лицо генерала. Не только разрушенные улицы и убитый ребенок на переднем плане. Не только пирамида черепов. По этим картинам еще нельзя понять, что такое настоящая, современная война.

Я считаю, что современная война — это и женщины и дети, бегущие за пароходом. Десять километров, пока не выбьются из сил, не отстанут, пока не упадут!..

Но как это изобразишь?

Зеленые деревья, желтый песок, разноцветные маленькие, хорошо выписанные фигурки женщин? Пасторальная картина! Что ж, если глядеть на фотографию, так оно, наверно, и было. Но разве эта фотография-картина кого-нибудь взволнует?

Иные считают, что метод «цветной фотографии» — это единственный верный. Но разве фотография может передать настроение, чувство? Надо прежде всего суметь написать человека. Через какие-то детали передать его внутреннюю сущность. Я пытался сделать это и в «Машинисте».

А все-таки как сделать?

Абстрактный хаос красок, изломанные линии-молнии, символические квадраты — трагический вопль цвета? Но ведь главное, чтобы был человек. Важно, чтобы он не утонул в нагромождении треугольников и кубиков!

Или еще один метод — асимметричные женские фигуры, передающие ужас, черный берег, красная, кровавая вода? Корма парохода здесь никак не компануется. Значит, огромная тень солдата или силуэт солдата, закрывший собою солнце?

Может быть, в стиле Шагала: женщина, стремящаяся догнать маленькую, удаляющуюся фигурку солдата? Нет, надо искать свое, именно свое!..

Сотни вариантов, сотни решений.

Мы издеваемся, когда поклонники зеленых листиков и точного расположения пуговиц на пиджаке бубнят: писать надо так, а не иначе.

А разве я был прав, когда показывал своего «Машиниста» и утверждал, что он образец современной живописи?

Или разве прав был Олег, когда выдавал свой объемный кубический город за единственный эталон художественной школы?

Женщины бегут за пароходом. Бегут десять километров, пока не отстанут, пока не поймут: все, конец.

Женщина торговала на пристани огурцами. Изрезанное морщинами, невыразительное лицо. В глазах одна мысль: продать повыгоднее, да чтоб соседки не опередили. А утром она чуть свет, пока ты видишь седьмой сон в мягкой постели, склоняется над грядками — трудная работа. Но ведь двадцать лет назад она, молодая и, может, красивая, бежала за пароходом. Именно ее муж, солдат сибирских полков, погиб под Москвой, погиб, но остановил немца.

Ты говоришь, что знаешь, как надо писать о войне. Возможно, картина получится удачной, и все удивятся: такой молодой, а как верно изобразил.

Возможно, что будет провал и тебя засмеют: мальчишка, пороха не нюхал, а берется.

Все зависит от того, сумеешь ли ты убедить людей. Какими средствами?

Каждая тема, каждый замысел имеет одно верное решение. Важно, чтоб ты нашел ту единственную форму, в которую оно воплотится. И тогда форма будет органична и не вызовет ни у кого сомнений. Важно, чтобы ты показывал реальную жизнь, и тогда люди поймут тебя.

Но как найти? И найдешь ли ты? Или тебе не хватит всей жизни?

Вот она, проблема номер один, извечная сладкая каторга искусства. Искусство — это всегда открытие.

Кстати, любопытная подробность.

Я сделал несколько эскизов портрета капитана. Наверное, в Москве я напишу его.

Я долго думал: кого напоминает мне капитан? И как ни странно — моего отца! Они внешне совершенно непохожи, но что-то есть общее. Вероятно, то, что всю жизнь они оба стояли на вахте и что им ни встречалось бы: мели, туманы, льды и пороги,— они всегда старались нащупать единственно верную дорогу, чтобы люди, которые были рядом с ними, не потерпели крушения.

Вечером я обыграл в шахматы второго механика, лучшего игрока на пароходе. Потом мы с ним долго говорили. Потом пришел первый штурман и пригласил нас в каюту. Буфетчица принесла бутылку водки, немного закуски, и мы сидели, и они рассказывали о своем житье-бытье, а я слушал и завидовал им. Завидовал лютой завистью. Вот они на ходу переменили поршень, вскрыли четыре цилиндра. На берегу это занимает обычно трое суток, а они управились за двенадцать часов. Команда стала экипажем коммунистического труда. Штурман изучает автоматику. Механик — навигацию. Они привыкли к вахтам. У них очень много обязанностей. Им некогда скучать. Да, бывают и неприятности, есть и недостатки.

Я завидовал этим ребятам потому, что они любят свою работу. От них требуют хорошей работы, и чем больше они выкладываются, тем больше они приносят пользы людям. Сразу виден результат. Их поддерживают и поощряют. И требуют лишь одного: думай, старайся, изобретай, работай лучше! Что тебе для этого надо?

Пожалуйста!

Вокруг них товарищи. А я?

Я все время один. Один со своими замыслами, мечтами, неудачами.

...Утешаться тем, что многих великих художников сначала не признавали? Но я же человек! Мне при жизни нужно теплое слово. И потом, признают ли меня когда-нибудь? Ведь я не хочу становиться «подпольным» художником, художником для иностранцев, как иные бессовестные ловкачи. Я хочу выбежать к нашим людям и крикнуть: «Посмотрите мои картины! Вдумайтесь, вглядитесь — и вы все поймете. Я ваш! Я для вас работаю!»

Мы разошлись по каютам. Всегда, когда наслу-

шаешься рассказов о чужих судьбах, начинаешь думать о себе.

Так как же дальше? Мы с женой встретились, когда нам еще не было и по двадцати. Я был тогда мальчишкой, сопляком, никем. Но она поверила мне. Она отдала мне лучшие годы. А теперь, когда я чего-то добился, когда я стал художником (пускай спорным, но художником),— теперь я говорю: «Спасибо. Я оставляю тебе ребенка. Буду давать деньги. А сам ухожу к другой. Привет!»

Я не сволочь. Я не могу этого сделать.

Не могу!

Значит, ставить на своей жизни крест? Все. Больше у тебя ничего не будет. Приличная семейная жизнь. Су-щест-во-ва-ние!

Я стал раздеваться. Взглянул на ботинки. Каблуки стесались. Этого только не хватало! Обычно мне чинил ботинки отец. Он любил сапожничать и следил за нашей обувью.

И вообще он всегда следил за мной.

Я лег и почувствовал себя заброшенным, одиноким. Вот так, в детстве, я лежал в кровати, и ко мне подходил отец, и поправлял одеяло, и трогал рукой мой лоб.

И вот это ощущение своей беспомощности и того, что тебя оберегает человек на костылях, что он все предусмотрит, все сделает, осталось до сих пор.

Я вспомнил, как вернулся однажды из дальней командировки. Ни матери, ни жены не было дома. Отец укачивал мою дочь.

Заботы о Маше у моих родителей доходили до анекдотических случаев. На даче отец накрывал коляску марлей, чтоб не проникали комары. Мать проделывала дырочки для воздуха. Отец затыкал их ватой.

За маленькими детьми он ухаживал лучше, чем моя мать.

Она рассказывала, что раньше, стоило мне повернуться, он просыпался.

Наконец я заснул, и мне снилось, что я нахожусь в очень темной незнакомой даче. Я лежу на втором этаже один. А внизу отец укачивает мою дочь. Там тоже темно. Ведь свет мешает спать маленьким детям. А где моя жена? Она в городе. Она обиделась на меня. Она измучилась со мной. Она заболела.

Мне бы надо встать, а я устал. Мне бы надо встать, но там отец. За маленькими детьми он умеет ухаживать лучше. С Машей ничего не случится. Я могу быть спокойным.

Духота и чернота на лестнице и в комнате. Ко мне подымается отец. Я слышу, как стучат его костыли. Он останавливается на лестнице. Он говорит, чтоб я спал, что он следит за дочкой.

Проходит много темных часов. А может, и мало. Но я просыпаюсь. Я чувствую, что-то произошло. Я сбегаю с лестницы.

Отчаянный крик. На полу сидит моя дочь и кричит. Она острижена наголо. Она вся покрыта красными пятнами. Она очень больна.

Я подымаю ее, держу на руках. Что болит? Что болит? Но разве она может объяснить? Срочно надо что-то предпринять.

Вызвать врача? «Скорую помощь»? Но куда бежать? Где телефон? Где станция?

— Эх, отец, а я-то на тебя надеялся! Как же так?

Я оборачиваюсь к нему. Он стоит тихий и беспомощный.

— Но я ничего не могу сделать. Разве ты не знаешь? Ведь я умер.

ГЛАВА IX

ОТЕЦ

Комдив злился. Левый ус его дергался. Нервно мигал огонек за закопченным стеклом керосиновой лампы. Огромные тени метались по стенам маленькой комнаты.

— Алехин,— говорил комдив,— надо пробиться к морю. Там нас ждут наши отряды. Поедешь на связь. Возьмешь с собой Артема и Ивана.

Четко повернувшись, я выхожу из комнаты. Я в новой шинели, на боку у меня болтается шашка. Я молодой, здоровый, двуногий. Под моими ботинками пружинит деревянный пол.

Я бегу через двор, прыгаю сразу на третью ступеньку пристройки и врываюсь к ребятам. Они сидят в креслах, перепоясанные пулеметными лентами. К ремням пристегнуты маузеры.

— Приказ,— говорю я,— в путь.

Наши кони оседланы. По узкой кривой улочке мы вылетаем в темную степь. Глухой стук копыт, и только ветер свистит в ушах. Низко пригибаются травы. Ночные птицы испуганно шарахаются из придорожных ям.

Мы проносимся вдоль притихших украинских хат, по пустым площадям разрушенных городов.

И снова степь, и только глухой стук копыт, и только ветер.

Встает солнце. Оно слепит глаза, но мы видим, как с холма навстречу нам спускаются белые цепи. Они спускаются на нас на рысях, сомкнув ряды, поблескивая оружием.

Глухой стук копыт и ветер. Только не позернуть, только не остановиться.

Цепи все ближе. Вот я различаю лица офицеров. Сухо блестят обнаженные шашки.

Мы врываемся в цепь, и она распадается. Кони отлетают в стороны, всадники падают наземь.

Мы огибаем холм и въезжаем в лес. Наши кони устали, нам хочется пить, а в лесу тихо и прохладно. Мы останавливаемся у ручья, спешиваемся.

В котелке кипит вода, кони щиплют траву, я лежу на спине, положив под голову шапку, а надо мной белые березы тихо позванивают мелкими листьями. Мою щеку щекочет цветок иван-да-марья, и муравей, вскарабкавшись по стеблю, ползет по моей ладони. Я хочу его прихлопнуть, но потом осторожно сдуваю. Пускай живет!

Артем сыплет в котелок ржаную муку и соль. Иван вырезает узоры на палочке орешника.

— А что, ребята, не поспать ли нам? — говорит Иван.

— Да, хорошо бы,— отвечает Артем.— Но вот, приказ...

Мы седлаем коней. И снова глухой стук копыт, и только ветер. А впереди окопы. Они вспыхивают ружейными выстрелами. Мы все ближе. Я вижу, как пулеметчик вставляет новую ленту. Задергался черный ствол. Моя шинель изодрана пулевыми пробоинами.

Мы проскакиваем окопы. Останавливаемся. Оглядываемся. Позади тишина...

Мы проезжаем еще немного, и перед нами распахивается бескрайняя синева. Белые чайки и белые гребешки волн. И как не надоело морю тысячеле-

тиями вздыхать, ворчать, ворочаться, шуршать галькой и биться о берег!

— Вот,— говорит Иван,— вот наши отряды. Прощай, Алексей.

— Почему прощай? — спрашиваю я.

— Я пойду с отрядами,— отвечает Иван,— пробиваться к нашей дивизии. Меня убьют вон там, за тем пригорком.

— Прощай, Алексей,— говорит Артем,— я умру через год в Белгороде от сыпняка. А тебе пора в Москву.

Красная площадь. Луна, закутанная в лисий мех, зажигает миллионы снежинок. Тихо, как памятники, стоят синие деревья. Из Кремлевской стены выходят люди, которых я любил, которых я знал и с которыми работал. Они стоят все в серых шинелях, таких же, как у меня, пробитых пулями. Я еду тихо, вытянувшись, как на параде, положив руку на эфес шашки. Люди у Кремлевской стены смотрят на меня, и я поднимаю правую ладонь к шлему.

На набережной я пускаю коня в карьер. Я скачу вдоль сугробов с узкими поперечными траншеями для пешеходов и вдруг резко останавливаюсь.

— Знаешь, Алексей, я давно хотела тебе сказать,— говорит мне черненькая девушка.

— Ты правильно сделала, Фаня, — отвечаю я. — Он хороший человек.

И снова я один в степи. А где-то канонада.

Я даю шпоры коню. Глухой стук копыт, и только ветер, и я вылетаю в дымное зарево атаки. Снаряды ухают, и на месте разрывов поднимаются черные земляные цветы. Справа от меня идет Артем. Впереди маячит взводный. Вдруг яркая вспышка, и все потонуло в пламени, и боль прошла через все тело, и повисли, выплыли из тумана стены и потолок моей палаты.

Надя сидела рядом на стуле. Она не заметила, что я открыл глаза. Она смотрела в окно и улыбалась.

— Надя,— сказал я.

Она не слышала.

— Надя,— сказал я.

Она вздрогнула, лицо ее изменилось, она нагнулась.

— Позовите врача,— сказал я.

Она поняла, чего я хочу, и выбежала из палаты.

Белый потолок заколебался, и пошел туман. Врача мне не дождаться. Больше я никого не увижу. Все.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

СЫН

Старик в распахнутом, очень длинном пальто, в шапке, одетой небрежно и наспех, остановил меня.

— Где здесь почта? Ближайшая?

— Но боюсь, что сегодня закрыто.

— Разве?

— Да,— сказал я,— все закрыто. Идите на центральный телеграф.

Но он слушал меня уже только из вежливости. Он поблагодарил и пошел. Шел он медленно и обреченно.

Я подымался по переулку. Фонарь «по случаю праздника» был разбит. Дома всосали в себя людей, и на темном теле квартала светились окна, как тусклые елочные стекляшки.

Дул теплый ветер, таял снег, и тишина вечера давила меня, и хотелось философствовать или сделать что-нибудь значительное, и вообще послать к черту праздники.

Бессмысленно, когда город штурмует винно-водочные отделы магазинов и в определенное время все разом поднимают бокалы.

Стоят огромные дома, излучая свет, музыку, веселье. Но если скинуть покров стен, то зрелище предстанет необычайное. Во всех домах, на всех этажах одинаково расположены комнаты, кровати, столы, ванны, унитазы. Всюду звон рюмок, болтовня, лихорадочное насыщение, старые анекдоты, сплетни и одни и те же песни. Люди, обычно такие не похожие друг на друга, под Новый год становятся одинаковыми. Почти одновременно на всех этажах отодвигаются столы, начинаются танцы, потом гости расходятся, а хозяева (словно чертик какой-то нажимает на рычаг) начинают одновременно зевать, тушить свет, раздеваться (весь дом торопливо сбрасывает одежду на стулья), и, наконец,— о радость! — чертик опять нажимает на рычаг — постель!

В эту ночь хорошо сидеть одному и работать.

Но в последний момент приходит жена или раздается звонок по телефону, и ты мчишься в такую же, как и у всех, компанию, болтаешь, вспоминаешь бородатые анекдоты, поешь старые песни, танцуешь с толстыми дамами — в общем, веселишься.

Утром тебя мутит, и ты долго не понимаешь, кому это все было нужно. Потом ты шляешься по улицам, идешь смотреть кинохронику, отсыпаешься. Вечером бежишь за четвертинкой и возвращаешься рысцой по безлюдному переулку, и тут-то на тебя нападает охота философствовать, и тебе становится грустно, нехорошо, муторно, и ты встречаешь старика, который вдруг вырывает тебя из твоего личного мира, и тебе хочется помочь этому человеку.

Ты проходишь еще несколько домов и понимаешь, что помочь ему не можешь. Из подъезда выносят ногами вперед что-то накрытое белым и кладут на носилки в санитарную машину.

Дома ты запираешься в комнате. Есть над чем задуматься. Еще год прошел! Что же делать? Что приобрел ты? Десяток картин, сложенных в кучу на полу. Что потерял ты? Двух самых близких людей.

С одним ты всю жизнь был: «Здравствуй, до свидания, как дела, есть что-нибудь поужинать, надену свитер, посиди с Машей». Ты уезжал на несколько месяцев из дому и редко вспоминал этого человека. У тебя вроде были одни интересы, у него — другие. Казалось, мы не понимали друг друга. Спартанское воспитание: «Как здоровье? Ничего. Ну, скорее выздоравливай. Не вмешивайся в мои дела. Я человек самостоятельный». Но теперь ты с ним все время встречаешься. Ты его видишь каждую ночь, во сне.

Другую ты можешь увидеть в любой момент. Но ты ее не увидишь. Ты не должен ее видеть. Пожалей ее.

И опять же пароходик, океанский лайнер, регулярный рейс через каждые двадцать минут по изъеденной мазутом реке. И последние солнечные лучи, а на берегу грязные листья, привычные аксессуары осени. Необыкновенная девочка, спустившись к тебе из романтической, сказочной страны несбывшихся мечтаний, плачет и бьется в истерике, как

плачут все обыкновенные женщины, когда на них сваливается несчастье. И ты сидишь истуканом, холодный, как пепельница, и знаешь, что тебя, паразита, надо утопить. «Ира, перестань, не надо, люди смотрят» — и прочую чушь наворачивает твой язык, да почему-то еще приходят мысли, что на очередную выставку ты, может быть, опять не попадешь, и какая пыльная скамейка, и что за нелепый нос у этого пенсионера. И ты продолжаешь говорить какие-то бессмысленные, пошлые слова, пытаешься даже шутить и знаешь, что самое главное — это выдержать, не поддаться, сыграть до конца. Потому что единственное хорошее, что ты сейчас можешь сделать,— это уйти от нее, не мучить больше. Ты еще никто, ты еще ничтожество, неоперившийся птенец, и единственное, что ты пока умеешь,— это сломать человека, который всего себя отдал тебе. Еще один урок: теряя, ты приобретаешь. Что? Не ясно, но что-то важное. Железная необходимость отказать себе в самом дорогом. Правило жизни. Нет, эта школьная программа бесконечна. И еще какие-то рассуждения.

Но эта девочка, на которую ты не можешь смотреть спокойно, и у тебя все по-прежнему — бешеные удары сердца, словно ты бежишь пятую стометровку подряд, и где и как появилось на свете ее лицо, которое не повторят никакие портреты,— эта девочка опять плачет. За что мне так?

Сказка не получилась, леди и джентльмены!

Первый день нового года.

Подсчеты, минусы и плюсы. Ничего себе годовой баланс!

И становится страшно. Те двое самых близких мне людей теперь мне не помогут.

Но мне нельзя ни уйти, ни спрятаться.

На баррикаде погиб один из наших бойцов, и я, только я должен занять его место.

Смогу ли я? Выдержу ли я? Достоин ли я?

Но вдруг приходит товарищ, и ты почему-то встречаешь его с диким восторгом. Обмен впечатлениями о прошедшем празднике, шутки (и уже разговоры о понедельнике). И никаких мрачных мыслей. Много ли человеку надо?

А может быть, надо жить и веселиться? Жить и радоваться? Радоваться тому, что здоров, что молод, что у тебя есть жена и милый ребенок, который вопит по утрам: «Мама, мышонок проснулся!»? Жить и верить, что будет счастье, ну а если неудачи, то они временны. Терпение, терпение и еще раз терпение. Ты дождешься своей победы. Тебя поймут, или ты что-нибудь поймешь.

Ведь это очень здорово, что ты можешь ходить по земле, бить футбольный мяч, играть в теннис, плавать — в общем, заниматься гимнастикой. Нет, действительно, есть еще много стран, которые ты хочешь увидеть и увидишь, есть еще много красивых женщин, которых ты встретишь на своем пути, и еще очень много хорошего и прекрасного на земле, того, что ты обязательно сохранишь в своих картинах.

Ты счастливый человек. Ведь ты ощущаешь, что сахар сладкий, а соль солона, что солнечный луч греет, а мороз щиплет кожу и бодрит, а после дождя лес тянется к тебе светлым дыханием, и каждый лист, каждая травинка отдает тебе самое лучшее, что есть у него.

Весь мир у твоих ног, когда ты дрожащей от нетерпения рукой берешь кисть и перекраиваешь его острыми красками, заставляешь его биться на холсте, как колокол на пожарной машине. Ты можешь работать, ты любишь работать — так что тебе еще надо? Смотри на мир чистыми глазами. Чтоб ни один радужный луч, ни одна улыбка не ушли от тебя незамеченными.

Потом будет поздно. Стрелка времени никогда не останавливается — еще не было такого случая.

Надо работать и работать!

Торопись!

По твоим улицам уже ходит много мертвых.

В этой пестрой, суетящейся, крикливой и вечно чем-то озабоченной толпе ты неожиданно встречаешь интеллигентного вида старушку. Пенсне. Ноты торчат из сумки. Маленькая, незаметная старушка. Ведь она умерла! Но именно на этом перекрестке ты говорил с ней. Прошло полтора года? Но ведь ты отлично помнишь, в тот день тротуары плавились от жары, и ты покупал мороженое, и вот на этом перекрестке!

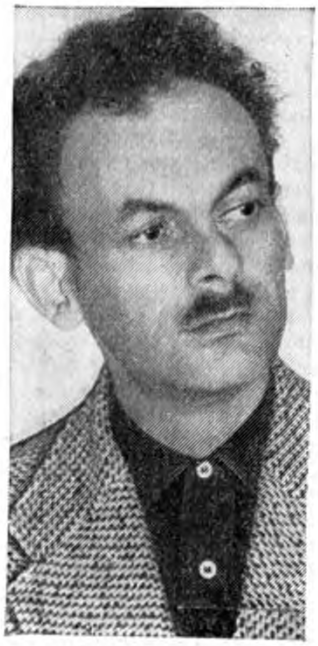
Вдруг на бульваре в тебя кидает снежок парень, одетый так, как сейчас не одеваются. Он давно утонул в Баренцовом море. Но здесь, у этой скамейки, вы играли в снежки.

Каждый день ты проходишь по одним и тем же улицам. Ты встречаешь людей, с которыми ты еще сто раз столкнешься, или просто не придется больше встречаться, или просто не будешь обращать внимания на них.

Но каждый раз ты идешь по улицам твоей памяти, и там ты видишь самого себя и людей, с которыми ты никак — понимаешь, это немыслимо! — никак не можешь встретиться.

Вот прошел студент в штурмовке, ведя под руку девушку, которая когда-то тебя любила. Девушка жива, но давно замужем и забыла о твоем существовании. Студент погиб на Кольском полуострове. У троллейбусной остановки тебя радостно окликает полный военный. Очень родное тебе лицо, и привычен его голос и манера говорить. Вот только фуражка и шинель у него странные. Давно отменили эту форму. В магазине ты сталкиваешься со своим школьным учителем, и он грозно поблескивает очками. Он узнал, что это ты положил кнопку на его стул, и сейчас потребует привести в школу родителей. Ты едешь в машине с седым художником, который в тебя верил, даешь свой телефон товарищу, который так и не успел тебе позвонить, соседский мальчик пробегает мимо, веселый и здоровый, а у знакомого подъезда стоит и улыбается старый человек на костылях.

Булат Окуджава



Это случится

Это случится, случится,
этого не миновать:
вскрикнут над городом птицы,
будут оркестры играть,
станет прозрачнее воздух,
пушек забудется гам,
и пограничное войско
с песней уйдет по домам.
Это случится, случится —
верю: расплавят броню...
Не забывайте учиться
этому нужному дню!

Каравай

Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душной глубине
прищуренные глазки каравая,
когда он сам с собой наедине?

Когда проснуться не хватает мочи,
когда румяный бок, как край зари...
О чем он думает?
О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?

А в нем живут сгоревшие поленья,
бессонная усталость мастеров,
он, как последнее
стихотворенье,
и добр,
и откровенен,
и суров.

И задыхается на белом блюде
от радости рожденья своего.
И маленькие-маленькие люди
по ломтику уносят от него.

Аисты

Вот вам, пожалуйста,
первые краски заката.
Вечного аиста
белые перья над хатой.

Старой пословицы,
словно хранящие цену:
все, мол, изменится,
были бы аисты
целы.

С неба ли звездного
в окна крадутся потемки?
Чем там до позднего
заняты в этой хатенке?

Редко ли,
часто ли,
вправду ль о виденном судят?
Крепко ли счастливы,
вовремя ль молоды
люди?

Спросишь о прожитом,
глянешь в глаза через силу:
что, мол, встревожены?
Аиста, мол, не хватило.

Как, мол, без аиста?
Вот и бедуешь в жилище,
и спотыкаешься,
и виноватого ищешь...

Речь не о старости.
Это совсем про другое...
Были бы аисты
белые
над
головою.

Картина

Нацеленный глаз одинокого лося,
рога — в серебре и копыта — в росе.
А красный автобус вдоль синего леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим!
Двугорбых снопов молодые верблюды
упрямо и молча шагают за ним.

Шагают столбы по-медвежьи,
в раскачку,
друг друга, как кони, ведут в поводах.

И птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.

А лес раскрывает навстречу ворота,
а ветки ладонями бьют по лицу,
кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий...
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой дороге
у синего леса, у черной реки.

Март

На арбатском дворе и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся мокрыми...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег!..
Мы устроим ему развеселые похороны.

По кладовкам по темным поржавеют коньки,
позабытые лыжи по углам покоробятся...
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к вам заторопятся.

Будет много кузнечиков — хватит на всех!
Вы не будете, дети, гулять в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег!..
Мы ему воздадим генеральские почести.

Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны к женщине!

Ладони

Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих.
Что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит на них.
Я листаю ладони.
Маячит
пережитое.
Я как в плену.
Вон какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вон какая-то женщина плачет,
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю ладони, листаю,
я листаю их, словно листы,
пережитого громкие стаи,
как синицы, летят на кусты.

О, ладони твои все умеют!
Все, что было, читаю по ним.
И когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим.

Припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...
Кто-то плачет?..
Никто и не плачет.
Просто дети играют в войну.

Владимир МАЛЫХИН

Рисунки В. Алексеева.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

(Из цикла рассказов)

1

НЕДОЧИТАННЫЕ СКАЗКИ

Дом наш стоял в одном из сонных переулков Замоскворечья. Осенью у нас во дворе лежали горы мокрых листьев, узорчатых, как старая школьная промокашка, а зимой было столько снега, что, как говорил наш дворник Филатыч, можно было рыть окопы полного профиля.

Колька, Сашка и я жили в одном подъезде. Колькина сестра Ритка прозвала нас мушкетерами. Я был толстым и потому звался Портосом. Долго спорили, кому быть д'Артаньяном, потом присвоили это славное имя Витьке из другого подъезда. Так было не обидно. Но скоро нам та непролетарская эпоха надоела, и Колька решил стать Чапаевым. Тогда я стал Петькой. А Сашку мы сделали белым генералом. Он каждый раз клялся и божился, что играет «беляка» в последний раз.

— Это не по правилам,— хныкал он и часто подыгрывал Чапаеву.

Однажды в пылу сражения он даже «убил» самого себя.

Когда воевать надоедало, мы ходили на Стрелку, что возле кинотеатра «Ударник». Там старшие ребята из нашего дома занимались греблей на клинкерах и скифах. Во время соревнований мы располагались вдоль набережной Москвы-реки и «болели» до хрипоты за своих, особенно за Кирилла — старшего брата Кольки и Риты. Он показывал на одиночке хорошее время, а один раз чуть не обогнал самого Долгушина, тогдашнего чемпиона Москвы.

Но скоро мы к гребле остыли. Кирилл и вся их четверка уехали учиться в летную школу, и «болеть» стало не за кого.

Зато какими праздниками были для нас дни, когда на побывку домой приезжал кто-нибудь из этой четверки! Они все уже стали летчиками-истребителями. Мы гордились ими. А ребята из соседних дворов нам завидовали: только мы могли по праву называть свою футбольную команду «Истребитель». Ведь больше ни в одном дворе на всей нашей улице не было столько летчиков. Но, надо сказать, мы тоже честно боролись за свою марку. Кольку даже прозвали Бутусовым: очень сильный имел удар правой. Пришлось сделать ему на правой ляжке наколку «О для Ж», что означало: «опасно для жизни».

Стоял солнечный мартовский день. Сосульки свисали с карнизов домов, как опрокинутые голубые свечки. С них падали на землю солнечные огоньки. Весело чирикали воробьи. Высоко в небе лениво, большими кругами ходили голуби. Девчонки играли на тротуаре в «классы». От асфальта подымался пахнувший мокрым снегом пар. Мы с Колькой сидели в сарае и читали «Сказки братьев Гримм».

— Колька-а-а! К-о-ольк! — услышали мы вдруг Риткин голос.— Иди домой! Мама зов-е-ет!

Но Колька зло отмахнулся:

— И чего орет,— заворчал он,— вот ведь человек, нигде от нее покоя нету.

— Коленька-а! Иди дом-ой! — еще раз крикнула Ритка.

Колька и я переглянулись: «Коленька» — это было необычно. Да еще громко, на весь двор. «Что за нежности?» — недовольно подумали мы.

— Чего это она, а? — спросил меня Колька. Я пожал плечами.

— Пойдем вместе, а то потом одному не смотаться,— сказал Колька.

Я неохотно засунул «Братья Гримм» за пояс, и мы пошли.

Дверь в квартиру была не заперта. На вешалке в коридоре висели две шинели и фуражки с голубым околышем.

— Кирилл прилетел,— шепнул Колька, и мы бегом ворвались в комнату.

На диване сидели Рита с матерью. Лицо Надежды Николаевны было закрыто ладонями, плечи дрожали. Рита, закусив губу, широко раскрытыми глазами смотрела на летчиков, которые стояли рядом. Один из них что-то говорил, низко опустив голову.

Из оцепенения меня вывел Колька. Он подбежал к одному из летчиков, схватил его за ремень и с силой повернул к себе. Они несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Летчик что-то очень тихо сказал Кольке и положил руку ему на плечо. Колька вырвался и, рыдая, бросился ничком на кровать. Я на цыпочках подошел к столу. На нем в открытых красных коробочках лежали два ордена Красного Знамени и еще какие-то незнакомые ордена. Рядом лежал большой лист бумаги в черной рамке. На нем было что-то напечатано. Половину листа занимали нерусские подписи. В самом конце я прочитал слова по-русски: «Рот фронт!» — и ниже:

«Барселона, 15 февраля 1937 года».

Ничего еще толком не понимая, как во сне, вышел я в коридор. Навстречу очень быстро шагал Колькин отец. Он на секунду остановился, внимательно посмотрел мне в глаза и, вдруг сдернув с головы кепку, рванул дверь в комнату. За стеной послышались громкие рыдания. Захотелось скорей бежать домой, к отцу. Он должен был мне сейчас же, немедленно что-то объяснить. Иначе... Иначе... Но я вспомнил: его еще нет дома, он приходит с завода так поздно... Что же делать? Дома только мама. Она добрая, хорошая. Она меня очень любит. Но, может быть, ей нельзя про это даже рассказать: ведь она все же женщина! Другое дело — мы с отцом. «Постой, постой, про что же ей нельзя рассказать?» — спросил я себя. И тут только все понял: в Испании фашисты убили Кирилла! «Неужели убили? Неужели он больше никогда, никогда не прилетит на побывку домой, не скажет нам: «Здорово, чижики!»? Его убили враги так же, как Чапаева, Щорса, Лазо, Павлика Морозова. Хоть я и смотрел совсем недавно еще раз «Чапаева» и видел, как он, живой, бесстрашный, мчался в атаку на боевом коне, в бурке, я впервые понял, что он так же, как и Кирилл, никогда больше не помчится в атаку, не засмеется, не запоет любимую песню. Для меня вдруг и Чапаев, и Щорс, и Лазо, и Павлик погибли не много лет назад где-то далеко, а сейчас, вместе с Кириллом, совсем близко. Что-то оборвалось в груди: это война с экрана «Ударника» шагнула к нам во двор. Мне стало страшно, я съежился на ступеньке лестницы и заплакал.

Когда я вышел из подъезда, уже спустились сумерки. Я сел на лавочку у ворот и стал ждать летчиков. Мне хотелось сказать им, что мы с Колькой обязательно будем истребителями. Больше ничего.

Летчики вышли не скоро. Они постояли у подъезда, потом надели фуражки и закурили. Курили они долго. Но я к ним так и не подошел. Почему, сам

не знаю. Когда летчики сели в «эмку» и уехали, я пошел домой. Мамы дома не было. Я за письменным столом стал сочинять стих. Начинался он так:

Мы отомстим за тебя всем фашистам,
Станем пилотами, Коля и я.

Потом я собрал в кучу свои деревянные шпаги, пистолет, три «спартаковских» дротика и выбросил их в мусорный ящик. Хотел туда же выбросить и «Сказки братьев Гримм». Уже вытащил их из-за пояса. Но потом раздумал и спрятал в стол: может быть, когда-нибудь и дочитаем их вместе с Колькой. Скоро пришла мама. Она принесла мне любимых леденцов. И я опять почему-то всхлипнул. Мама гладила меня по голове и говорила:

— Успокойся. Тебе завтра в школу. Нехорошо с заплаканными глазами.

Мне показалось, что она уже все знает.

А «Сказки братьев Гримм» для детей среднего возраста я так и не дочитал. Колька, кажется, тоже.

2

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Все когда-нибудь первый раз получали зарплату. Мы с Колькой тоже. Это было двадцать лет назад. Мы и тогда жили в этом же доме, напротив завода. Там работали наши отцы. В сорок первом они ушли в ополчение. И не вернулись. Когда я раньше долго смотрел на портрет отца, мне казалось, что он вот-вот заговорит со мной. Или рассмеется раскатисто и громко, как папка соседского Петьки. Я любил слушать, как он смеется. Да-

же специально приходил к их двери и подслушивал. Теперь мне уже никогда не кажется, что отец заговорит со мной. Хотя я и сейчас иногда подолгу смотрю на него. Особенно когда что-нибудь не клеится. Не все же в жизни бывает гладко!

Когда мы окончили девятый класс, Колька сказал:

— Хватит сидеть на шее. На фронт не берут. Пойду на завод.

— А мать разрешит?

— Уговорю. Тебе бы тоже не вредно.

— Договорились,— сказал я.

— Заметано,— сказал Колька.

Начальник отдела кадров завода похлопал меня и Кольку по плечу:

— Это по-нашенски. Значит, потомственными захотели стать?

— Не,— сказал Колька.— Это мы до призыва. Временно.

— Нам временных не надо.

— Да вы не так поняли. Ведь война...

— Знаю, знаю, что не так понял. Рабочая косточка. В какой цех хотите?

Мы ответили, что пойдем в любой, где нужней.

Нас зачислили в инструментальный, учиться на лекальщиков. Старый мастер говорил:

— Приглядывайтесь, старайтесь. Фамилию высоко держите. Здесь отцы ваши начинали.

А через две недели подошел к нам и сказал:

— Пошли, ребята, в кассу. Сегодня получка.

Мы переглянулись. Колька покраснел. Я тоже.

— Вы идите, мы потом,— сказал Колька старому мастеру.

В конце смены к нам подошла пожилая женщина:

— Вы почему это, друзья, зарплату не получаете? Все уже получили. Из-за вас одних кассир задерживается.

— Извините, мы сейчас,— сказал я.

Когда женщина ушла, я спросил Кольку:

— Ну что, пойдем?

— Пойдем. Черт с ней! Ведь все равно не отвяжется.

Мне кассирша выдала 250 рублей и сказала:

— Проверьте.

— Что вы! Зачем? — испугался я и отскочил от окошечка.

Колька тоже не стал проверять.

— Что мы, людям не верим, что ли? — заворчал он.

В заводской проходной я предложил Кольке:

— Пойдем, купим чего-нибудь.

Мы пошли на Серпуховку, в универмаг.

Какая-то женщина выбирала туфли.

— Дайте мне туфли посмотреть,— попросил я продавщицу.

Она спросила:

— Какие?

— Такие же,— показал я пальцем на женщину.

— А размер?

Я посмотрел на Кольку. Он шепнул:

— По-моему, тридцать шестой. Твоя одного роста с моей.

— Тридцать шестой,— сказал я.

Туфли нам понравились, и Колька тоже решил купить такие же. Мы пошли в кассу, заплатили по сто восемьдесят рублей, и нам вручили две коробки. Они были крест-накрест перевязаны шелковой тесемкой.

— Купим еще чулки,— сказал Колька.

Мы подошли к продавщице, и я попросил:

— Покажите нам чулки.

— Какие вам, фильдеперсовые или шелковые?

— Вон те.

— Какой размер?

Я посмотрел на Кольку. Он пожал плечами.

— Так какой же размер? — не унималась назойливая продавщица.

— Дайте средний,— сказал я.

Продавщица смерила меня взглядом:

— Провинция.

— Спокойно,— сказал Колька.— Нам нужны чулки для женщины средних лет, две пары. Понятно?

Продавщица насмешливо посмотрела на Кольку:

— Для мамочки стараетесь или для бабушки?

— Для близкой знакомой ваших лет.

Продавщица презрительно скривила губки и бросила на прилавок чулки:

— Платите деньги.

Мы заплатили и вышли на улицу.

Колька сказал:

— Никогда не думал, что из меня выйдет такое чуткое дитя.

— Я тоже. Только не вздумай ребятам рассказывать: засмеют.

— Что я, придурок! — сказал Колька.

Мама меня ждала. Я положил на стол коробку и чулки:

— Вот, возьми. Колька тоже купил.

Мама открыла коробку и вынула туфли.

— Какие чудесные! — сказала она и положила их обратно.— Сколько же ты заплатил?

— Ерунда. Сто восемьдесят. А за чулки — совсем гроши.

«Почему она не примеряет туфли и даже про размер не спрашивает?» — подумал я.

— Тебе они не нравятся?

— Что ты, что ты! — засуетилась мама.— Очень мило с твоей стороны. Большое спасибо.

«Зачем она говорит «спасибо»? Какое может быть «спасибо»!

— Мам, а вот деньги.— И я положил на стол все, что осталось,— шестьдесят рублей.

Мама взяла их в руки и медленно пересчитала.

«Что она так долго считает? Положила бы в кошелек — и все дела!» — подумал я.

Но мама не положила их в кошелек. Она отсчитала пятьдесят рублей и сказала усталым голосом:

— Пойди отдай Петиной матери. Я ей задолжала.

В руках у нее осталась одна десятка.

На лестнице стоял Колька. Он курил, пряча под рукав папироску.

— Ну, как? — спросил я.

— Порядок,— сказал Колька и отвернулся.

— У меня тоже,— сказал я и пошел отдавать мамин долг.

...А скоро мы с Колькой схитрили, и нам удалось уйти в армию. Вместе с нами «разбронировались» еще несколько ребят из инструментального.

На этот раз я отдал маме целиком всю зарплату. И еще выходное пособие.

3

КОЛЬКИНА ЛЮБОВЬ

Мы с Колькой до восьмого класса сидели за одной партой. Потом из-за чего-то поругались, и я поместился на «камчатке». Но долго мы не могли быть в ссоре. Через два дня во время перемены я сказал:

— Ладно. Завтра переселюсь обратно. Подготовь помещение.

— Переселяйся,— сказал Колька,— могу уплотниться.

Но в тот день, когда я совсем уже собрался вернуться к Кольке, к нам пришел новичок. Он оглядел класс, увидел свободное место, подошел и сказал:

— Разрешите представиться — Серж. Ваш покорный слуга. Не возражаете, если я помещусь рядом с вами на этом троне?

Колька посмотрел на него, потом в мою сторону, но проявил такт хозяина:

— Валяй. Располагайся.

Сергей поправил очки и сел. Так началась их дружба.

Мне сначала было не по себе. Потом я подумал: «Что я, кисейная барышня, что ли!» И успокоился.

Сергей считал, что рожден для сцены. А когда на одном из школьных вечеров удачно сыграл роль матроса Шванди из «Любови Яровой», окончательно уверовал в свою звезду и решил после школы податься в театральный. Мы к этому отнеслись одобрительно:

— Давай, Серега. Жми. Дави. Может, станешь вторым Бернесом или Алейниковым.

Сергей снял с рукава пылинку и ответил:

— Что касается меня, то я предпочитаю что-нибудь среднее между Москвиным и Качаловым.

Колька не готовился в артисты. Он хотел стать летчиком. А пока прилично учился, гонял голубей и играл в футбол.

Вместе с нами училась Вера Коняева. Мы все были в нее влюблены и писали ей записки. Иногда даже групповые. Она смеялась и называла нас донжуанами. Мы в ту пору не знали толком, кто он такой, этот Дон-Жуан, и просили ее:

— Называй нас лучше донкихотами. Все-таки рыцарь.

На это она отвечала, что до рыцарей у нас еще нос не дорос.

Была она стройная, сероглазая, отлично училась и мечтала стать учительницей. Мы ее отговаривали.

В девятом классе Колька, Сергей и Вера стали неразлучны. В кино — втроем, на каток — тоже. Мы посмеивались:

— Эксперимент не новый. Были уже в истории такие факты. Возьмите ту же Анну Каренину.

Сергей говорил:

— При моей эрудиции и Колькиных бицепсах она может себя чувствовать в полной безопасности. Да и эпоха сейчас не та. Бытие, как известно, определяет сознание.

Однажды они пошли в Центральный парк имени Горького. По набережной гуляли влюбленные. На влюбленных падали звезды. Но они не обращали на это внимания. Играл джаз-оркестр. Популярный эстрадный тенор с цыганской страстью пел:

Сияла ночь, в окно врывались гроздья белые.
Цвела черемуха. О, как цвела она!
Тебя любил, тебе шептал слова несмелые,
Ты в полночь лунную мне сердце отдала.

Колька положил Верину руку себе на плечо, и они закружились в танце. Когда джаз смолк, Вера спросила:

— А где же Сережа?

— Действительно, куда же он делся? — глупо переспросил Колька.

— Ненормальный какой-то.

Они помолчали. Колька сказал:

— Смотри. Звезды. Падают.

Вера запрокинула голову:

— Да, в самом деле. Странно.

— Ну, вообще-то ничего странного нет,— сказал Колька.— Жизнь есть жизнь.— И он закашлялся. Вера взяла его под руку:

— Пойдем, уже поздно.

Он проводил ее до подъезда. Когда из открытых окон донесся бой кремлевских курантов. Вера сказала:

— Ну, Колька, мне пора.— И протянула ему руку.

Он пожал ее пальцы.

— У тебя красивые руки. Ясно?

— Только руки? — Она подняла бровь.

— Нет. Еще ноги, нос и вообще.

Колька вдохнул запах сена. Так пахли ее волосы. Он, задыхаясь, прижал ее к себе:

— Вот ты и попалась!

Его руки почувствовали тепло ее спины, бедер. Он поцеловал ее в мягкие, теплые губы, полузакрытые глаза.

— Ох, Колька, не надо,— шептала Вера.— Слышишь! — Она прижалась к нему, положила руки ему на плечи.

— Ты меня любишь? — спросил Колька.

— Не знаю. Наверное, да,— задыхаясь, прошептала Вера.— Пусти! А ты?

— Я тоже. Ты должна на мне жениться. После школы. Ясно?

— Выйти замуж,— поправила Вера.

— Пусть будет замуж,— сказал Колька.

Днем он зашел к Вере домой. В кармане была десятка, выпрошенная с великим трудом у прижимистой бабушки. «Поведу ее в Эрмитаж. А там видно будет»,— думал он. Но Веры дома не было. Соседка передала ему записку. Вера писала: «Звонил Сергей. Он что-то задумал страшное. Передал последний привет. Жуть. Бегу к нему. В.».

Через несколько минут Колька был у дома, где жил Серега. Он быстро взбежал на шестой этаж и позвонил. Дверь не открыли. Он позвонил еще, еще. Никто не открывал, «Что с ним?» — с тревогой подумал Колька. Он подбежал к окну лестничной площадки, раскрыл его и вскочил на подоконник. Ухватившись руками за низ рамы, Колька вылез в окно и нащупал ногами карниз. Ему нужно было пройти по карнизу целый оконный пролет, чтобы добраться до окна квартиры, где жил Серега. Люди внизу, как оловянные солдатики. Птицы где-то рядом режут воздух. Он теплый и какой-то липкий. Это пот. А стена холодная. За нее очень хочется ухватиться, но пальцы скользят. Вот маленький пирамидальный выступ на стене. Пальцы обеих рук Кольки хватают его и замирают. «Нет, не надо думать. Только вперед». Колька передвигает левую руку к следующему выступу. Теперь он стоит на карнизе, прижавшись вплотную к стенке, держась правой и левой руками за выступы. Снизу кажется, что он обнял дом. Там, внизу, собралась толпа. Люди тихо переговариваются, словно боясь напугать Кольку, помешать ему. А он, передвигая левую ногу по карнизу, перехватывается рукой за следующий выступ. Он напряг до предела мышцы и нащупал раму. Еще одно усилие. Только одно. Он почти не дышал. Крепко ухватившись левой рукой за раму, он прижался еще плотнее к шершавой холодной стене и всем телом подался влево. Теперь ему осталось передвинуть ноги по карнизу и схватиться за раму другой рукой. И вот он уже держится обеими руками за раму окна. «Наконец!..» Колька замер, собрался с силами. Потом тяжело подтянулся на руках, встал коленями на подоконник и спрыгнул в комнату.

Он прислонился к стене, провел дрожащей ладонью по мокрому лбу. Комната была пуста. Колька, покачиваясь, подошел к двери, открыл ее, вышел в коридор. И вдруг услышал музыку. Играл патефон. Тенор пел:

Сияла ночь, в окно врывались гроздья белые,
Цвела черемуха. О, как цвела она...

Колька опять провел рукой по лбу. И подошел к двери, из которой доносилась музыка. На диване сидели Вера и Серега. Он обнимал ее колени, голова его была у нее на груди. Вера гладила его волосы.

С минуту Колька наблюдал за ними. У него перестали дрожать ноги. Руки и лоб стали сухими. Только сердце сжалось в дрожащий, горячий кулак. Он засунул в рот четыре пальца и свистнул. Озорно, пронзительно и дико. Недаром Колька был знаменитым голубятником!

Вера и Сергей вскочили. Они смотрели на Кольку, ничего не понимая. А он засунул руки в карманы, повернулся и медленно пошел по коридору. Когда хлопнула дверь, Вера рванулась за ним. Он спускался по лестнице.

— Колька, ты куда? Обожди!

Он, не оглядываясь, крикнул:

— Можете продолжать в том же духе. Пролетарский привет!

Вере показалось, что кто-то отплясывает чечетку. Это Колька бежал по лестнице.

Вот, собственно, все про Колькину любовь.

...Через полгода я и Колька ушли добровольцами на фронт. Мы попали в одну дивизию. Стали артиллеристами. Вместе писали письма домой. Правда, не очень часто, как в солдатской песне: «Пишет письма редко, но зато в газетах очень часто пишут про его дела. И о нем читая, гордостью согреты черные ресницы, серые глаза». Ресницы, конечно, не могут быть согреты гордостью. Но так пели тогда солдаты. Про Кольку тоже писали в нашей дивизионной газете. Два раза. Однажды он показал мне Верину карточку.

— Помнишь? — спросил он.

— Ну, еще бы! А почему ты ей не пишешь?

— Да я пишу. Только не посылаю. Отдам все сразу. После войны.

В апреле сорок четвертого командир взвода Николай Воробьев погиб смертью храбрых в бою под Джанкоем. В этом бою я тоже был тяжело ранен. В дивизионном госпитале мне отдали планшетку Ни-

колая. В ней были циркуль, карта Джанкоя и письма к Вере. Но адреса ее я не знал.

Прошло много лет. Год назад я встретил в театре Веру и Сергея. Я слышал, что они поженились где-то в эвакуации и совсем недавно вернулись в Москву. Но встречаться нам не приходилось. Мы сели в буфете за столик. Сергей заказал пиво. Выпили за встречу. За школьных друзей. Я смотрел на Веру и думал про Кольку.

«Ну, назови же. Вспомни!» — молча просил я ее.

— Говорят, Смоктуновский снимается в «Гамлете»,— сказала Вера.

...Дома я достал старую планшетку и впервые прочитал Колькины письма. Их было много. Но теперь я решил оставить их у себя.

Уверен, что и Колька так же поступил бы на моем месте.

4

ПЕСНЯ

Я люблю слушать, как играет на гитаре в саду под липами мой сосед, десятиклассник Слава. Он хорошо играет. С душой.

И мне всегда вспоминается, как мы когда-то пели под гитару в этом же саду любимые песни.

Мы — это я и мои сверстники. Теперь нас осталось немного. А те, кто живет здесь, все заделались папами. Папам же, как известно, петь песни во дворе под гитару не полагается. Не солидно.

Как-то я стал подпевать Славе. Но немедленно был вызван домой супругой. Она прищурила красивые синие глаза и нежно попросила:

— А ну-ка дыхни.

Я дыхнул, и она успокоилась.

Но случилось так, что недавно она сама во дворе пела песню. Вместе со мной.

К нам зашел старый друг Алексей.

— Пойдем во двор. Посидим. Вечер славный,— сказал он.

Мы вышли во двор. На лавочке сидели мальчишки. Они обсуждали игру нашей сборной в Чили. Ребята потеснились, и мы с Алексеем узнали такие подробности игры на первенство мира по футболу, которые знают только мальчишки из нашего двора. Больше никто.

Но я не познакомил еще вас с Алексеем. Он живет в нашем доме. Мы учились с ним в одной школе. У него была кличка: Алеха-пятый. Пятым его звали потому, что у нас было еще четыре Алешки. Он был младшим.

Алеха-пятый славился виртуозной игрой на гитаре и мог на руках обойти волейбольную площадку. Еще он здорово знал математику. Когда началась война, он ушел добровольцем на фронт. Получил тяжелое ранение. Потом окончил институт. Теперь он доцент, Алексей Михайлович.

Когда обсуждение «большого футбола» закончилось, кто-то из мальчишек сказал:

— Дядя Леша, сыграйте нам на гитаре что-нибудь. Вы, говорят, законно играете.

— Давай, Алексей, тряхни сединой,— поддержал я пацана.

Алексей в меру поломался. Что, впрочем, свойственно многим знаменитостям. Потом сказал:

— Ладно, несите гитару.

Несколько мальчишек со всех ног помчались к нему домой. Когда принесли гитару, доцент Алеха-пятый сдвинул шляпу на затылок, взял несколько аккордов, хитро поглядел на меня и тихо запел:

Как много девушек хороших,
Как много ласковых имен...

Не знаю, как у других, но у меня с каждой полюбившейся песней связан какой-нибудь кусочек жизни. Алексей пел уже другую песню:

...Наши бедные желудки
Были вечно голодны.
И считали мы минутки, нутки, нутки
До обеденной поры...

Я поглядел на ребят. Они очень внимательно слушали. Но не подпевали. Они не знали эту песню. А мне вспомнился пионерский лагерь под Загорском. Костер. Печеная картошка. Старший пионервожатый, весельчак Гриша. Он называл нас красными дьяволятами. А когда злился на нас, добавлял: «Чтоб я так жил, дьяволята!»

Нам нравилось быть красными дьяволятами. И мы любили Гришу. Как давно это было!

— Ты чего задумался? — спросил Алексей, когда песня кончилась.— Подтягивай. И он запел новую:

...В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят...

Эту песню знали все. Запели хором. Правда, она не хоровая. Я напевал ее когда-то любимой девушке. Ее звали Наташа. Мы сидели в Александровском саду. Я сказал Наташе:

— Буду летчиком. Как Чкалов. Вот увидишь.

Она:

— Хорошо. Но убери руки.

— При чем тут руки? Недотрога. Когда я стану летчиком, ты тоже будешь ломаться?

— Когда станешь, тогда будет видно,— отвечала Наташа.

Где она теперь? Может быть, сама стала летчиком? Это вполне возможно. У нее был такой железный характер!

И видеть сны
И зеленеть среди весны...—

пели ребята.

— Дядя Леша, сыграйте фронтовые,— попросил подошедший Слава.

Алексей на секунду задумался, потом сказал:

— Колькина любимая:

...Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

Ребята сели теснее. Они знали эту песню. Но сами не пели. Они слушали, как поем ее мы — Алексей и я.

«Землянку» очень любил Колька. Он пел ее на привалах, в окопах в часы затишья.

...Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

Друг Колька! Ты не только хорошо пел. Ты еще лучше воевал. Ты погиб, как герой, под Джанкоем. И эти мальчики, что слушают Алексея и меня, знают об этом. Поэтому они так тихо сидят. Поэтому они так прижались друг к другу. Я часто вспоминаю тебя, Колька. Мне иногда хочется зайти к твоей матери. Сказать ей что-нибудь такое... Но я боюсь. Мне почему-то стыдно смотреть ей в глаза. Хотя моя солдатская совесть чиста. Но я жив. А ты...

Песня кончилась. Помолчали. Алексей вздохнул и запел:

...Я люблю тебя, жизнь...

Ребята подтянули:

Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.

Потом мы спели «Геологов», «Московские окна», «Песню космонавтов». Алексей сказал:

— Ну, давайте, друзья, последнюю. Поздно. Завтра двоек нахватаете.

И он запел:

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины...

Мы поддержали:

Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей...

Вдруг я услышал голос жены. Она стояла у меня за спиной и тоже пела:

Спросите вы у матерей...
. . . . . .
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

Алексей взял последний аккорд. И заглушил струны ладонью. Ребята пошушукались. И вдруг зааплодировали. Потом Алексей сказал:

— Да-а! Как все же метко сказано: русская песня — русская история. Это Горький.

Я заметил, как Слава быстро записал что-то в маленький блокнот. Наверное, горьковские слова. Хороший парень Слава. Да и мальчишки помладше у нас мировые. Вы бы посмотрели, как они слушали Алексея! И как пели сами! Так слушать могут только настоящие ребята. И петь — тоже. Поколение победителей. Школьники, космонавты, геологи, монтажники, поэты.

Владимир Файнберг

Главное

Друзья мои,
Как ни странно,
Мы не видели
Океана.
На экваторе
В бочку
Нас не окунали,
Рыбы над нами
Не пролетали,
Не ступали мы
Берегом Золотым,
Не посещали мы
Рим,
Не любовались
Туземным парадом,
Ниагару
Не щелкали аппаратом,
Не видали колючих,
Черствых,
Готических городов.
...Ну и черт с ним!
Нам еще мало годов.

Еще поплаваем,
Полетаем,
Станем бывалыми —
Побываем!
Мы росли в дни войны
И в дни мира мужали.
Родина,
Были с тобой сыны
В дни радости и печали,
Здесь
Учились мы видеть
Ясное время,
Здесь
Учились беречь
Наше красное знамя!
Пусть не над нами
Качались глицинии,
Около пирамид
Нет следов наших ног,
Пусть
Под небом Сицилии
Были мы только в кино.

☆

А человек не спит.
Он не ложится спать,
То у стола сидит,
То у окна опять.
Все ходит без конца
В молчании бессонном.
...Мерцание лица
В стекле оконном.
Сквозь пару жарких глаз
И собственный висок
Он различает Марс
И улицы кусок.
О чем его тоска?
О том, что тридцать лет,
И та, кого искал,—
Ее все нет и нет.
О чем его печаль?
О том, что тридцать лет,
И молодости жаль,
И нету сигарет.
Его уж чудаком
Ровесники зовут.
Ему уже знаком
Их постоянный суд.

Мол, говорит не то,
Что надо говорить.
Не шьет себе пальто —
Все б в кожанке ходить...
А человек не спит,
В коммуну крепко верит.
И кожанка висит
На вешалке у двери.
Переместился Марс,
К рассвету ночь идет.
Одной из многих трасс
Рокочет самолет.
И виден под крылом
Звездой бессонной дом...
О, знал бы человек,
Что думают о нем,
Хоть он и не знаком!
Он строчка между строк:
И нет ее — и есть.
Схватив любой листок,
Ее хотят прочесть.
Но время знает срок.

А человек не спит.

Ка́рмен

В Москве
на вечере,
где выступал кубинец
и бил прибой овации,
как бьет
прибой Атлантики
вокруг свободной Кубы,
вдруг
из рядов
девчоночка шагнула,
и красный бант был в черных
волосах.
И, побледнев от гордости и горя,
прервав овацию, она сказала
среди недоуменной тишины:

— Приветствую и поздравляю
Кубу от имени
Испании!..
Да, так она сказала по-испански:
— Салюдо и фелисито а Куба
дель нонбрэ дэ нуэстро а Эспанья...
И в зале стало тише тишины.
И, как у ветерана в непогоду,
у всех открылось и заныло больно
одно и то же старое раненье
в области сердца...
Кто не был ранен,
тот не мог понять,
зачем кубинец
в зал со сцены спрыгнул,
и подбежал к московской пионерке
с кровавым бантом в черных
волосах
и не поцеловал ее,
не обнял,
а снял с груди своей
военный орден
и, прикрепив его на красный
галстук,
тогда лишь обнял
и поцеловал.
Спросил по-русски:
— Как тебя зовут?
И бант взметнулся,
и сверкнули очи,
и девочка сказала громко:
— Ка́рмен!
Да, не Кармѐн, как в опере,
а Ка́рмен — так девочек в Испании
зовут.
«Приветствую и поздравляю
Кубу
от имени
Испании!..»
Какая гордость
прозвучала в этих
словах московской
смуглой пионерки —
язык испанский
языком свободы
стал на восставшей Кубе.
А в Мадриде
живет Франко
тонконогой вошью...
И кажется уже давным-давно
последним пароходом на Россию
увезен черноглазый Хуанито,
сынок погибшего республиканца,
потом ее отец, рабочий ЗИЛа.
Что знает об Испании москвичка?
Стихи «Гренада»,
фильм Хемингуэя,
родное имя
да язык испанский...
О сборы на посылки!
И теперь
советские испанцы посылают
сыр костромской,
грузинское вино,
московские баранки —
кружным путем,
через другие страны
в глушь тюрем
Барселоны и Гренады.
«Приветствую и поздравляю Кубу
от имени
Испании!..»
Не надо
красивых слов,
созвучий ультрамодных —
мне надо,
чтобы не грустила Ка́рмен,
чтоб так же ревновали мы свободу,
чтоб никогда не заживала рана...

Голуби

А я не люблю
голубей,
Тех самых,
что на асфальте столичном
Забывают о небе...
Все глупей,
Все бессмысленней жизнь их
и неприличней.
Добрый
мимо идущий народ,
Что военную пайку еще не забыл,
Рад уделить им
от скромных щедрот,
И они
ежедневно,
набив зобы,
Крылья за спины заложив,
Шагают за самками
по мостовой...
И оберегает
их жирную жизнь
Моссоветом
поставленный постовой.
Как в Риме
и прочих столицах мира,
Теперь и у нас
этой птице —
рай.
...Эй,
воробышек серый,
драчун и задира,
Вот пшено,
я шугну голубей —
налетай!

Сильва Капутикян

Сгораю я, сгораю...

Я видела его в момент экстаза:
Казалось, его тело жгут
припарки —
Под скрежетанье и стенанье джаза
Он бился, извиваясь,
как в припадке.
Но вот и захлебнулся патефон...
Не без опаски я беру пластинку,
Еще горячую от поединка
С иглой, чтоб осмотреть
со всех сторон.
И вижу: на нее кустарь холодный
Приклеил пленку с танцем
ультрамодным,
И вдруг — под пленкой —
буквы разбираю:
«Сгораю я, сгораю...» [1]
Душа от гнева и от боли сжалась.
Мне показалось: здесь мой
Комитас,
Вот в этой самой комнате сейчас
Вторично гибнет — так мне
показалось...
Юнец, с горячим блеском
черных глаз,
Красивый, точно сам Ара
Прекрасный,
А ты подумал, сколько
надо было
Твоим далеким прадедам
непраздной
Любви, душевной стойкости и силы,
Сквозь смуту всех веков
ключами бьющей,
Чтоб песня, с уст седых певцов
слетев,
Пришла к нам, устояв и уцелев,
И стала бы пластинкою поющей?

И вот, мальчишка, сбившийся
с тропы,
Ты с легкостью — «ценитель»
звуков тонкий! —
Ту песню душишь липким
слоем пленки,
Копытами взбесившейся трубы...
Постой, остановись!
Не дай втянуть
Себя в водоворот бездумный,
Чтобы, подобно веточке бездомной,
Теряя путь,
Забыв свой ствол, без сока,
без корней
Носился ты среди чужих камней
И, наконец, без трав родных,
без скал,
Без роду и без племени — пропал...
Не допусти
(А ты? Ты топчешь сам!),
Чтоб то, чего не удалось врагам
Достичь в веках мечом
и ятаганом,
Вдруг удалось бы вкрадчивым
словам,
Улыбкам,
Ритмов жалкому дурману!..
Сними нагар с нее — огонь сорви.
Взгляни: в клею пластинка
иль в крови?..
Прислушайся: под пленкою чужой
К нам песня рвется раненой
душой,
Она зовет, к нам руки простирая:
«Сгораю я, сгораю!..»

Перевод Елены НИКОЛАЕВСКОЙ.

[1] «Сгораю я, сгораю...» — старинная армянская песня, обработанная выдающимся армянским композитором Комитасом.

Входите к нам

Люблю сумятицу суббот,
Когда, приехав из селенья,
Племянники — лихой народ —
Ворвутся без предупрежденья.
Работа, отдых —
Все вверх дном!
Взывает мама: «Ноги, ноги!..»
Куда там!
На подошвах в дом
Несут едва ль не полдороги!
Хохочут — гам стоит вокруг! —
И пахнет ветром и деревней,
И лезут в бабушкин сундук,
И мучат мой приемник древний.
Но с этой осени у нас
Ведут себя мальчишки чинно.
Едва придя ко мне, тотчас
Спешат ребята к пианино.
И мир настороженно тих,
И мальчики играют вволю
Все то, чему учили их
В новорожденной сельской школе.
И вечер светел и широк,
И я откладываю книжку,
И резвый, маленький «Сурок»
Бежит по комнатам вприпрыжку.
Бетховен!
Ты издалека
Приходишь нынче в город, в дом
мой,
Из той деревни, что века
Лишь с песней гор была знакома.
Лишь грусть ашуга пела там —
Был в камень горизонт закован.
Великие, входите к нам,
Добро пожаловать, Бетховен!..

Перевод Д. ГОЛУБКОВА.

С армянского

Борис РАХМАНИН

НАДЕЖДА

Надежды Григорьевны

Я давно знаком с Надеждой Григорьевной Загладой, славной колхозницей с Житомирщины. Да и вряд ли кто не знает сейчас ее имени. Глубоко взволновала всех ее статья «Дорожите честью хлебороба!». Шестидесятидевятилетняя крестьянка подняла проблемы действительно важные и сокровенные. Давно уже назрела пора для такого искреннего, по-человечески простого, конкретного разговора.

Всей своей жизнью, нелегкой, честной, трудовой, завоевала Надежда Григорьевна право спросить у каждого: чиста ли твоя совесть, товарищ? Потому что без совести нынче не проживешь.

И не случайно откликнулись на эту статью не одни хлеборобы. Воспитание советского характера, коммунистического отношения к жизни, к труду — все это близко каждому человеку нашей страны, какой ни была бы его профессия.

Как-то мы разговорились с Надеждой Григорьевной о молодежи — о ее воспитании. Что скрывать, от старого человека иной раз слышишь по этому поводу только нарекания: мол, ну и молодежь нынче пошла... Надежда Григорьевна о многом говорила резко. Кое-кого назвала, кое о чем рассказала. Но вдруг лицо ее засветилось, добрые морщинки разбежались от улыбки. Старая колхозница стала вспоминать о Кате Полинкевич из села Ходорков, о Леониде Войтюке из колхоза имени Шевченко, о Миколе Чернюке из Фасова...

— Да что далеко ходить,— сказала она,— возьмите хотя бы мою надежду, мою помощницу по звену... Двадцати лет еще нет девушке, а уже сейчас видно, хорошая будет звеньевая. Низкий поклон за таких детей и школе и родителям...

— А как же зовут вашу надежду? — спросил я.

— Так я же сказала! Надеждой и зовут!.. Надей Хабчук.

Мать Нади, Ольга Максимовна, работала в звене Заглады. Очень часто она приходила с поля поздним вечером. Но в доме четверо дочерей: было кому хозяйничать, пока родители на работе. И маленькую Надю к труду приучали.

Сначала поручили ей мыть ложки. Вечером, когда садились за обед, мать спрашивала:

— Кто же это ложки так чисто вымыл?

Все, улыбаясь, пожимали плечами, удивлялись:

— А, ей бо, не знаем! Кто ж вымыл, а?

А Надя старалась угадать, вправду не знают или притворяются.

Но однажды, когда старшие пришли с поля, в доме было так чисто убрано да так уютно лавки расставлены, что и в самом деле удивились:

— Это кто ж в нашей хате хозяйнував, шо за чудеса?

Постепенно удивляться стали меньше, привыкли, что растет новая помощница.

Придет Ольга Максимовна, а обед готов, на огороде грядки прополоты.

Шел 1947 год... В звене Заглады в это время работы было невпроворот. Впервые в Полесье Надежда Григорьевна со своим звеном выращивала высокие урожаи кукурузы. Вот уж правда, что высокие... Просто лес кукурузный. Даже древние старики приходили, дивились. Отроду такой кукурузы здесь не видели...

Много было разговоров в том году о Надежде Григорьевне и делах ее звена... Все село, вся область об этом говорила...

Мать Нади не скрывала гордости, что трудится в таком славном звене.

— Никита Сергеевич на совещании передовиков сельского хозяйства попросил Надежду Григорьевну за кукурузу взяться,— неторопливо рассказывала она, разливая борщ по мискам,— так и сказал ей: «Возьмитесь, Надежда Григорьевна, докажите...» И взялась она. Земля и зерно да честные работящие руки — вот, дочка, самое главное для богатого урожая...

В газете Надя увидела портрет Надежды Григорьевны. И вроде хорошо знала ее, соседями были, каждый день уважительно с ней здоровалась, а тут с новым чувством смотрела на портрет. Странно было, что так близко возле нее, через плетень, живет человек, на которого хотелось походить, пример с

которого в жизни хотелось брать...

Это было в шестом классе... Много с тех пор слышала, читала о своей односельчанке, но тот заветный портрет из газеты сохранила рядом с портретами Полины Осипенко, Зои Космодемьянской...

Приглядывалась к девочке и Надежда Григорьевна. Мать, очевидно, не раз хвалилась дочкой, называла ее помощницей.

— Это кто ж так картошку славно окучивал? — спросила однажды Надежда Григорьевна, заглянув за плетень.— Это кто ж бурячок так правильно прорывает?

Надя улыбнулась, ответила:

— А кто ж их знает?.. Ночью, мабуть, конек-горбунок прилетает, все делает...

— А шо! Вполне может быть!..

Надежда Григорьевна нагнулась, взяла щепотку земли...

— Ты, Наденька, погляди... Земля... Вроде ничего в ней чудесного нема, черная, влажная... А бросишь в нее маленькое семечко — и смотри, какое получается чудо...- Она быстро выдернула из грядки морковинку и с сияющими глазами показала Наде.— Чудо!.. Даже конек-горбунок лучше не может!.. Вот она какая, наша земля...

Надежда Григорьевна нагнулась и ласково погладила черную, неказистую Надину грядку. А когда она ушла, Надя и сама приложила к земле ладонь и задумчиво погладила ее, теплую, шершавую.

В аттестате зрелости у Нади аккуратно вписаны лишь четыре «добре», по остальным дисциплинам «відмінно». Особенно успевала она по математике.

— Ну, Надийка, ты теперь в институт, наверно, пойдешь? — спрашивали подруги...

— Та нет, девчата,— отвечала она, улыбаясь своим мыслям,— в институт позже, сначала в университет...

Не знали подруги тогда, чему улыбается, да скоро поняли.

Незадолго до выпускных экзаменов девушку увидела на улице Надежда Григорьевна и еще издали помахала ей рукой.

— А кто ж це у нас школу кончает, математику добре знает?..— а потом добавила решительно: — Пойдешь, Надя, ко мне в звено?

А девушка давно уже об этом думала. Учиться в институте хочется, да сначала нужно среди хлеборобов по-настоящему, по-колхозному поработать... Тогда и науки, как зерно в пашню, лягут. Но тут, когда спросила сама Надежда Григорьевна, вдруг оробела немного. Возникли в памяти на мгновение портреты из детского ее альбома: Осипенко, Зоя... А еще одна славная героиня, вот она, сама к себе зовет...

— Боюсь я, Надежда Григорьевна, работать не очень еще хорошо умею... Вдруг подведу вас...

— Ничего, научишься... В нашем звене да не научиться работать!.. Наше звено как университет: закончишь его, мы тебе и диплом выдадим... Диплом труженицы! Не бойся, доченька, ты еще моей помощницей будешь... Меня когда-нибудь заменишь...— Старая крестьянка вздохнула, пожала девушке руку и заторопилась в поле.

Надя Хабчук.
Рис. автора.

Труд колхозный нелегок. Да хоть бы эта самая прорывка свеклы. Нужно, чтобы было по шесть-семь всходов на метр, иначе корни друг дружке будут мешать, не свекла получится, а вроде моркови по внешнему виду. Вот и приходится вручную выдергивать лишние всходы. А за звеном десять гектаров свеклы.

Конечно, не все процессы вручную производятся. Вот, например, когда свеклу уже убирают, специальная машина ее подкапывает, это намного облегчает труд. Такая машина работала и на участке звена Заглады. Надежда Григорьевна как раз отлучилась. А в отсутствие ее всегда замещает Надя... Уважают молодую колхозницу в звене. Грамотна, все на лету понимает, учет в звене ведет, наряды выписывает, сама трудится отменно. И решения принимает смело, принципиально... Вот и в этот раз так получилось...

Подкапывала машина свеклу. Вдруг прибежали Оля Дикая и Поля Бакальская.

— Надя, ты глянь, почти все корни порезаны!..

Надя побежала вслед за подкапывателем, подняла несколько тяжелых серебристых корней. И в самом деле... Не отлажены у машины ножи, задевают корни, брак получается.

— Ты что же делаешь?!—закричала она трактористу.— Все бураки порежешь. Останови машину, нам такая работа не нужна!..

— Так ведь сейчас не переделаешь машину,— оправдывался тот,— как-нибудь сойдет, зато ведь не вручную вам вкалывать...

— Так бураки же скоро гнить начнут, все бурты попортятся. Я вижу, совести у тебя нет хлеборобской... Уходи совсем с поля!

Пришлось звену опять вручную поработать, а портить народное достояние не дали.

Позже девушки рассказали об этом случае Надежде Григорьевне.

— Вот и правильно,— заволновалась она.— А иначе разве получили бы мы по 311 центнеров с гектара?.. По совести вы, девчата, поступили.

Совесть хлеборобская... Надя с подругами хорошо знает, что это такое. Ненастье ли, усталость — мало ли трудностей у того, кто трудится? Но честь нужно незапятнанной беречь; совесть всю жизнь человеческую освещает, делает ее осмысленной, значительной.

Раскрыла однажды Надя газету, а там на всю страницу статья ее звеньевой, Надежды Григорьевны. Прочла ее залпом, а пока читала, все головой кивала: так, мол, так, Надежда Григорьевна. Давно уже каждый член звена был знаком со взглядами своей звеньевой на жизнь, на труд колхозный. Много говорила она о совести трудящегося человека. И слова ее не пустыми были. Раньше всех подымалась на работу, больше молодых работала.

— Без совести нынче, доченьки, прожить нельзя! — часто слышали они эти слова из ее уст.

Надя Хабчук (слева) и Надежда Григорьевна Заглада.

Фото Д. Межвинского.

А тут, в газете, эти слова прозвучали как-то значительнее, мудрее. Широко, по-государственному ставила вопрос Надежда Григорьевна.

Показала Надя газету всем девушкам, прочла вслух, горячо обсудили они статью.

И очень радостно было, что этими мыслями поделилась звеньевая прежде всего с ними.

— Вот какое у нас звено,— говорила Надя,— и в самом деле университет.

Тут подошла к ним Заглада.

— Знаете, девчата,— сказала Надежда Григорьевна чуть смущенно,— разговор я затеяла про честь хлебороба. Все, о чем мы с вами часто беседуем, ну и многое другое. Так вот этот разговор в газете и напечатали.

А Надя бросилась Надежду Григорьевну обнимать.

— Знаем, знаем, прочли! Ой, правильно, Надежда Григорьевна! Это наука не только нам...

И в самом деле, вся страна заговорила со старой крестьянкой. Колхозники, рабочие, учителя, солдаты, школьники — все заговорили о чести хлебороба... Ведь слово «хлебороб» прежде всего означает «труженик».

Теперь в каком колхозе ни появишься, люди сразу расспрашивают о делах звена, о методах работы...

Пригласили как-то Надежду Григорьевну рабочие из соседнего совхоза приехать на общее собрание. Собирались поговорить начистоту о своей жизни, о работе. Им очень хотелось, чтобы на таком важном собрании побывала сама Надежда Григорьевна. Выбрала она денек посвободнее и вместе со всем звеном — а в звене 14 человек — поехала в совхоз «Украина».

Надя перед этим чуть сомневалась, нужно ли всем ехать. Даже сказала об этом Надежде Григорьевне.

— Ведь приглашали только вас, может, неудобно это, что мы все прикатим?..

— Эх, дочка,— сказала звеньевая,— именно всем и нужно ехать!..— И заправила Наде за платок светлую прядку.

И в самом деле, очень скоро поняла Надя, зачем нужна была эта общая поездка. Надежда Григорьевна как бы всех обязала держать ответ перед людьми. И хотелось трудиться еще лучше, быть честными во всем.

После разговора сразу в поле все направились.

— А ну-ка, покажите, какие в звене Заглады работники!

— Что ж, покажем, учитесь.

Как взялись за дело, да с песней, да с шуткой! Кому потрудней, сразу на помощь другие приходят. Закончила Нюся свои рядки и на помощь Варе поспешила. Устала чуточку Оля, ее Женя сменила. А рядом новые друзья из «Украины» трудятся...

Запомнился этот трудовой день надолго.

Надя хорошо знает, почему статья Заглады так по душе пришлась миллионам советских граждан. Словно большая задушевная беседа началась, а собеседники — люди из разных концов страны: Грузии, Сибири, Средней Азии...

Едут люди в село Высокое. В газетах горячо высказываются. А высоковский почтальон каждый день сотни писем Надежде Григорьевне вручает.

Надежда Григорьевна отвечает на многие письма.

Как-то раз она прочла девушкам свой ответ ленинградскому фрезеровщику И. Д. Леонову, который тоже выступил в газете со статьей о рабочей чести.

«Мы, дорогой Иван, сами куем свое счастье. И нужно сделать все, чтобы каждый труженик стремился дать больше обществу».

Эти слова запомнились Наде крепко. «Мы сами куем свое счастье...» Сколько раз слышала она эти слова, а ведь только сейчас по-настоящему поняла их смысл.

Вот какова Надя Хабчук, надежда Надежды Григорьевны. Не зря бережет она с детских лет портрет своей нынешней звеньевой, видно, хочет быть такой же, как она, честной труженицей, правдивым, добросовестным человеком.

На листочке из блокнота, положив его на блестящую гусеницу трактора, Надя написала читателям «Юности» маленькую дружескую записку:

Я считаю, что это — великое счастье, что я работаю в звене Надежды Григорьевны Заглады. Знаете, я даже горжусь, что меня зовут так, как и мою учительницу. Читателям «Юности» желаю счастливого труда.

Надежда Хабчук

И. ДАВЫДОВ

ЕСТЬ РОМАНТИКИ В КАМЫШИНЕ

Фото С. Васина.

Тамара приехала в Камышин из красивого, солнечного Баку, где работала секретарем-машинисткой. В Камышине она стала ткачихой. Не смутили ее ни грохот ткацкого цеха, ни бедность прилавков в магазинах, ни злые камышинские ветры. Ей казалось, что жизнь в строящемся городе будет интересной, полной, пусть даже с трудностями. Тамара знала, что Камышинский текстильный комбинат пока еще строится, и готова была всеми силами помогать этой стройке.

Но интересной жизни в Камышине почему-то не получилось. Тамара искала дела, которое захватило бы ее, заполнило все свободное время. А такого дела не было. Была лишь работа в грохочущем и жарком ткацком цехе, а после работы — общежитие. И в общежитии — скука.

Казалось бы, чего скучать? Рядом с общежитием клуб строителей, там идут кинофильмы, устраиваются концерты художественной самодеятельности, вечера танцев. Приезжают в клуб и артисты городского театра, ставят спектакли.

Но вот Тамара как-то раздругой не достала билетов в кино. Увидела, как с криком и давкой, чуть ли не с дракой покупают ребята и девчата билеты на танцы. Побывала на концерте художественной самодеятельности, и программы разных коллективов показались ей во многом одинаковыми, устаревшими.

Вообще трудности в Камышине оказались какими-то не такими, каких Тамара ждала. Она ждала лишений, борьбы. Но особых лишений не было. В общежитии исправно работали водопровод и канализация. В столовой кормили недорогими обедами.

В общежитии стоял телефон. Из общежития можно было звонить на фабрику, в город — вообще куда угодно. Однажды, в дождь, Тамара хотела позвонить с фабрики подруге, чтобы та принесла ей плащ. Но телефонистка сказала, что в общежитие звонить нельзя: связь только односторонняя.

— Почему? — удивленно спросила Тамара.

— Так приказано.

— Почему приказано? Для чего?

— Чтобы девушек не беспокоили. А то парни звонить начнут.

— Я-то не парень. Меня-то можно соединить?

— Нет. Не могу.

В трубке сухо щелкнуло — телефонистка отключилась.

Очень неприятным было равнодушие, непроходимое, тупое равнодушие начальника ЖКО Лебедева, к которому Тамара не раз обращалась как председатель бытового совета общежития. Лебедеву можно было говорить что угодно и сколько угодно. Он молча слушал и, не мигая, смотрел своими ничего не выражающими ярко-голубыми глазами. И под конец разговора что-нибудь обещал. Но потом все равно ничего не менялось. Как будто разговора не было.

Во всем Камышине Тамара нашла только три женских парикмахерских. А в городе — около 70 тысяч человек. В парикмахерских были дикие очереди. Вначале это злило Тамару. Потом она махнула рукой и стала делать гладкую прическу.

В Баку Тамара нередко ходила на концерты классической музыки. В Камышине о таких концертах можно было только мечтать. Своей филармонии в городе нет, гастроли бывают очень редко, да и приезжают все больше какие-то халтурщики. А детская музыкальная школа, которая, наверно, могла бы давать концерты серьезной музыки, не выступает.

Однако все это Тамара не считала трудностями. Это скорее были глупости, которые

очень легко исправить, если по-настоящему взяться за дело, по-настоящему приложить руки. Она пришла потолковать об этом в комитет комсомола. Но там все были страшно заняты, ее едва выслушали, и Тамара с досадой ушла из комитета.

Тамаре хотелось настоящего, большого комсомольского дела. Но придумать что-то в одиночку не умела.

«Нет здесь никакой романтики! — решила Тамара.— Нет и не было, наверно, никогда. За романтикой надо ехать в Сибирь, в тайгу! Уеду я отсюда!»

Именно это — как давно выношенное, как выстраданное — и сказала мне Тамара в тот вечер, когда мы сидели с ней в красном уголке общежития и разговаривали о жизни молодежи в Камышине.

Я никак не мог согласиться с Тамарой. Я видел романтику в Камышине. В 1952 году комсомольцы начали строительство комбината. Они проводили на стройке рейды, прогоняли из своего коллектива жуликов, даже если те занимали ответственные посты. Дела комсомольцев были видны всем. Именно в те годы молодой, строящийся, рабочий Камышин начал борьбу с Камышином старым, с арбузными спекулянтами и их купеческими обычаями, со всем, что десятилетиями, притаившись, жило за высокими заборами с табличками: «Во дворе злая собака». Со всем тем, что не удалось до конца сломить первым большим, рабочим коллективам города.

Теперь старый Камышин сдался, по крайней мере внешне. Полновластным хозяином города стал молодой, рабочий Камышин.

Я рассказывал обо всем этом Тамаре. Она слушала меня молча. А потом спросила:

— А где они сейчас, эти романтики? Покажите мне их!

Я еще не знал, где они. Этот разговор происходил в первый вечер после моего приезда в Камышин. Я собирался искать тех старых романтиков, которых знал, и был уверен, что найду новых.

Но когда через несколько дней я пришел к Тамаре в ткацкий цех, ее подруга, тоже Тамара и тоже ткачиха, сказала:

— А Тамара в отпуск уехала. Наверно, не вернется... У нас многие так увольняются...

«СКУЧАТЬ НЕКОГДА!»

Я не был в Камышине несколько лет. Теперь я ходил по городу — и узнавал и не узнавал его.

С крутого обрыва смотрел я когда-то на Волгу. Казалось, что с этого обрыва бросилась в воду Катерина из «Грозы» Островского. Вероятно, именно Камышин имел в виду великий драматург, когда писал о городе Калинове. А теперь волны Волжского моря покорно лижут камышинскую бетонную набережную. Широкая и красивая, опоясала она город.

Если несколько лет назад камышанин произносил слово «пятиэтажка», то все понимали, что речь идет о единственном в городе пятиэтажном доме, который стоит возле стеклотарного завода. А теперь на громадном пустыре между консервным заводом и текстильным комбинатом выросли целые кварталы четырех- и пятиэтажных домов, по существу, новый город с населением около 20 тысяч человек.

Помню, шесть-семь лет назад на дороге из старого города к текстильному комбинату надрывно буксовали машины. Первым текстильщикам пройти на комбинат было невозможно иначе, как в резиновых сапогах. А теперь из города к поселку текстильщиков протянулось превосходное асфальтированное шоссе, и в поселке заасфальтированы все улицы, а к проходной комбината ведет широкий, чистый тротуар, и после дождя девушки спокойно бегут на фабрику в босоножках.

Шесть лет назад Камышинский текстильный комбинат стал давать первую продукцию. Сейчас он дает десятки миллионов метров ткани в год. А в 1965 году, работая на полную мощность, он будет выпускать по миллиону метров ткани в сутки. Таких текстильных гигантов не знает старый свет.

Я медленно иду по цехам 1-й прядильно-ткацкой фабрики. Прядильный цех. Семь лет назад я познакомился здесь с ясноглазой и темноволосой комсомолкой Лидой Тюриной. Она приехала на комбинат сразу после окончания института, должна была работать мастером. Вместе с монтажниками она собирала первые машины своего цеха и была растеряна, оттого что в жизни все получается не так, как учили в институте. И еще Лида жаловалась на то, что в Камышине скучно. Особенно после большого города, после института.

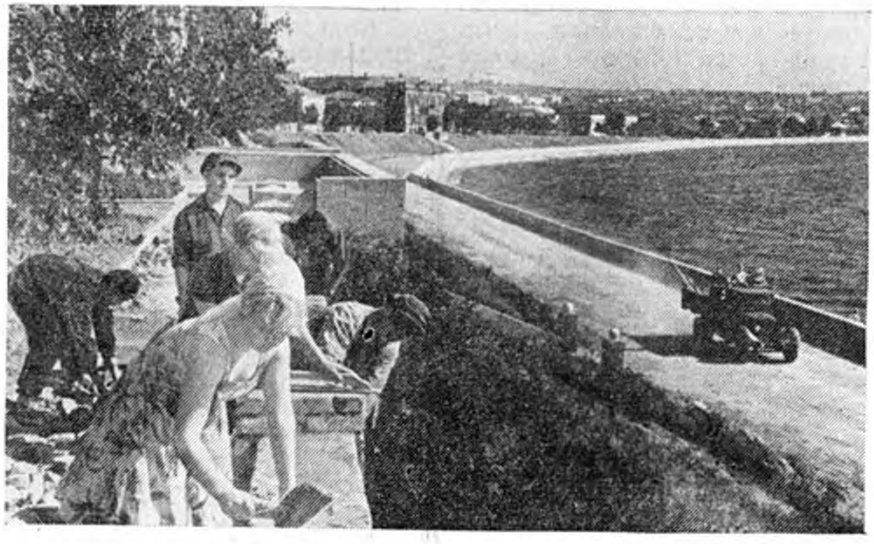
Где она сейчас, Лида Тюрина? Работает ли в цехе? Может, уехала?

— Лидия Ивановна Тюрина? — переспрашивают меня прядильщицы.

Я неуверенно киваю: не знаю отчества.

— Лидия Ивановна — начальник цеха.

Я отыскиваю ее кабинет и жду, пока кончится совещание с мастерами. Она очень занята, Лидия Ивановна. Ее буквально рвут на части. Ничего не поделаешь — большой цех, несколько сот рабочих. И все-таки она



Широкая бетонная набережная опоясала город. А теперь на территории парка у реки молодежь строит красивый парковый барьер.

Инженер Лидия Ивановна Тюрина среди работниц прядильного цеха.

умудряется ненадолго выключиться изо всей этой суматохи, и я расспрашиваю ее о том, что произошло с ней за те семь лет, которые мы не виделись.

— Я чуть не уехала в Волгоград,— рассказывает Лидия Ивановна.— Приглашали в совнархоз. Я уж было совсем решилась, но не могла... Привыкла к комбинату...

Я почему-то подумал, что ей, наверно, хотелось сказать: «Полюбила комбинат». Просто те, кто умеет хорошо работать, обычно не употребляют «высокие» слова. Им это ни к чему.

Вспоминаю, как Лида Тюрина жаловалась на камышинскую скуку семь лет назад. Спрашиваю, как сейчас. Она усмехается:

— Вы же видите... И так весь день. А вечером хватает общественных дел. Скучать некогда.

— Кто из старых рабочих остался в цехе? — спрашиваю я.— Из тех, кто его пускал.

— Нина Гуськова. Она ударник коммунистического труда. Вам надо также встретиться с комсомолками Куцаковой и Пациенко. Это наши новаторы.

...Мы сидим с прядильщицей Ниной Гуськовой в лекционном зале комбината, и со стены, с доски почета, на нас смотрит еще одна Нина Гуськова.

Нина почти не говорит о своей работе. Что о ней говорить? Работа видна... Да, монтировала в пятьдесят пятом году прядильные машины... Ходила работать на строительство ТЭЦ... Училась в вечерней школе... Все обычно... Недавно назначили инструктором...

Сейчас, когда прошли годы, слова «Ходила работать на строительство ТЭЦ...» кажутся совсем обычными. Но я помню, как работали там текстильщицы. В мороз и ветер, в непролазной грязи и под безжалостным летним солнцем они вручную рыли траншеи под сплетениями труб, куда не мог подойти экскаватор; носили кирпичи, по десять раз очищали одно и то же место от строительного мусора.

Они работали ожесточенно, эти хрупкие девчонки в ватниках и платочках. Они хотели работать в своих цехах. Но не было электроэнергии. А потом, когда ТЭЦ пустили, они молча ушли на свою первую фабрику, оставив кадровым строителям все похвалы, почетные грамоты и премии.

В те дни, едва добравшись до своих общежитий, девчата валились на койки и засыпали. А Нина была неутомима. Чуть отдохнет, переоденется и, глядишь, уже бежит к автобусной остановке: торопится в город — заниматься в «самодеятельности». У текстильщиков не было тогда ни своего клуба, ни самодеятельности. Нина ездила в коллектив городского парка. И выступала в концертах, играла в спектаклях. А сколько раз после концерта, так и не дождавшись автобуса, шла пешком из города в поселок, за несколько километров, в дождь, по грязи, в резиновых сапогах, и несла под мышкой лакированные туфельки, в которых выходила на сцену!..

Когда в городском театре открылась молодежная студия, Нину приняли туда одной из первых. А вскоре она стала выступать в спектаклях с актерами-профессионалами.

Сейчас уже позади два года учебы в студии. Впереди еще год до диплома, до того, как молодые артисты (это решено твердо!) уедут на целину и создадут там свой, молодежный театр.

Я даже не стал спрашивать Нину, скучно ли ей в Камышине. Когда ей скучать? Ведь свободное время уходит у нее не только на занятия в студии. Она занимается еще и велосипедным спортом.

Как член областного совета профсоюзов, она каждый месяц ездит в Волгоград и там, конечно, все вечера проводит в театрах. А кроме того, есть ведь еще и партийные поручения.

Если бы ткачиха Тамара не уехала так быстро в отпуск, я обязательно познакомил бы ее с Ниной Гуськовой. Они работают на одной фабрике. От цеха Тамары до цеха Нины — метров тридцать, не больше. Очень хочется, чтобы Тамара, прочитав мой очерк, сама прошла эти тридцать метров.

Я познакомился с Верой Куцаковой и Галей Пациенко, комсомолками, о которых тоже упомянула в разговоре со мной Лидия Ивановна Тюрина.

Еще не так давно Вера Куцакова, опытная прядильщица, у которой за плечами семь

лет работы на прядильных машинах, только-только выполняла норму. А Галя Пациенко, работавшая на прядильных машинах всего два года, иногда и нормы-то не выполняла — не «дотягивала» 8—9 процентов. Обычно прядильщица обслуживает две — две с половиной машины (4—5 «сторонок», как говорят в цехе). А Вера Куцакова и Галя Пациенко обслуживают сейчас 6 машин (12 «сторонок») и каждый месяц перевыполняют норму на 5—7 процентов, дают сверх плана больше полутонны пряжи.

Галя Пациенко.

— Сухие цифры! — наверно, сказала бы мне Тамара, если бы не уехала в отпуск. — При чем здесь романтика? Разве проценты сделают жизнь полнее?

На Камышинском комбинате уже около сотни прядильщиц работают по методу Куцаковой и Пациенко. Этот метод теперь применяют на комбинатах Барнаула и Иванова. Идут в Камышин запросы с других комбинатов. Ездили Вера и Галя в Волгоград, рассказывали о своем методе в совнархозе. Наверняка многие прядильщицы из других городов будут приезжать к ним, в Камышин, чтобы посмотреть, как они работают. Разве все это не делает жизнь полнее, интереснее? Разве в этом нет романтики? Что может быть романтичнее сознания своей необходимости людям?

С ВОЗРАСТОМ ЭТО НЕ ПРОХОДИТ...

Я помню, какой развороченной, истерзанной была строительная площадка Камышинской ТЭЦ еще шесть лет назад. Помню, как увязали на ней в грязи пятитонные машины. Я понимал, что, когда ТЭЦ вступит в строй, грязь исчезнет, кругом будет асфальт. Но в прошлом году я увидел здесь не асфальт, а тенистый сад с цветами и скамейками. Увидел идеально чистую территорию электростанции. И пальмы в турбинном зале.

Каждую субботу весь коллектив ТЭЦ, кроме тех, кто находится на дежурстве, выходит очищать и благоустраивать территорию предприятия.

Каждый месяц, 28-го числа, коллектив ТЭЦ выходит вечером на дежурство в поселке текстильщиков. Выходят на дежурство все — и молодые работники электростанции и немолодые. И давно уже не слышно, чтобы в этот день в поселке текстильщиков были случаи хулиганства. Разве что надебоширит какой-нибудь приезжий, «неопытный». А «свои» хулиганы давно уже поняли, что с дружным коллективом ТЭЦ им лучше не связываться.

Ходил я по оранжерее, которую построили по инициативе директора Камышинской ТЭЦ Аветика Арсентьевича Оганесяна — романтика некомсомольского возраста. В марте эта оранжерея дает столовой электростанции редиску и лук, в апреле — свежие огурцы, в конце мая — помидоры. Сейчас оранжерея расширяется вдвое.

Я ходил по оранжерее ТЭЦ и вспоминал разгромленную оранжерею находящегося неподалеку отсюда Камышинского кранового завода. Из нее вынесли все, что можно. С нее сняли стекло. И агроном завода Любовь Фортуна не могла помешать этому, ни в чем не могла убедить руководителей завода. Они ее не слушали. Они ее не понимали.

Зашел я в столовую ТЭЦ, и повара рассказали мне, как обслуживает столовая тех работников — кочегаров, машинистов турбин и дежурных по щиту,— которые не могут в обед отлучиться с места своей работы. Утром у них берут заказ. Днем на специальных столиках им привозят горячую пищу прямо к рабочему месту. Это очень просто и удобно людям. И я не понимаю, почему не делают этого на Камышинском стеклотарном заводе, где непрерывное производство также не позволяет рабочим одного из цехов уходить с рабочего места.

В прошлом году Камышинская ТЭЦ получила звание предприятия коммунистического труда. Это — первое предприятие в городе, завоевавшее такое высокое звание. Может, немалую роль сыграло здесь и то, что во главе ТЭЦ стоит романтик?..

Есть в Камышине народный краеведческий музей. Он еще невелик. Он еще только родился. Но в нем уже тесно от экспонатов, рассказывающих о жизни и об истории города. Имена многих людей, которые создавали в Камышине Советскую власть, стали известны горожанам только благодаря этому музею. На его оборудование никто не дал ни копейки. Здесь все сделано, как говорится, на чистом энтузиазме. Десятки людей несли сюда все, что может пригодиться музею. По целым дням энтузиасты совершенно безвозмездно оформляли стенды. Во главе этого дела стала культурная, милая, добрая жен-

В оранжерее Камышинской ТЭЦ. Директор ТЭЦ А. А. Оганесян и агроном-садовод Г. И. Арчаков.

щина — Клавдия Дмитриевна Дыбля, одна из старейших работниц печати в Камышине.

Не все давалось Клавдии Дмитриевне легко. Стоило появиться музею, пусть даже и народному, как над ним сразу объявилось начальство. Но раз уж оно объявилось, то по крайней мере должно было быть культурным по самой своей должности. Но оно только мешало делу, грубо пыталось, по существу, ликвидировать музей, пока он не успел встать на ноги.

Клавдия Дмитриевна оказалась романтиком боевым. Она сумела отстоять музей. Он будет расти и расширяться. В нем будут собраны материалы о лучших людях города, о тех, кто оставил в городе добрый след, сделал какое-то хорошее дело.

Посреди Камышина течет речка. Называется Камышинка. Впрочем, какая это раньше была речка — куры ее вброд переходили. Но вошли в эту речку воды Волжского моря. И образовалась посреди города громадная морская бухта. Посреди бухты стоят белые бакены и загораживают ход речным судам. Им вполне хватает и половины бухты. Вторая ее половина — в распоряжении яхтсменов. За белыми бакенами скользят по Камышинке белые паруса. Здесь расположена лодочная станция текстильного комбината. Пятнадцать яхт в распоряжении яхтсменов. О Камышинском яхт-клубе знают уже любители парусного спорта и в Волгограде и в Москве. А яхт-клуб совсем молодой. Ему еще только третий год пошел. Создали этот клуб романтики. Кто же, кроме романтиков, занимается в наш атомный век парусным спортом?

Живет в Камышине газетчик Борис Кузнецов, ответственный секретарь многотиражки стройтреста. Семь лет назад я готовил в набор его первую статью. Он был тогда техником консервного завода и впервые выступал в печати. Но мы, городские журналисты, считавшие себя «газетными волками», дружно признались: мы не умеем писать так, как рабкор Кузнецов написал свою первую статью. Она была написана блестяще — страстно, едко, остроумно. Она дорого обошлась Борису: директор завода уволил его.

Прошли годы. Они все поставили на свое место. Борис Кузнецов остался в печати. Сейчас всем ясно, что он самый одаренный журналист в городе. А директора завода давно уже нет. О нем забыли, как будто его и не было.

Фельетоны Бориса Кузнецова уже многое изменили в Камышине. И еще больше изменят. Борису не раз бывало трудно. Те, кого он еще не успел схватить за руку, пытались согнуть его в дугу. Даже друзья уговаривали его уехать. Его ждала хорошая работа в другой области. Но он не уехал и не согнулся. Потому что он настоящий коммунист. Он не считает себя романтиком. Но мне кажется, что он один из самых ярких романтиков Камышина.

Но обо всех романтиках не расскажешь в этом очерке. А вот еще об одном, которого уже нет в живых, рассказать нужно. Просто необходимо.

О НАТАШЕ ЛАВРЕНТЬЕВОЙ

Москвичка Наташа приехала в Камышин в 1954 году, после окончания Литературного института. Приехала, чтобы жить и работать в маленьком городе, где развертывалась тогда большая стройка.

У нее и ее мужа, тоже молодого писателя, долго не было квартиры. Они жили прямо в редакции, в самом маленьком, самом темном и холодном кабинете, в постоянной редакционной сутолоке.

Наташа была ответственным секретарем редакции. Порой печатники будили ее и ночью, если вдруг в газете что-нибудь случалось. Редактор был далеко. Наташа была близко. И она никогда не сердилась, а спускалась в типографию в халатике и делала то, что было нужно.

Свои рассказы Наташа писала по ночам: днем газета не оставляла ей ни минуты свободного времени. А по выходным Наташа стирала в секретариате белье: больше было негде. И она никогда ни на что не жаловалась. Ни разу. Никому.

Один из первых ее рассказов — «До востребования», напечатанный в областном альманахе, — был в 1955 году перепечатан «Литературной газетой», а затем — многими газетами и журналами социалистических стран. Наташа долго получала из-за границы пакеты с этими изданиями. И еще дольше — письма от читателей. И отвечала на каждое письмо.

Наташа Лаврентьева.

Она трагически погибла при дорожной катастрофе в 1958 году в городе Волжском, в день, когда ей исполнилось 28 лет. После нее осталась только одна книжка — рассказы, собранные уже после ее смерти мужем и изданные в 1960 году в Волгограде. В камышинских общежитиях я видел эту книгу зачитанной до ветхости. И не мог найти ни одного экземпляра этой книги в магазинах Камышина.

Я ходил по городу и как бы видел Наташу. В цехах текстильного комбината — ксилолитовые полы. Сколько раз писала Наташа в городскую газету о том, что их настилают медленно, плохо... Сколько раз Наташины статьи подгоняли строителей первой фабрики! Строители хорошо знали эту корреспондентку — красивую, такую веселую и простую в жизни, такую безжалостно требовательную и насмешливую в газете...

Недавно камышинская детская библиотека получила новое помещение. А сколько раз писала Наташа о том, что детской библиотеке тесно, что для нее можно и нужно найти новые, просторные комнаты!

В камышинском театре третий год работает молодежная студия. А ведь это Наташа писала о том, что театру нужна молодежь, что театр зачахнет без нее!

Дела и мысли Наташи живут в городе. Но я не видел в Ка-

мышине улицы имени Наташи Лаврентьевой. И это удивило меня. Было бы очень справедливо, если бы такая улица появилась. Еще больше удивило меня то, что в городе нет улицы имени Алексея Маресьева — человека, которого знает весь мир и который провел свое детство в Камышине.

Когда-то Наташа мечтала.

«Вот построят город... И будут называть улицы... Их будут называть красиво. Именами хороших людей. Можно сделать из этого такой праздник!»

Громадный поселок камышинских текстильщиков и поселок краностроителей до сих пор не имеют улиц. Когда спрашиваешь человека, где он живет, он говорит: «Во втором квартале» или «В четвертом».

Городской архитектор Нури Магомедович Капов сказал мне, что улицы поселка текстильщиков уже названы. Есть решение горисполкома... Инженерная. Фабричная, Коммунальный проезд... Просто население еще не знает. Вот когда изготовят таблички...

Конечно, можно назвать улицы и в тиши кабинета. Но тем-то, наверно, и выделяется романтик среди других людей, что там, где он найдет повод устроить для людей праздник, неромантик увидит лишь будничное мероприятие.

В РАСЧЕТЕ НА «ДЯДЮ»...

Весной решили пожениться двое комсомольцев стройтреста — маляры Валентина Лещенко и Виктор Сарана. Их товарищи по работе, узнав об этом, взяли особый, аккордный наряд. Пятьдесят комсомольцев два воскресенья работали бесплатно. Все заработанные деньги — а их было немало — отдали на организацию комсомольской свадьбы. Были сняты два зала столовой, отпечатаны пригласительные билеты. На всю жизнь запомнят молодожены свадебный бал, на котором было больше семидесяти человек.

Об этом рассказал заместитель председателя постройкома Александр Гарькавенко.

Но вот что я узнал от токаря Алексея Чуксеева, в прошлом комсомольского секретаря стеклотаровцев:

— Хотели мы устроить комсомольскую свадьбу. Парень — наш, с завода. Девушка — с ТЭЦ. Директор ТЭЦ выделил молодым квартиру. А наше начальство обещало дать деньги на свадьбу и на подарки. Пообещали — и не дали. Так комсомольская свадьба и сорвалась...

О том, что комсомольскую свадьбу можно устроить без помощи начальства, здесь и не подумали. Почему? Может, молодежь на стеклотарном заводе менее инициативна? Ничуть не бывало! Молодежь такая же, как везде, с задором, с огоньком. Хотела она достроить свой заводской клуб, потому что в нынешнем нет комнат для кружковой работы. Но директор завода М. А. Лебедев и председатель завкома Д. Н. Николенко не позволили.

— Есть план застройки завода,— сказали они.— Нельзя его нарушать.

Просила молодежь, чтобы разрешили кружковцам заниматься по вечерам в техкабинете. Все равно он вечерами пустует. Не разрешили и этого: вдруг сдвинут столы...

И так из месяца в месяц.

Подавляя инициативу молодежи в том, в чем она не может обойтись без помощи администрации, заводские руководители тем самым механически подавили и ту инициативу, которая не нуждается в их поддержке.

И вот ходят молодые стеклотаровцы по открытой танцплощадке и вздыхают:

— Навес бы сделать для оркестра...

— Танцплощадку бы расширить, чтоб не так тесно было...

А тут и нужно-то на все про все кубометр тесу да день работы десятерым хлопцам.

У коллектива кранового завода вообще нет своего клуба, нет и самодеятельности. А рядом уже три года пустуют корпуса бывшего водочного завода. Молодые краностроители не раз просили передать им эти корпуса под клуб. Городские власти отказывали. Сейчас в пустующих корпусах решено разместить ремесленное училище. А места там так много, что, кроме училища, можно оборудовать еще и небольшой клуб для краностроителей. Однако комсомольские вожаки кранового завода уже ничего не добиваются. Им слишком долго отказывали...

Другие говорят:

— Не доросла камышинская молодежь до кафе. Превратят в кабачок — и все!

К сожалению, я не выдумал эти слова. Их сказала мне Евдокия Михайловна Фролова, директор Камышинского Дома культуры. Как выяснилось потом, она никогда не была в молодежных кафе.

Инженер Камышинской ТЭЦ Альбина Попова предлагала организовать в кинотеатрах и клубах города детские комнаты. Дежурить в них могла бы молодежь. Это позволило бы молодым родителям не сидеть дома по вечерам. Горкому комсомола и горисполкому ухватиться бы за такое предложение и поскорее осуществить его. А они от него отмахнулись.

Может, именно поэтому у комсомола города нет таких дел, которые сплотили бы комсомольские коллективы различных предприятий в один большой, дружный коллектив. Может, именно поэтому ткачихе Тамаре стало скучно жить в Камышине, и она захотела уехать. Многие молодые работницы текстильного комбината ежегодно увольняются по собственному желанию. Уезжают не только с комбината, но и со стройки, с кранового и стеклотарного заводов. Над причинами этого явления стоит подумать. И бороться с этим надо не приказами и уговорами, как это делают на текстильном комбинате, а конкретными делами.

Почему бы комсомолу города не начать большой поход за улучшение быта и отдыха молодежи? Начать хотя бы с общежитий, с устранения в них всех неполадок, с удаления негодных воспитателей и комендантов. В 8-м общежитии текстильного комбината на 19-м квартале не хватает коек, во многих комнатах общежитий нет шкафов для платья, не хватает тумбочек, и еду девушкам приходится держать под кроватью. Разве не должен комсомол вмешаться и исправить это?

А как обстоит дело со спортом? На весь Камышин только одна нормальная баскетбольная площадка, в городе нет теннисного корта.

Почему бы не объявить комсомольским строительство Дворца культуры, которого с нетерпением ждет вся молодежь Камышина?

Город растет. Молодежь тянется к знаниям. На одном только текстильном комбинате в вечерних школах, в техникумах и институтах учатся около тысячи человек. Где им заниматься по вечерам? Разве могут удовлет-

ворить всех две читальни на сто сорок человек? Кому об этом думать, как не комсомолу?

Есть в Камышине еще одна очень важная проблема, которую все комсомольские вожаки понимают, но для решения которой ничего не предпринимается.

На Камышинском комбинате работают в основном девушки. Несколько тысяч девушек, которые приехали сюда из разных городов, разных областей. Приехали, чтобы здесь жить.

А вот парни в Камышин не едут. Для них здесь мало работы. Крановый и стеклотарный заводы, стройтрест — вот и все.

А между тем на Камышинском комбинате немало работ, требующих большой физической силы, выполняют женщины. Разве нормально, что хрупкие девушки возят по цехам тяжелые тележки с ровницей? Разве нормально, что девушкам приходится поднимать тяжелые планки прядильных машин, а планочников-мужчин раз-два и обчелся? Разве нормально, что администрация комбината отнюдь не приветствует замену женщин на этих работах мужчинами?

Сама профессия ткача была когда-то в основном мужской. На Камышинском комбинате нет ни одного ткача-мужчины. Был один, но и тот уволился — из-за насмешек.

Камышин — город молодежный. Его строила и строит молодежь. Его строят для молодежи. И нужно сделать все, чтобы молодежи здесь жить было удобно, интересно, радостно. И поэтому мне кажется, что самые нужные сейчас в Камышине люди — романтики.

ТАМАРА ВЕРНУЛАСЬ

Я думал на этом кончить очерк. Но вот сегодня я получил письмо. Из Камышина. Письмо о том, что Тамара вернулась на комбинат. Уезжая, я попросил товарищей написать мне, если она вернется.

Я очень рад, что Тамара вернулась. Очень! Она даже не может себе представить, как я рад! И я надеюсь, что комсомольские вожаки серьезно задумаются над тем, почему Тамаре хотелось уехать и что надо сделать, чтобы больше ей уезжать не хотелось...

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Орест ВЕРЕЙСКИЙ,
член-корреспондент
Академии художеств СССР

ГРАФИКА МОСКВИЧЕЙ

Если говорить о роли, месте, значении графики среди других видов изобразительного искусства, то я, например, представляю себе графику как десант, вооруженный оружием ближнего действия, ведущий разведку боем. Не думаю, что это сравнение, столь лестное для графики, может вызвать возражения моих коллег по другим, родственным видам изобразительного искусства. Ведь именно им всегда предстоит занимать позиции и идти дальше в наступление. А наступление — это постоянное движение нашего искусства вперед в ходе истории существования и развития нашей страны.

Мобильность средств, которыми оперирует художник-график, способствует его оперативности. Он может быстрее других откликнуться на любое явление общественной жизни. Поэтому дистанция между мыслью художника, ее воплощением и восприятием зрителя здесь неизмеримо короче.

Графика близка к печати, близка к литературе, поэтому у нее есть свои определенные преимущества в общем наступлении искусств, если говорить об их идеологическом воздействии на массы.

Не было в истории нашей страны ни одного сколько-нибудь значительного события, которое не нашло бы своего отражения в работах советских графиков. Годы первых пятилеток, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства, освоение целинных земель — все эти события запечатлены в графических сериях, на страницах книг, журналов, на газетных листах. Будучи связанной с повседневными эстетическими нуждами человека, графика открывает большие возможности в деле воспитания вкуса. Здесь огромную роль играет эстамп, то есть гравюры всех видов, офорт, литография — все виды авторской печати.

Мысль о художественном языке, о его остроте и выразительности и вместе с тем лаконичности особенно занимает художника-графика, ибо в его распоряжении имеется ограниченное количество цветов, иногда только черный и белый. Это заставляет мастера быть очень строгим и расчетливым в выборе художественных средств, но и часто приводит его к счастливым находкам. Каждый период в нашем графическом искусстве имеет свои стилевые особенности.

Отдел графики на выставке, посвященной 30-летию МОСХа, рассказал о сложном и интересном пути развития графического искусства Москвы.

Здесь мы встречали имена тех, кого уже нет в живых, но кто оставил неизгладимый след в нашем искусстве. Среди них Д. Моор, Ал. Кравченко, Е. Лансере, Н. Купреянов, П. Митурич, И. Нивинский, Л. Бродаты, М. Черемных. И можно проследить за тем, как влияние этих могучих талантов коснулось последующих поколений художников. Переходя от работы к работе, улавливаешь цепную реакцию нескольких художественных школ. Видишь, как от В. Фаворского возникло искусство А. Гончарова, затем И. Голицына и Г. Захарова. Ясно видна определенная преемственность, но каждый, восприняв мастерство учителя, развивает свои индивидуальные качества.

Вообще одной из особенностей таких выставок является возможность проследить за разнообразием творческих индивидуальностей в нашем реалистическом искусстве. Сколь различны по манере иллюстрации Д. Дубинского, Д. Шмаринова или Ю. Коровина, или гравюры братьев Ройтер и К. Назарова, или рисунки из зарубежных поездок А. Кокорина и Н. Пономарева; как по-разному трактуют форму В. Горяев и Е. Кибрик или А. Каневский и Л. Сойфертис. Сколь различными творческими приемами пользуются представители самого молодого поколения: И. Обросов, Л. Тукачев. Л. Збарский, А. Бородин, О. Кудряшов!

Но как бы ни отличались друг от друга по манере, графическим

О. Верейский. Подмосковное шоссе. (Линогравюра).

приемам или сюжетными симпатиями мастера нашей графики, их объединяют черты, благодаря которым они сумели привлечь внимание многих тысяч людей на всех континентах. Это — высокое мастерство, как средство выражения передовых идей, активная заинтересованность в жизни своей страны, глубокая человечность.

Именно человечностью отмечены и те работы советских графиков, которым «Юность» предоставила сегодня свои страницы. Попытаюсь хотя бы в нескольких словах представить читателям авторов этих работ.

Р. Гершаник — опытный портретист, предпочитающий технику акварели и пастели. Когда смотришь на его портреты, ощущаешь то тепло, какое испытывает автор к своей модели. Именно эти добрые чувства испытываешь, глядя на его задумчивую десятиклассницу.

Ю. Пименов — замечательный мастер, испытавший свои силы во многих видах изобразительного искусства. Он и живописец, и график, и театральный художник. Острое чувство современности помогает ему черпать сюжеты там, где многие их попросту не замечают,— рядом с нами. Именно поэтому сюжеты почти всех его рисунков и картин так точно характеризуют нашу повседневную жизнь, наш быт, черты нового в жизни и поведении наших современников, все то, что принято называть приметами Времени. Многие свои работы Юрий Пименов посвятил советским женщинам — их труду, быту, их радостям и печалям.

«Любовь» Д. Дубинского — одно из многих лирических произведений, оставленных нам в наследство этим прекрасным мастером. Дубинский умер три года назад, когда ему еще не минуло сорока лет. Но эта обидно короткая жизнь была такой деятельной и щедрой, что творческого наследия Дубинского иному художнику хватило бы на сто лет. У нас больше знают Дубинского по его иллюстрациям к Чехову, Куприну, Гайдару, С. Антонову. Но иллюстрации его не были бы такими живыми, герои — такими узнаваемыми, если бы не сотни, тысячи набросков, рисунков с натуры и по памяти. Эти рисунки служили материалом для иллюстраций и станковых работ, снискавших такую заслуженную и широкую известность их автору.

На выставках графики последних лет — в Советском Союзе и за границей — цветная литография Л. Тимошенко «Катюша» пользуется неизменным успехом. Художнице удалось скупыми средствами эстампа передать ощущение бьющей через край радости.

Творчество В. Горяева широко известно главным образом по его сатирическим рисункам. В его работах, отмеченных индивидуальностью столь острой, что они уже почти не нуждаются в авторской подписи, всегда много движения, его персонажи подчеркнуто выразительны. Никогда не изменяющее художнику чувство юмора, редкая наблюдательность придают его рисункам глубину, широту обобщения и глубокий психологизм, несмотря на кажущуюся легкость, стремительность исполнения.

Взаимоотношения людей, сопоставление человеческих характеров — одна из главных тем Горяева. Воспроизведенный на вкладке рисунок «Мать» несколько выходит за рамки обычного горяевского жанра и, пожалуй, расширяет рамки нашего представления о нем. Это психологический портрет человека, прожившего нелегкую жизнь. Изображение сложного, думающего человека будит мысль и в каждом, кто смотрит на него. А это уже достояние только подлинного, большого искусства!

У советских графиков, как и у всего советского искусства, есть все необходимое для дальнейшего углубления и развития их творческих успехов — энтузиазм, пример лучших, сознание повседневной полезности своего труда, а главное, множество тем, лежащих вокруг нас,— тем новых, постоянно возникающих рядом с нами. Была бы необходимая зоркость, чтобы увидеть и остро реагировать на них, и высокая требовательность к своему мастерству! К этому призывают нас партия, весь наш народ.

Почта «Юности»

Н. ДОЛИНИНА

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ СКУЧНО ЛЮДМИЛЕ?

Редакция «Юности» переслала мне отклики на письмо ленинградской студентки Людмилы Н., напечатанное в № 7 журнала за 1962 год. Помните это письмо? Оно было озаглавлено «Почему скучно Людмиле?».

Откликов много, и они разные: поучающие, иронические, наивные, трагические, задумчивые, смешные... Читать их интересно — нет, не то слово! — читаешь их и видишь, какие разные люди составляют то, что обычно просто именуют «молодым поколением». Разные по взглядам, по чувствам, по культуре, по жизненному идеалу... Одни ищут, сомневаются, просят совета. Другие не сомневаются ни в чем, не ищут ничего,— они все знают, их жизнь пряма, как стрела, от ошибок они гарантированы. Третьи имеют только одно, но твердое убеждение: все красивые слова — ложь, письмо их никто не напечатает, а они правду-матку режут и тем горды; всем живется плохо, скучно, справедливости нет, правды нет — знаем, не обманешь!

Я попыталась разобраться в откликах на письмо Людмилы Н., как-то сгруппировать их. Вот что у меня получилось.

«КТО СКУЧАЕТ!»

«Чего-то недостает в моей жизни. Как и Людмила, я скучаю. А чего недостает — не могу понять». Это письмо из Ленинграда от Таи Б.

«Скучно у нас в школе, скучно мы проводим свое свободное время... Я понимаю, что это зависит от нас, да это все понимают, но ничего у нас не получается»,— пишет Нина из Балахны.

«Мы согласились с Людмилой Н. Правда, мы не студенты, а рабочие... После работы не знаем, куда себя девать. Ведь не все могут участвовать в художественной самодеятельности или заниматься в каких-нибудь кружках». Это — трое молодых рабочих из Ташкента.

«Мне двадцать лет. Пять месяцев назад я окончила медучилище. Взяла направление в самый отсталый район области. Чего я хотела? Романтики, приключений? Не знаю, здесь я не нашла ничего, кроме скуки... Трудно привыкнуть к тому, что здесь редко, слишком редко бывает кино, нет даже самого необходимого — радио. Но самое страшное — одиночество... Молодежь пассивна, ни к чему не стремится, ни о чем не мечтает... Мне бы очень хотелось знать, как живут юноши и девушки в других деревнях? Быть может, так проходит только моя жизнь, но почему же?» — Нина П. из Свердловской области.

«Мне тоже хочется жить полной жизнью, спорить, дерзать, быть полезной... В конце прошлого года я услышала по радио сообщение: в Конго эпидемия холеры, Советский Союз посылает группу старших и средних медработников для оказания помощи. Я попросила послать меня, была готова ко всему, но мне ответили, что мне это ни к чему, меня могут убить, а потом туда якобы едут люди, материально заинтересованные. А мне зачем чужая страна, пусть сами учатся лечить... Теперь я не верю красивым фразам. Скучно жить вот так» — Наташа Замлинская из города Мары, Туркменской ССР.

«Профессия моя (я работаю в конторе) абсолютно не приносит пользы людям. В этом виновата я сама, так как сразу после десятилетки не могла найти свое призвание... Все зависит от нас самих? Это легко сказать, но как сделать, чтобы

зависимое стало возможным? Или, действительно, и в наше время могут быть «лишние люди», которые не нашли свое призвание, свое место в жизни, а общество, в котором они живут, не может помочь найти им это?» — письмо из Волгограда.

«Скука — это не индивидуальное качество Люды или подобных ей. Это скорее явление, которое может быть присуще каждому молодому человеку и которое исчезает при полноценной, живой, активной и творческой деятельности... А для этого нужны встречи, нужны дискуссии, споры, вот и ломайте головы, как их разумно организовать, как проводить время, чтобы не пропало даром»,— студент из Киева.

Письма очень разные, как видите. И если в первых трех девушки из Ленинграда и Балахны и парни из Ташкента просто жалуются на скуку, то остальные письма сложнее.

Я могу и считаю себя вправе сказать авторам первых трех писем: вы сами виноваты, голубчики, в том, что скучаете! Особенно те, кто живет в больших городах, как Людмила, Тая. Вы, девочки, мало работаете над собой, многого хотите от других, но ничего не требуете от себя.

Но нельзя осуждать Нину П. из Свердловской области за то, что она томится одиночеством, за то, что ей не хватает кино и радио, за то, что она хочет людей вокруг переделать, а не получается!

Невозможно не сочувствовать Наташе Замлинской из города Мары. Да, когда человек сталкивается с лицемерным бюрократом, с двойной душой, и эта двойная душонка унижает его идеалы,— это нелегко, это не просто преодолеть!

Так что же, действительно у нас могут быть «лишние люди»? И что делать, чтобы не испытывать скуки? Давайте поговорим об этом.

«СКУЧАТЬ СТУДЕНТУ НЕ К ЛИЦУ!»

Людмиле возражает гораздо больше людей, чем ее поддерживает. И эти письма тоже очень разные. Начну с письма агитбригады Института имени Герцена, напечатанного в «Юности» вместе с письмом Людмилы Н. Мне не понравился ответ агитбригадовцев. Не понравился потому, что построен по нехитрому принципу: тебе скучно — нам нет: вот какие мы хорошие! Будь, как мы,— и тебе тоже будет интересно!

Легко сказать: будь, как мы! А как это сделать? Мне кажется, Людмиле нужен и суровый и добрый совет, **анализ** ее скуки, а не общий рецепт: «Найдите себе общее дело, интересное и нужное!»

Об этом же говорят многие читатели. Их мнение лучше всего выразили киевские девушки Аля, Люда и Надя: «Мы совсем не согласны с членами агитбригады, которые предлагают: «Займись художественной самодеятельностью,— и тебе станет интересно жить». Людмила открыла им душу, а они предложили ей штампованную агитку».

Я не стала бы обижать агитбригаду, если бы ее письмо было единичным. Но беда в том, что редакция получила много писем, авторы которых так же бездумно поучают Людмилу Н. И даже покрикивают на нее. «В наше время не может быть, чтобы девушке в 21 год, учащейся в институте, было скучно!»: «Скучать не к лицу студенту!»: «Идите в комитет комсомола, посоветуйтесь и начните какое-нибудь дело, интересное абсолютно для всех!»

Если бы все в жизни было так просто, как кажется авторам этих писем! Тогда и Людмила Н. не стала бы писать в журнал, а сама додумалась бы пойти в агитбригаду, народный театр, музей, кружок... Почему-то она не додумалась... Или ей это не кажется интересным.

«МЫ НАШЛИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ!»

Больше всего мы получили писем-раздумий, писем-советов, писем-исповедей. Может быть, в них есть ответ на вопрос.

Вот что рассказывает инженер из Кустанайской области В. Крылов: «Мне двадцать пять лет. Иногда мне кажется, что я прожил целую вечность, настолько интересной и содержательной была жизнь. Всякое довелось испытать и пережить — больше хорошего, но были и тяжелые минуты: неудачи и ошибки в работе, консерватизм и косность маленьких начальников, слишком возомнивших о себе, обидная несправедливость, схватки с негодяями, сплетниками и карьеристами. Перенес личную драму... Но все эти невзгоды меркнут перед лицом истинной доброты, которую щедро дарили люди. А сколько еще не прочитано книг, не исхожено дорог, сколько людей, веселых, интересных, встретится на пути!»

А это — письмо Татьяны Бернштейн из Моздока:

«Ровно семь лет назад я и мои подруги тоже жаловались на свою неинтересную жизнь. Мне кажется, что такие разговоры среди молодежи очень типичны. И вот почему: с одной стороны, мы предъявляем большие требования к жизни. Хочется сделать что-то выдающееся, значительное, нужное тебе и людям. А с другой стороны, мы не всегда можем найти то значительное и нужное, чтобы сделать свою жизнь интересной. А чаще всего пассивно ждем, когда **кто-то** придумает нам интересное дело, найдет увлекательное занятие.

Работа не дает скучать и делает жизнь интересной. Сейчас я работаю собкором межрайонной газеты в городе Моздок. Интересно ли я живу? Мне просто некогда об этом думать. Я постоянно встречаюсь с новыми людьми, беседую с ними. Ведь каждый человек — это целая энциклопедия, будь то ученый, строитель, доярка, тракторист или агроном. С людьми никогда не бывает скучно».

В чем же дело? Почему этим людям интересно жить, а Людмиле и многим другим скучно? Возможно, в чем-то правы авторы тех писем, которые думают, что Людмила обманывает себя, считая, что она нашла свое призвание. Студент Ленинградского университета Иван Гринякин пишет ей: «Как можно найти свое призвание и не чувствовать себя удовлетворенным? Это несовместимые вещи. Была бы Люда одна,— полбеды, но таких ведь много! К таким некогда причислялся и я. Теперь моя жизнь течет согласно моим мыслям, желаниям и увлечениям. И главное — я удовлетворен! Все потому, что я решительно покончил с Харьковским политехническим институтом, куда я поступил случайно, руководствуясь одним желанием — «лишь бы поступить», и вновь поступил в Ленинградский университет, уже действительно

по призванию. Признаться, мне просто некогда скучать. Наоборот, у меня не хватает времени...»

И В. Крылов, письмо которого я уже цитировала, говорит о том же: «Не обманывай себя: ты пока не нашла призвания. Когда человек находит свое призвание, он всегда занят, потому что он не просто трудится (учится) по долгу или для карьеры, но в его деле участвует сердце».

И еще письмо о том же: «Ты пишешь, Людочка, что нашла свое призвание... Не знаю, на кого ты учишься, ты не сообщаешь. Из этого видно, как «увлеченно» ты относишься к науке. А говоришь — призвание. Найти призвание — это работать страстно, забывая о времени, удивляться тем, кто к нему равнодушен, спорить, искать и искать.

Увлеченный не может быть одиноким. Увлеченному коллектив нужен для созета и спора, он сам бросается в спор. Тебе не хватает именно увлечения, любви к чему бы то ни было; тебе, а не тем, кто вокруг тебя».

Лучше, по-моему, не скажешь! Но вот в чем беда: в большинстве скучающие юноши и девушки или не пытаются найти свое призвание, или думают, что уже нашли его. Они, по-видимому, не знают, что такое призвание, как знают это те, кто действительно нашел его.

«СКУКА — В ТЕБЕ САМОЙ!»

Скажу честно: у меня скучающие молодые люди и девицы не вызывают жалости и сочувствия. Мне никогда в жизни не было скучно. Было по-всякому: весело, больно, страшно, мучительно, невыносимо, радостно, тоскливо, одиноко, но скучно — никогда. И все-таки я взялась писать об этом по одной причине. Вот она: по долгу своей профессии (я учительница) я всю мою жизнь вот тем самым и занимаюсь: нахожу увлекательные занятия для тех, кому скучно. И знаете, что я поняла очень твердо? Их нельзя найти, эти увлекательные занятия! Нельзя — и все! Если уж человек вбил себе в голову, что ему все неинтересно, скучно — так и будет скучно, хоть ты разбейся в лепешку, а если он сам захочет интересно жить, то и будет интересно! Найдет себе цель, если действительно захочет. Перепробует все, пересмотрит все, а найдет.

«Скука не вокруг, а в тебе самой»,— пишет Людмиле Н. студент из Николаева Владимир Клиндухов, пишет не только от себя, но и от лица «могучей кучки» — своих друзей. И девушки из Московской области Лида Морозова и Таня Горелова — о том же: «Кто-то из писателей сказал, что умный, уважающий себя человек может испытывать любые чувства, кроме скуки».

Сколько я прочла писем от школьников, где на разные голоса перечисляется то же: у нас в школе скучно, нам неинтересно, нам некуда пойти... А вот в школе, где я работаю, интересно! И есть куда пойти! У нас и лекции, и хор, и кружки, и клуб любителей искусств, и встречи — с кем только мы не встречались! С писателем Василием Аксеновым, с театром «Современник», с поэтом Булатом Окуджавой, с Ленинградским ТЮЗом... Думаете, на эти встречи все приходят? Как бы не так! Те, кому интересно. А половина школы скучает. Скучает на товарищеском суде, где ребята сами — без единого взрослого — судят девятиклассницу, воровавшую у товарищей. Скучает на школьном эстрадном представлении, где всем достается — и учителям тоже... Скука-то — в них самих!

Великолепные горьковские слова цитирует в своем письме Иван Гринякин: «Чувство неудовлетворенности — самое драгоценное из всего, чем обладают люди».

Людмила испытывает это чувство. Но не удовлетворена она своей жизнью. А **собой?** По-моему, вполне довольна: призвание нашла, увлечения есть, подруга — тоже. В том, что ей скучно, оказывается, виноваты другие: нет таких, кто бы развлек ее.

А вот девушки из Киева пишут: «Нам тоже скучно! Не думайте, что мы какие-нибудь ограниченные личности: мы учимся в 10-м классе, занимаемся спортом, редко, но ходим на вечера и читаем интересные книги».

Здесь то же раскрывается прямее. «Не думайте, что мы ограниченные!» Ох, простите меня, девочки, думаю! Потому что слишком уж вы уверены, что учиться в 10-м классе, ходить на зечера и читать книги — это и есть не быть ограниченным!

Самое легкое — считать себя непогрешимым! Вот он я, хороший, вовсе не ограниченный! А мне скучно! Ну-ка, ломайте головы, как сделать, чтобы мне стало веселее (именно так и ставится вопрос в одном из писем, которые я цитировала в первой главке). А попробуй-ка встать на другую позицию, что **есть** или чего **нет** во мне самом, отчего мне скучно? Чем я хуже, а не лучше других — тех, кто не успевает и подумать о скуке? Что **я сам** должен сделать, чтобы не быть «лишним человеком», я, а не общество, на которое так легко валить все свои беды! Мне кажется, главное средство от скуки — активность, активная неудовлетворенность собой в первую очередь. **Собой,** а не другими.

Я совсем, совсем не уверена в том, что пишу непреложные истины. Более того: со мной наперебой спорят мои друзья и мои ученики, с которыми я советовалась. Они говорят: бывают же люди не творческие, «никакие» по характеру — им скучно жить! И они в этом не виноваты: это их беда, а не вина!

Не знаю, не верю. Не могу поверить, что человек при любых обстоятельствах может позволить себе скучать, позволить себе не найти занятия, не найти интересных людей: ведь интересны вовсе не только люди, которые тебе что-то дают, но и те, которым даешь ты! Попробуй поискать тех, кому ты нужен. Авторы многих писем так и пишут — помоги тем, кому ты нужен. Пойди к ребятам в детский дом, к больным, одиноким.

Сложнее, конечно, таким людям, как Нина П. из Свердловской области (ее письмо я цитировала вначале). Но, мне кажется, она неправильно понимает свое чувство. Ей не скучно, а трудно и одиноко. Зато она ищет, рвется, мучается — и — я уверена! — обязательно найдет интересное в своей жизни.

Что же касается тех ребят и девушек, которые столкнулись с лицемерием и бюрократизмом одного начальника, в одном учреждении и сделали вывод, что правды нет и надо быть лицемером...— я думаю, они встретятся еще не с одним бюрократом и не с одним ханжой в своей жизни, но, право же, из-за этого нельзя перестать верить всем людям — от этого будет хуже только им самим!

И в этом меня опять убеждают письма: каждый

из тех, кто нашел свое место в жизни, пишет и о разочарованиях и о борьбе, но ведь потому-то людям и не скучно, что они борются, а не сидят сложа руки!

«ХОТЯ МЫ ГЛУБОКО НЕ ВЕРИМ...

в то, что вы опубликуете наше письмо, мы не можем отказать себе в удовольствии высказать все, что мы думаем по этому поводу».

Писем с таким началом в любой редакционной почте бывает два-три, иногда четыре. Есть они и в почте, о которой идет речь. Начну с письма, из которого взяты эти слова. Вот что идет дальше: «А зачем тосковать по какой-то особенной жизни? В нашей «обыкновенной» жизни можно найти много радостей, доступных каждому, стоит только захотеть! Разве могут сравниться какие-то споры с удовольствием оттого, что ты красиво одета и привлекательна! Ни в каком коллективе не почувствуешь себя так легко и непринужденно, как в дружеской, интимной компании, и никакая бурная дискуссия не может доставить такого наслаждения, как беседа за бутылкой вина под звуки легкой музыки». Под письмом — шесть подписей студентов Уральского политехнического института имени Кирова.

А вот другое: «Вот нам бы впору разочароваться в жизни. Нас четверо друзей. Мы окончили школу и мечтали поступить в институт. Но, увы, фортуна нам изменила... И теперь мы нигде не работаем и не учимся, но нам не скучно. Днем мы бываем на пляже, вечером — в кафе или ресторане, иногда на танцверанде. Правда, очень много времени у нас занимают очереди в парикмахерскую и в ателье мод. Также нам не всегда дают культурно отдыхать: в кафе и ресторанах бывает очень плохая музыка и запрещают танцевать современные танцы... Еще после ресторана приходится идти домой пешком, потому что нет такси...» и так далее. Это письмо из Усть-Каменогорска. Подписано оно Игорем Шестинским, Мэлсом Аколбековым, Бибигуль Ахметовой и Люсси Пуниной.

У меня нет уверенности, что эти лица существуют в действительности, и я склонна думать, что вся их развеселая жизнь выдумана от начала до конца: вы и сами, конечно, догадались, что письмо издевательское, а по существу — горькое.

«Чему смеетесь? — Над собой смеетесь!» — сказал гоголевский городничий, и это самая мудрая фраза в мудрейшей комедии. Вести интимные беседы за бутылкой вина и красиво одеваться всякому приятно. Но ведь мы знаем, что, кроме этого, нормальному человеку нужно еще многое.

А усть-каменогорским прожигателям жизни и вовсе не сладко. В институт они не попали, работы не нашли, а родителям их, наверное, наскучит снабжать своих деток деньгами на такси и рестораны. В общем, скоро кому-то будет много скучнее, чем Людмиле, так я думаю.

А вот последнее письмо, снабженное примечанием: «Мы знаем, что наше письмо не дойдет ни до Людмилы Н., ни до читателей «Юности»,— огорчило меня. Огорчило, потому что его писали умные девчонки, но не все они додумали. Вот оно:

«Прежде всего мы хотели бы узнать у самой Людмилы, что, собственно, ей непонятно в ее жизни?.. Она же отлично понимает (судя по ее письму), кого и чего ей не хватает. Неужели не ясно ей, что двадцатилетней девушке мало только коллектива и общественной работы. Тогда какого же черта она пишет в редакцию, просит объяснить то, что ясно каждой девушке, достигшей ее возраста? Людмила Н.!!! Ты не будешь скучать, тебе будет «с кем мечтать», если ты будешь «дружить с молодым человеком» (цитируем строки твоего письма). Тебе же это было ясно самой. Тогда чего ты хотела от редакции и от читателей журнала? Мы считаем, что ни одна уважающая себя девушка (между прочим, нам никогда не приходилось читать подобные письма от юношей. Только девушки — нам стыдно, что это так, потому что мы сами девушки,— пишут в редакции: «Ах, я некрасива, как мне быть?», «Ах, он меня не любит, как мне быть?», «Ах, мне скучно, как мне быть?» и т. д.) не станет жаловаться на скуку публично... Мы бы не стали ничего писать, если бы нас не возмутило Людмилино письмо, письма, подобные этому, а главное, ответы на них. Почему-то сейчас бытует мнение, что у нас в стране девушке для счастья достаточно любимой работы, общественной деятельности и спорта... Мы же считаем, что для женщины главное — **любовь,** а работа, общественная деятельность и спорт **помогают** быть ее жизни полней и интересней.— Морозова Лида, Горелова Таня».

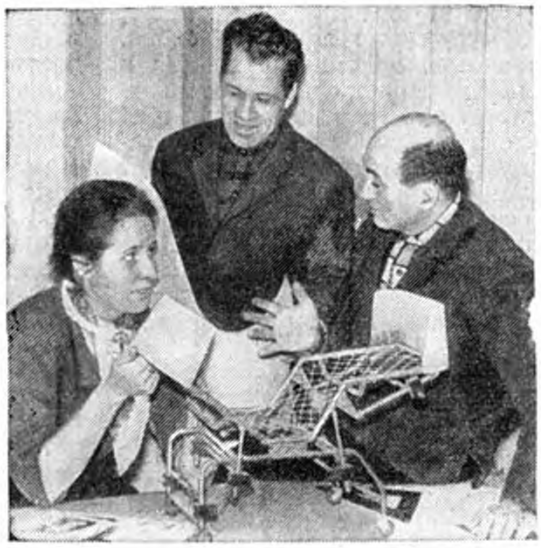
Не знаю, можно ли взвесить, что важней в жизни человека — все равно мужчины или женщины,— в жизни любого человека: любовь к своему делу или любовь к мужчине (женщине). Да, пожалуй, я готова согласиться: любовь — это главное. Пусть так. Но где ты ее найдешь, эту любовь, настоящую-то, если не будешь увлечена работой, спортом, мало ли еще чем, если ты не будешь связана со своим любимым чем-то важным и для себя и для него, а не одними танцульками? Очень все в жизни переплетено, девочки, очень сложно, не прямолинейно. И счастье — вещь очень сложная. И не для всех людей любовь — все в жизни. А творчество, а работа?

От скуки же есть только одно лекарство: если хотите сформулировать это коротко — активность. Активное, деятельное отношение к жизни, ко всему, что тебя окружает.

Ленинград.

Трибуна Юности

Т. АСТРОВА,
А. КОШЕЛЕВ,
Б. НЕШУМОВ



ДЕЛО ВАШИХ РУК

Не так давно корреспонденты вильнюсской молодежной газеты рассказали о непорядках в общежитии на улице Врублевского, дом № 4, квартира № 5. Вот как выглядит оно внутри: «...Потолок в бахроме отставшей извести. Видно, крыша течет. На стене у входа — график уборки на 1962/1963 год. Пол черный, только кое-где сквозь наслоения грязи робко проглядывает дубовый паркет. Балконная дверь скалится грязно-серыми зубьями выбитых стекол...»

Корреспонденты справедливо замечают, что предоставленная ребятам квартира непригодна для общежития, но ведь ее можно переоборудовать, отремонтировать...

О молодежных общежитиях пишут сегодня в газетах, выступают на собраниях, приходят для разговоров в редакции. И у всех один вопрос: «Как сделать наши общежития уютными и удобными?»

Три молодых архитектора по просьбе нашего журнала делают первую попытку ответить на этот вопрос.

Сейчас у нас строятся общежития с комнатами, рассчитанными на четырех человек. В недалеком будущем в отдельных комнатах станут жить по два человека. Несмотря на небольшие размеры, они будут удобны и для отдыха, и для работы, и для дружеских встреч.

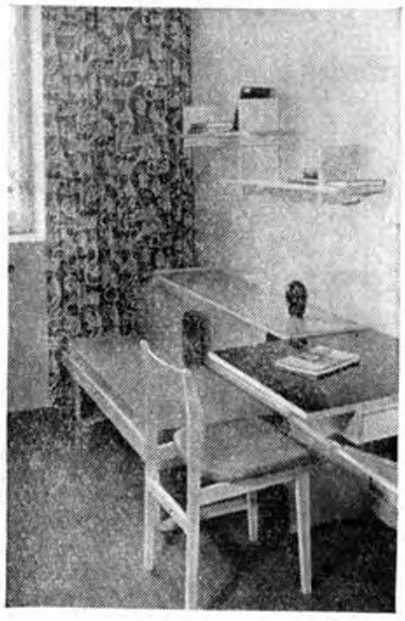
На каждом этаже общежития предусматриваются свой холл-гостиная и хозяйственно-подсобные помещения. При общежитиях будут также устраиваться столовые самообслуживания, которыми смогут пользоваться и жители близлежащих домов. По вечерам помещения столовых можно превращать в залы для молодежных балов и вечеров.

Сейчас, когда у нас еще не вполне достаточно жилой площади, приходится выделять в одной комнате и места для сна, и для занятий, и для отдыха. Вот тут-то на помощь и приходит специальная трансформируемая мебель, которая позволяет сохранить в помещении достаточно свободного места. Это очень важно. Комната, тесно заставленная мебелью, не только неудобна, она угнетающе действует на психику человека. Поэтому конструкторы мебели всячески стараются совместить в одном предмете несколько бытовых назначений. Таков, например, шкаф, включающий в себя и письменный стол и диван для спанья; или просто шкаф с убирающейся на день кроватью; или письменный стол, объединенный с кроватью. Заслуживает внимания мебель, созданная специалистами из Литвы. Они предложили для общежитий двухъярусные кровати, наподобие тех, что мы видим в купе железнодорожных вагонов. Эти же кровати можно расставить в индивидуальном порядке.

☆

Комната, обставленная новой, трансформируемой мебелью, выглядит более просторной, чем комната тех же размеров с отдельно стоящими кроватями, столами, шкафами. Но еще больше свободного пространства получается в комнатах со шкафами-перегородками. Попробуем разобраться, почему это так. Мы воспринимаем объем каждого предмета из комнатной обстановки в зависимости от его собственных и падающих на него теней. Вспомните, как при ярком освещении выявляется объем всех вещей и комната стано-

вится неуютной и тесной. Вещи, объединенные в общие блоки, особенно пристенные шкафы и шкафы-перегородки, воспринимаются человеком как плоскость, поэтому они меньше затеняют комнату. Эффект этот особенно силен, если комната освещена мягким светом и на фоне шкафа-перегородки стоят небольшие и яркие предметы: журнальные столики, стулья и так далее. В этом случае плоскость шкафа как бы уходит на второй план, и пространство комнаты зрительно увеличивается. Этому ощущению способствует и разделение комнаты на зоны. Благодаря этому создается впечатление, что помещение включает в себя несколько комнат. Человек как бы переходит из одной комнаты в другую. Особенно отчетливо можно это почувствовать в тех случаях, когда каждая зона имеет свой материал и свое цветовое решение.



Днем кушетка задвигается под шкаф.

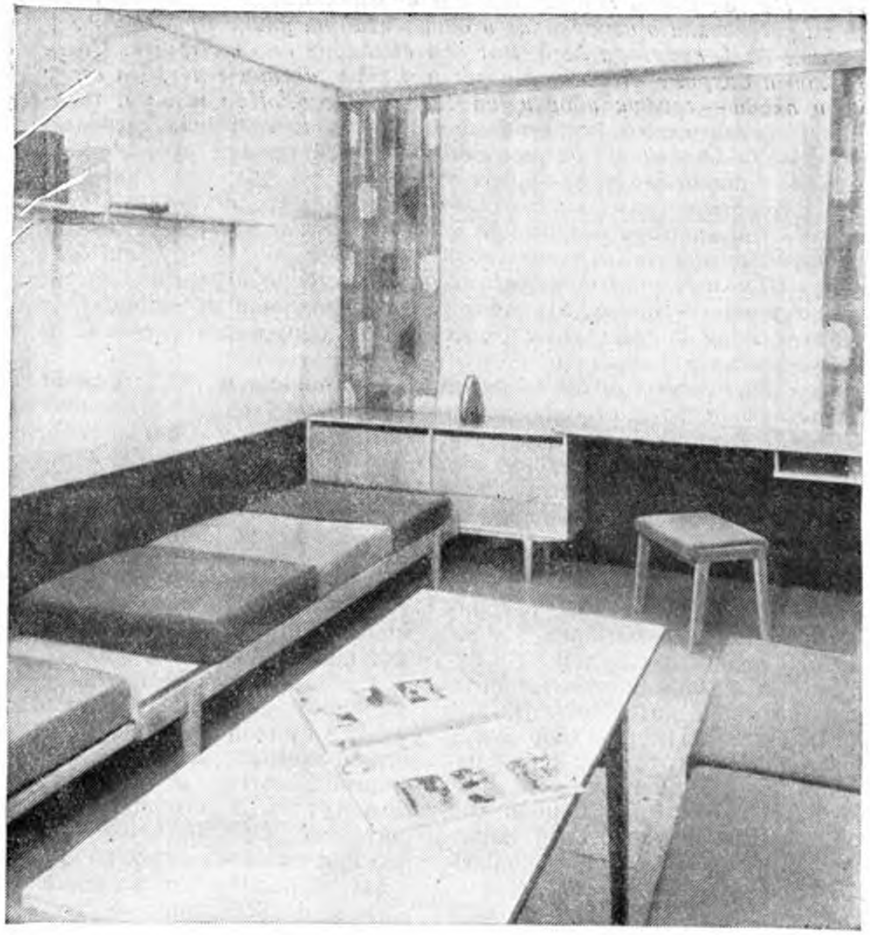
✲

Если уж речь зашла о цвете, то надо прежде всего сказать, что его применение в помещениях не должно быть произвольным. Цвет выбирается не только по законам красоты. Все элементы композиции комнаты определяются прежде всего законами удобства. Красота и удобство — эти понятия так тесно связаны между собой в интерьере — внутреннем оформлении помещения, — что нельзя рассматривать их обособленно.

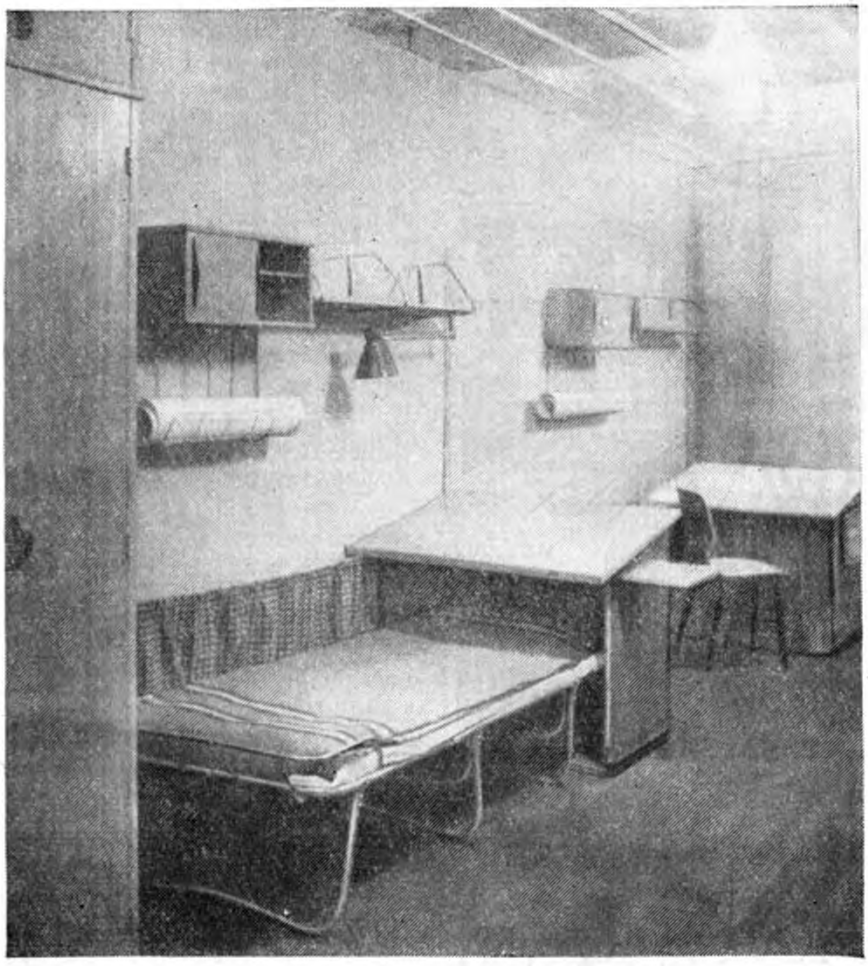
Установлено, что цвет влияет на физиологическое и психологическое состояние человека. Правильно выбранная окраска стен и предметов может помогать или мешать вашей работе и отдыху. Мягкие, сильно разбеленные холодные и теплые тона, такие, как серовато-голубой, беж, теплый серый, действуют успокаивающе. Теплые неяркие тона способствуют сосредоточенности, но иногда производят несколько мрачное впечатление. Яркие, насыщенные цвета, особенно теплые — красный, оранжевый, желтый, — возбуждают, веселят человека, но одновременно и утомляют его. Особое место занимает зеленый цвет. Считается, что он менее всего утомляет глаз и благотворно влияет на человека. (Поэтому, кстати, и станки на заводах, особенно там, где процесс работы требует большого напряжения, рекомендуется окрашивать в зеленый цвет.)

Для рабочей комнаты хороши спокойные зеленые, коричневые тона, для спальни — серо-голубые, серо-розовые. И в спальнях и рабочих комнатах надо избегать сильного цветового и светового контраста, например, сопоставления белого и черного, яркого красного и синего. Контрасты всегда утомительны для глаз и обычно вызывают возбуждение нервной системы.

В помещениях для приема гостей, дружеских встреч, танцев более уместны веселые цвета — оранжевый, желтый, красный — и контрастные цвето- и светосочетания. Многие еще недавно считали, что окраска комнаты в два-три тона — своего рода «пижонство». Конечно, если такая окраска сделана без понимания ее назначения, — это пожалуй, действительно только слепое следование моде. Иное дело, если комната, в которой как-то выделены и уголок отдыха, и спальня, и рабочий уголок, окрашена в два-три тона. Это не только красиво, но и удобно. И одновременно комната кажется просторнее. Например, стена,



Удачное сочетание дивана с письменным столом.



Днем эта кровать убирается внутрь стола.

окрашенная в красный цвет, будет казаться близко расположенной, а если ее окрасить в мягкий и светлый голубой тон, она иллюзорно отдалится.

☆

К сожалению, у нас при оборудовании общежитий далеко не всегда понимают это. Помимо всего прочего, кое-кому не хватает вкуса и знаний в этой области. Может быть, надо создать специальные курсы или общественный институт по изучению искусства интерьера? В студенческих общежитиях оборудование помещений хорошо бы отдать в руки понимающих студентов — активной группы, которая занялась бы этим делом. Главные архитекторы городов и районные архитекторы должны помочь студентам в этом. В Москве, Ленинграде и других городах есть художественные училища, студенты и преподаватели которых, вероятно, с радостью включат темы, связанные с переоборудованием общежитий, в планы курсовых проектов или в планы производственной практики студентов. Многие учреждения имеют столярные мастерские, в которых для своих общежитий можно сделать мебель и оборудование. В качестве образцов можно использовать мебель для спальных комнат общежитий, получившую премии и одобренную архитектурно - художественными советами. Рабочие чертежи на эту мебель можно получить в Москве по адресу: Москва, Новомосковская, 6, Центральный институт мебельной промышленности.

☆

Общежитие — это не только комнаты. Это и коридоры, и холлы, и лестницы, и даже подходы к зданию. У нас во дворах, скверах и на панелях принято устраивать симметричные цветники и газоны. Они требуют тщательного ухода, который не всегда легко обеспечить, да и всегда ли это красиво? Может быть, иногда лучше не выравнивать землю бульдозером, как это делается у нас на стройках, а оставить холмы, камни и мягкие очертания, свойственные природе, и среди них посадить группы простых многолетних цветов и кустарников?

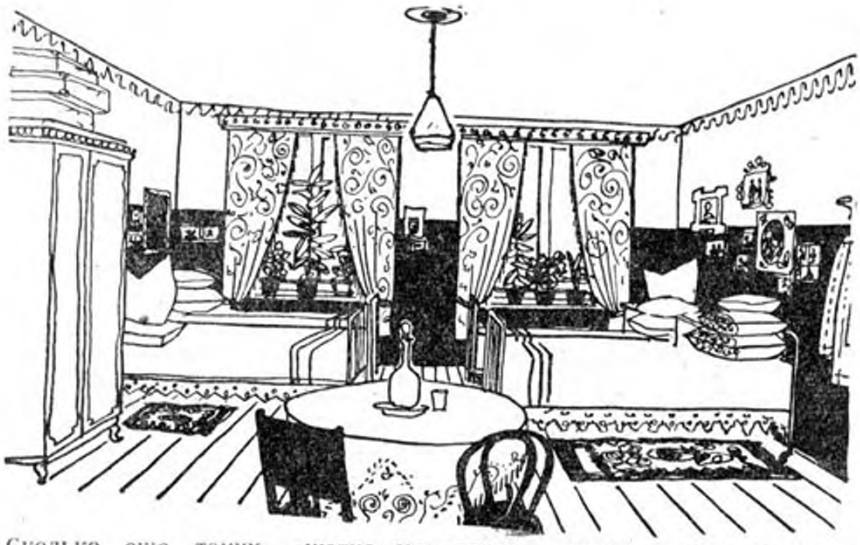
Часто бывает так: прямоугольные газоны, между ними заасфальтированный проход, заставляющий людей обходить углы, строгая надпись: «По газону не ходить!», но люди все равно ходят, потому что так ближе, так естественнее. И через газоны идут тропки, они-то и подсказывают правильную планировку. Люди, проживающие в общежитии, могут красиво и правильно разбить участок перед своим домом. Это не так уж трудно.

☆

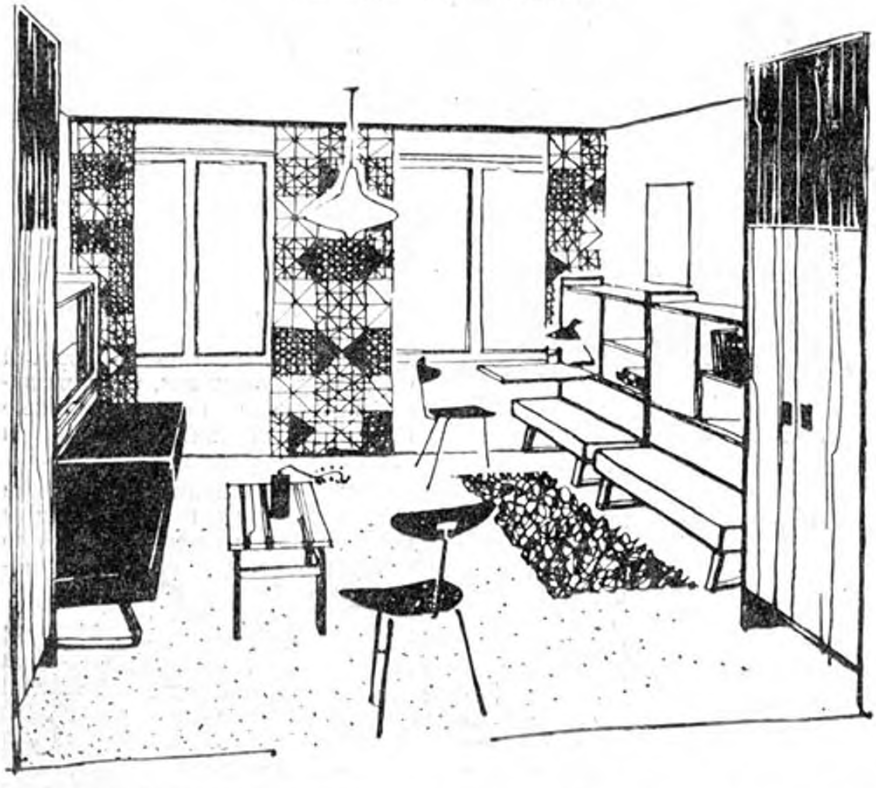
Вход в жилой дом, естественно, должен отличаться от входа в магазин или театр. Заметим, кстати, что дверь в квартиру часто делается у нас, как очень крепкие ворота в индивидуальную крепость, она обивается черным дерматином, ее украшают железные индивидуальные почтовые ящики, таблички и замки.

Вход в общежитие должен быть открытым, приглашающим войти. Нет нужды полностью отгораживать вестибюль от ули-

Двухъярусные кровати, созданные по принципу железнодорожного купе.



Сколько еще таких «уютно»-мещанских комнат можно встретить в молодежных общежитиях!



А вот какой красивой и просторной может стать комната, если приложить немного усилий и вкуса.

цы. Хорошо, когда красивый, яркий вестибюль виден с улицы через большую стеклянную дверь и окно. При этом улица и вестибюль становятся как бы одним пространством. В любую погоду — и летом среди зелени и зимой среди снега — такой вход будет выделяться привлекательным ярким пятном.

✲

Основным украшением вестибюля может быть цвет и один-два красивых плаката. Стена, на которой (или на фоне которой) размещены плакаты, должна быть окрашена в мягкий, нейтральный тон — светло-серый, серовато-бежевый, серовато-голубоватый. Противоположная стена может быть яркой, насыщенной по цвету.

Ни в коем случае не следует вешать на стенах в вестибюлях, на лестницах, в коридорах да и в других помещениях много плакатов. Если их много, внимание человека не сосредоточивается на их содержании, напротив, вы проходите мимо них равнодушно, не замечая ничего, кроме неприятной пестроты.

✲

К оформлению лестниц и коридоров, к сожалению, часто относятся с недопустимым пренебрежением. Между тем они тоже определяют «лицо» дома. На лестнице и в коридоре человек постоянно находится в движении, здесь он не задерживается. Поэтому не надо делать здесь каких-либо сложных украшений или изображений. Чем проще, тем лучше.

Стены на лестничных маршах и площадках могут быть окрашены ярко, контрастными цветами: это будет способствовать бодрому настроению.

Если выбрать для торцовых стен длинного коридора теплые, насыщенные тона (рыжий, желтый, красный), его длина как бы значительно сократится. Двери комнат, выходящих в коридор, также хорошо окрасить в яркие цвета, каждую дверь — в свой цвет. Стены коридора в этом случае лучше сделать светлыми, почти белыми, тогда здесь будет светлее и чище.

✲

Места для курения на лестничных площадках и в коридорах желательно соответственно оборудовать: несколько кресел, стульев, низкий столик с пепельницей. Можно и стену в этом месте окрасить в цвет, отличающийся от других стен.

Если в таком специально оборудованном уголке будет красиво и светло, люди не станут здесь сорить и бросать окурки на пол. Их обяжет к аккуратности сама обстановка.

При переоборудовании общежития хорошо бы изготовить для холла специальную мебель, чтобы можно было быстро превратить его в удобное помещение для самых разнообразных целей. Например, стулья, собранные в ряд, диван, составленный из нескольких кресел, цветочные ящики на роликах позволят быстро и легко разделить холл на зоны или освободить его, скажем, для танцев.

✲

О переоборудовании спальных комнат уже говорилось. Но и в том случае, если новая мебель

не может быть сделана в ближайшее время, все же кое-что можно усовершенствовать немедленно. Стены следует окрасить в мягкий, светлый тон, непременно до потолка.

Если комната длинная, торцовую стену можно окрасить в относительно более теплый и яркий цвет. Если маленькая комната имеет большую высоту, она выглядит неуютно. Но достаточно окрасить потолок в теплый тон — коричневый, желтоватый, розоватый,— как она изменит свой вид. Если в комнате есть уголок, где стоят стол и стулья, часть стены у стола рекомендуется выкрасить в иной цвет, чем остальные стены. Большие безобразные шкафы и некрасивые кровати будут меньше бросаться в глаза, если их цвет будет совпадать с цветом стен.

Занавески, которыми прикрывают одежду, желательно также сделать в цвет стен. А вот для оконной занавеси можно выбрать орнаментированную, интересную ткань, причем очень красиво делать занавеску не только на окно, но и на всю оконную стену. У нас принято покрывать кровати пикейным одеялом. Лучше использовать для этого более легкие цветные ткани, штапельные или хлопчатобумажные. Они легче стираются. Такие ткани могут быть и полосатыми и клетчатыми, но по рисунку и цвету обязательно должны соответствовать окраске стен, штор. Накидка на подушку может быть сделана из той же ткани, что и покрывало, более того: проще и удобнее сделать покрывало на 50 сантиметров длиннее и им же закрывать подушку. Но можно сделать и так, что наиболее яркими пятнами в помещении будут именно подушки. С этой целью на одноцветных покрывалах следует делать подушки двух или трех цветов, для каждой кровати — свой цвет. Например, серо-синие покрывала и малиновые, желтые и зеленые подушки. Однако такое яркое решение заставит все прочие элементы интерьера (пол, занавески) сделать по цвету нейтральными.

✲

При более серьезной переделке общежития в первую очередь следует выкинуть стол и сделать стол-подоконник во всю длину оконной стены. Шкафы отдельные заменить одним общим шкафом, занимающим торцовую стену по ширине и высоте. Часть шкафа может быть открытой, завешанной занавесью.

Наконец, кровати лучше всего сделать откидными. Для этого на стене надо укрепить щиты или доски, которые, кстати, заменят стенные коврики, а к доскам на петлях подвесить рамы с сетками или проклеенной фанерой. К боковым сторонам рамы прикрепляются на осях откидные ножки. Все это можно сделать своими руками.

✲

Наш разговор можно было бы продолжить. Но нам кажется, достаточно и этого, чтобы каждый понял: уют, красота и удобство в общежитии — дело инициативы, упорства, настойчивости тех, кто в нем живет!

ИЗ ЦЫГАНСКОГО ШАТРА — В ШКОЛУ

Молодой ставропольский художник Яков Биценко написал картину «Цыгане в сельской школе». Вот как рассказывает живописец о рождении замысла своего нового произведения: «Я часто и подолгу живал среди цыган. Часами беседовал со стариками и молодыми. Мне очень нравится этот красивый и гордый народ. Новый для них оседлый образ жизни старики приняли не сразу и не легко. А вот молодежь встретила его с радостью. Мне запомнился один эпизод, когда немолодой цыган, поняв, что жизнь на одном месте лучше, чем беспрерывное кочевье, впервые привел своих детей в школу. Этот эпизод и лег в основу моей картины».

Стасис Красаускас.

На стендах «Юности»

ХУДОЖНИК-ПОЭТ

Хорошо, когда изобразительное искусство бывает главной темой за круглым столом литературного журнала.

В редакции «Юности» утвердилась добрая традиция систематически устраивать выставки произведений молодых художников. Недавно таким «именинником» был молодой литовский художник Стасис Красаускас, познакомивший посетителей выставки с оригиналами своих иллюстраций к произведениям поэзии и прозы и показавший свои первые станковые работы, исполненные в технике литографии.

Всегда так бывает: чем сильнее выражены национальные особенности в произведении искусства, тем ярче характеристика таланта художника.

Для того, чтобы до конца понять живопись Сарьяна, надо знать пейзаж Армении. Особенности китайского искусства раскрывают всю свою прелесть, когда познакомишься со страной и народом. Мадонны и младенцы эпохи Возрождения приобретают земную почву, лишь когда посмотришь Италию. А когда сам увидишь закаты солнца на море в Литве, где-либо в районе Паланги, то сразу поймешь, сколько эта особенность местной природы дала сыну литовской земли, замечательному художнику Чюрлионису в его творчестве.

И так всегда и везде. Знакомясь с работами молодого художника Стасиса Красаускаса, прежде всего отмечаешь национальную особенность его творчества. Именно эта черта делает его работы искренними, чувственными, поэтичными и своими.

Искусство неразрывно связано с биографией художника. События минувшей войны, тяжело пережитые художником в юные годы, помогли формированию его мировоззрения в искусстве, определили его любовь к человеку.

Будучи отличным спортсменом, чемпионом Литвы по плаванию, Красаускас наконец нашел свой жизненный путь, став студентом художественного института.

Мы знакомимся с первой самостоятельной работой Красаускаса, его дипломом — гравюрами на дереве к роману Г. Вайжгантаса «Дяди и тети», выполненными им в 1957—1958 годах. В этих работах уже наметились те черты творчества, которые в будущем нашли сильное развитие и определили главное в характере искусства молодого художника — поэтичность и высокую образность в решении каждой выбранной им темы.

Последующие работы — гравюры на дереве к поэме Ю. Марцинкявичуса «Кровь и пепел» — это уже следующий шаг художника в закреплении опыта решения идейно-композиционных задач в работе над иллюстрацией.

В дальнейших работах — к поэме Э. Межелайтиса «Человек», к «Реквиему» Р. Рождественского — мы

С. Красаускас. Юность. Литография.

С. Красаускас.

Иллюстрация к поэме Ю. Марцинкявичуса «Кровь и пепел».

Гравюра на дереве.

замечаем, как художник уже более четко формирует свое самостоятельное понимание пластических задач в гравюрах, обязанных жить одной жизнью с текстом книги, помогающих раскрыть идейно-образный смысл темы. Думается, что возвышенная метафоричность поэзии Межелайтиса помогла С. Красаускасу в его поисках новых средств графического выражения.

Эти работы отличаются предельной лаконичностью и содержат, как мне кажется, созвучный поэме ритм. Рисунки воспринимаешь не так умом, как сердцем. Они очень масштабны в своей образной силе и выразительны в графической фактуре, в иллюзорности передачи многих деталей.

Хорошо, что после уже вышедшей в свет книги Межелайтиса «Человек» художник не прекратил своих поисков, а сумел дополнить и развить сделанный им цикл рисунков целым рядом новых работ. Сейчас Государственное издательство художественной литературы выпускает новое издание этой книги, с более полным циклом иллюстраций.

Недавно среди скульпторов был конкурс на проект монумента «Завоевание советским человеком космоса». Из всех представленных работ не было ни одной, которая удовлетворила бы своим решением высокие требования этой идеи.

Думается, что эта тема в решении графики ничуть не легче. Тем отраднее отметить, что Стасис Красаускас в своей литографии «К звездам» весьма скупыми средствами достиг большой выразительности. Это — художественное произведение большой силы. Оно заслуживает отдельного издания.

Самым удачным листом среди последних работ художника можно считать литографию «Юность». Уверен, что среди молодежи всех континентов эта литография будет принята и любима так же, как и голубка Пикассо. В тему «Юность» автор вложил всю душевность своего таланта, всю пылкую и нежную любовь молодости. В произведении есть мудрое соединение самых высоких благ жизни — природы и человека. Линейное решение рисунка очень музыкально и напевно.

Когда воспринимаешь всю тонкость творческого решения этого красивого листа, особенно ценно и существенно знать, что автор этой девичьей нежности искусства — человек высокого роста, сильных и больших рук, большой физической силы, художник-поэт Стасис Красаускас.

Н. ЖУКОВ,
народный художник РСФСР

*

На обсуждение выставки С. Красаускаса пришли прозаики и поэты, художники и искусствоведы, студенты московских вузов. Около семидесяти человек собралось в конференц-зале редакции.

Обсуждение открыл член редколлегии художник В. ГОРЯЕВ. Он представил всем молодого литовского графика и кратко охарактеризовал его творчество.

С. Красаускас.

Иллюстрация к сборнику стихов Э. Межелайтиса «Кардиограмма».

Гравюра на дереве.

С. Красаускас.

Иллюстрация к сборнику стихов Э. Межелайтиса «Кардиограмма».

Гравюра на дереве.

Вслед за ним выступил художник ЯР-КРАВЧЕНКО. «Красаускас — художник большого темперамента. За каждой его работой стоит мир больших человеческих чувств. И я рад, что встретился с этим художником, с его произведениями». Этими словами один из старейших графиков высказал общее мнение собравшихся.

О мастерстве Красаускаса, о технике исполнения отдельных работ говорили художники А. МОГИЛЕВСКИЙ, Р. САЧЛЯН, искусствоведы В. СИНЕЛЬНИКОВ, П. АФАНАСЬЕВ, критик З. БОГУСЛАВСКАЯ, польский журналист Я. МЫСЛИК.

Говоря о творчестве литовского графика, поэт Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ заметил: «Каждую свою новую работу Красаускас как бы продавливает сквозь сердце. Я не согласен с теми, кто говорит, что он уже все нашел. Красаускас не нашел. Он ищет, и я уверен, что до конца он так и не найдет, потому что, как только скажет: «Я нашел!»—кончится художник».

Очень подробно проанализировал национальные истоки творчества С. Красаускаса, его связь с народным искусством, с творчеством великого литовского художника Чюрлиониса поэт Б. СЛУЦКИЙ.

В последнее время, как бы в противовес некоторым помпезно-лакировочным произведениям, созданным в эпоху культа личности, кое-кто из молодых художников ударился в другую крайность: изображать нашего современника подчеркнуто угловатым, грубым. Красаускас не пошел по этому легкому и неправильному пути. Пластичностью своих линий он все время старается подчеркнуть большую духовную и физическую красоту советского человека. Об этой его особенности подробно говорил график И. ОБРОСОВ.

Критик И. ВАСИЛЬЕВ в своем выступлении подчеркнул тяготение литовского графика к реалистической символике. Творчество С. Красаускаса полно жизнеутверждающей романтики, характерной для лучших произведений нашего искусства, нашей литературы.

В заключение несколько слов сказал С. КРАСАУСКАС. Поблагодарив всех присутствующих, он заявил: «Мне легче говорить языком моих произведений, чем выступать. Поэтому и в будущем на все ваши пожелания и замечания я отвечу своими новыми работами».

С. Красаускас.

Иллюстрация к поэме Э. Межелайтиса «Человек».

Гравюра на дереве.

Наука и техника

Борис ЕГОРОВ,

ЧЕЛОВЕК В КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ

Развитие космонавтики не дошло еще до такого совершенства, когда подготовка к путешествию заключается в выписке командировочного удостоверения, упаковке чемоданов и прощании с друзьями.

Сегодня далеко не каждый человек способен перенести все «тяготы» космического путешествия. Трудно перечислить все требования, которые предъявляет к космонавту такой полет, и еще труднее найти человека, подходящего для этой цели.

В космосе побывали четыре советских космонавта, а желающих, судя по письмам, десятки тысяч. Эти письма приходят со всего земного шара, от людей самых различных национальностей, самых различных убеждений. Они написаны на тетрадных листах и отпечатаны на машинке, но их объединяет одно — страстная жажда быть полезным науке, готовность отдать все силы, даже самую жизнь для разгадки тайн космоса. И вот начинается экзамен. Перед отборочной медицинской комиссией стоит человек. Никто не знает, что ожидает его, когда он будет осваивать космические трассы. Ясно одно: у него должно быть железное здоровье, умение ориентироваться в любой обстановке, твердый характер.

Хирурги, терапевты, невропатологи, психиатры, психологи и врачи других специальностей самым тщательным образом исследуют кандидата в космонавты. Но вот первый этап позади. Начинается второй этап. Кандидатов ждут испытательные стенды, на которых можно определить, как люди переносят те условия космического полета, которые можно хотя бы приближенно создать на Земле.

Центрифуга, воспроизводящая перегрузки во время разгона и торможения космического корабля; вибростенд, на котором испытывается устойчивость организма к вибрациям, возникающим при работе ракетного двигателя; барокамера, где человека «поднимают» на большую высоту, исследуя приспособляемость его организма к пониженному давлению воздуха и кислородному голоданию; качели и вращающиеся стенды для оценки работоспособности вестибулярного аппарата, позволяющего человеку даже с закрытыми глазами определять свое положение в пространстве. Во время всех этих испытаний у кандидата в космонавты регистрируются биотоки сердца — снимается электрокардиограмма, биотоки мозга — электроэнцефалограмма, давление крови и много других показателей, позволяющих заметить даже самые незначительные отклонения от нормы. Начинается подготовка к полету. Она включает в себя занятия спортом по программе, намного более широкой, чем та, по которой тренируются многоборцы. Космонавты занимаются гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми. За ними наблюдают врачи.

Параллельно с подготовкой космонавтов идет подготовка космического корабля. Инженеры, создающие корабль, обращаются к врачам с массой вопросов, касающихся расположения приборов в корабле, устройства кресла космонавта, допустимых вибраций, создаваемых работающими двигателями. Некоторые из этих вопросов пока мало изучены. Один из них — устранение вредного влияния перегрузок при разгоне и торможении космического корабля.

Трудно разорвать узы земного притяжения. С каждой секундой ускорение движущегося корабля растет. Космонавт с такой силой вдавлен в кресло, что не может поднять руки. Огромная нагрузка падает на сердце, которому при-

Материал организован Агентством печати «Новости» (АПН) по просьбе «Юности».

ходится перекачивать кровь, ставшую во много раз «тяжелее». Кровь скапливается в одной части тела, в то время как ткани другой ощущают жестокий недостаток крови, несущей кислород, необходимый для нормальной жизнедеятельности организма.

Предлагались самые различные способы борьбы с грозным следствием воздействия перегрузки. К. Э. Циолковский одним из первых заинтересовался этим явлением и предложил помещать человека в кабину с водой. Перемещаясь в том же направлении, что и кровь, вода будет уравнивать нарастающее извне давление, препятствовать смещению и накоплению крови и тем самым облегчит работу сердца. Этот вариант интересен, но малоприемлем, так как на отправку такого количества воды в космос придется затрачивать слишком много мощности двигателей, не говоря уже о неудобствах для космонавта.

Выдвигались и другие, правда, не столь удачные предложения. Один изобретатель предлагал закрепить на оси кресло и крутить его вместе с космонавтом; доказывалось, что при этом кровь не будет скопляться в какой-то одной части тела. Но упускалось из виду, что вращение человека в течение нескольких минут, да еще под действием перегрузки само по себе может привести к очень тяжелым последствиям.

В настоящее время для борьбы с последствиями перегрузки применяются специальные противоперегрузочные костюмы, принцип действия которых очень сходен с принципом действия кабины, заполненной водой.

Но вот разгон окончен, и корабль вышел на орбиту. Стихает рев двигателей, и наступает новое состояние, совершенно необычное для наших земных условий,— невесомость. Вот как описывает этот переход наш космонавт Г. С. Титов. «Первое, что я почувствовал,— это то, что нахожусь в кабине вниз головой».

Трудно сказать, конечно, где в космосе верх, а где низ, но чем же объясняется такое ощущение космонавта? Это сказал свое слово так называемый отолитовый аппарат. Чувствительный орган, расположенный в области среднего уха, отолитовый аппарат представляет собой желатинообразную пластинку с кристаллами, укрепленную в волосках, выходящих из нервных клеток. Вся эта система погружена в жидкость. Когда мы стоим на земле, пластинка давит на волоски, и в головной мозг поступает сигнал о том, что человек находится в вертикальном положении, вниз ногами. Если человек расположен вниз головой, то пластинка оттягивает волоски, и в мозг идет соответствующий сигнал. В состоянии невесомости на пластинку (ее принято называть отолитовой мембраной) не действует притяжение Земли. Поэтому в мозг поступает неправильная информация о положении человека в пространстве. За этим на первый взгляд безобидным явлением, к которому еще можно привыкнуть, скрывается другое, более серьезное и доставляющее особенно много беспокойства вра-

Шестикратная перегрузка. Страшная тяжесть наваливается на человека. Каждая часть человеческого тела становится в шесть раз тяжелее, чем обычно.

чам. Свободное положение отолитовой мембраны способствует наступлению состояния, близкого по своим признакам к так называемой «морской болезни». Точная причина этого явления пока не установлена.

Другим сюрпризом, который несет в себе невесомость, является почти полная разгрузка сердечно-сосудистой и мышечной систем. Невольно вспоминается роман А. Беляева «Звезда КЭЦ», где упоминается о старом ученом-астрономе, который после длительного пребывания в невесомости уже не может больше жить в нормальных условиях. Его сердце не выдержит нагрузки, которую создает обычная сила земного тяготения. Его мышцы совершенно не смогут работать. Чтобы избежать этого явления, космонавтам во время полета придется много заниматься физкультурой. Есть еще один путь — создание искусственной силы тяжести. Часто можно видеть проекты межпланетных станций, выполненных в виде гигантского колеса. «Обод» этого колеса — жилые помещения, лаборатории, подсобные помещения. Колесо медленно вращается вокруг своей оси. Центробежная сила, возникающая при этом, заменит привычную для нас силу притяжения Земли.

Но допустим, что и этот вопрос решен. Космический корабль движется по своей орбите. Искусственная сила тяжести, кондиционированный воздух, вкусная пища делают условия пребывания в корабле очень похожими на обычную земную обстановку. Однако представим себе длительный межпланетный полет. Проходит первый месяц полета, второй, третий, а до цели еще очень далеко. Небольшой экипаж — пилот, астроном, инженер, биолог и врач. Однообразная обстановка. Сравнительно тесная кабина. И в такой обстановке проходят месяцы и годы!

Не секрет, что даже очень хорошие люди часто не могут ужиться в одной квартире. Не случайно альпинисты, создавая группу для сложного восхождения, отправляются сначала вместе на небольшое восхождение. Это называется — восхождение на «схоженность». Главная цель при этом — определить, как каждый из членов группы держит себя по отношению к коллективу. Скажем, один привык ходить быстро, другой — медленно, смогут ли они найти компромиссное решение?

Возьмем другой пример. Два человека, взявшись за руки, переходят дорогу. Внезапно перед ними появляется автомобиль. Один бросается вперед, таща за руку другого, а тот тянет первого назад. В результате возможен несчастный случай.

Вот почему ученым пришлось заняться групповой психологией. При помощи специальных методов подбираются члены экипажа, которых, с точки зрения альпиниста, можно было бы назвать «схоженными».

Наконец утомительное путешествие закончено. Оно продолжалось очень долго... Но как быть, если на преодоление космических расстояний не хватает человеческой жизни? Неужели человечество всегда будет ограничено этим в своих исканиях? У космической медицины есть ответ на этот вопрос. Правда, работа находится только в начальной стадии, но уже и сейчас имеются определенные достижения.

Анабиоз — искусственное замедление обменных процессов в организме. Это понятие часто встречается в научно-фантастических романах.

Корабль лег на курс. Штурман последний раз проверил программу полета, включил космический автопилот, и команда корабля ложится в ванны со специальной жидкостью. Внутрь приняты необходимые препараты; наступает глубокий сон. Управление кораблем взяли в свои руки умные автоматы. Температура тела космонавтов постепенно снижается, замедляются и все обменные процессы. В таком состоянии человек намного может пережить свою возможную жизнь.

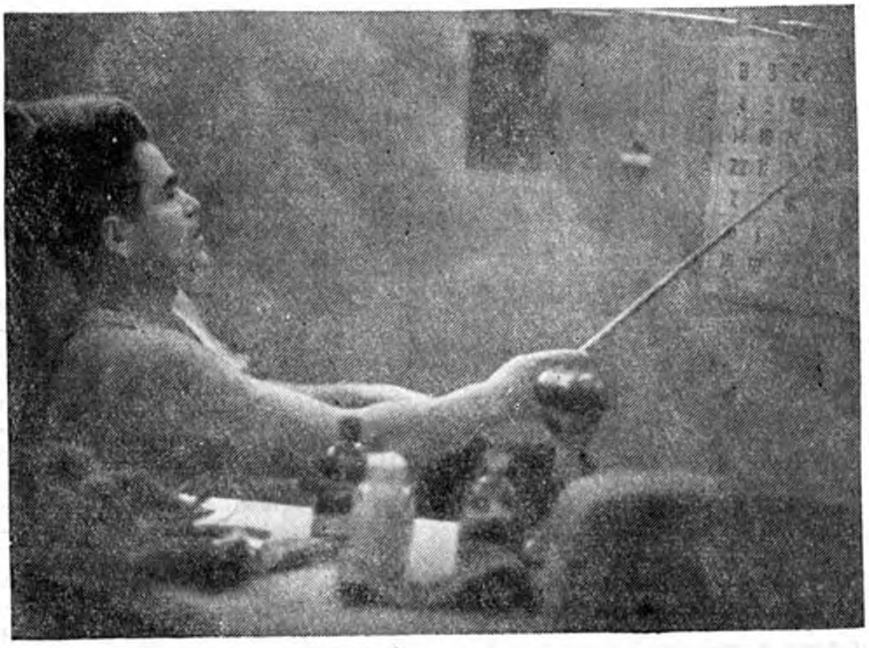
Пока эти исследования ведутся в лабораториях, на животных. Уже сейчас обменные процессы у теплокровного животного можно замедлить в 4—5 раз, а это означает, что оно проживет, точнее, проспит, несколько своих жизней.

То же произойдет и с человеком, находящимся в состоянии анабиоза. В нужный момент автоматы постепенно начнут выводить космонавтов из этого состояния.

Длительный путь позади, и корабль приближается к цели. Корабль начинает торможение и выходит на орбиту вокруг неизведанной планеты. Во многих научно-фантастических романах описывается посадка кораблей на поверхность планет солнечной системы и даже других галактик. Много написано о страшных чудовищах, населяющих эти планеты, о вулканах и озерах расплавленной лавы, о хищных растениях, пожирающих зазевавшихся космонавтов, но мало где рассказывается о трудной борьбе человека с другими врагами, пожалуй, еще более страшными, чем растения-людоеды и электрические динозавры. Эти враги не видны и не слышны, их не уничтожить выстрелами атомных пистолетов.

Это микроорганизмы.

Органическая жизнь столь многообразна в своем развитии, что сейчас невозможно даже приблизительно предсказать, с какими формами жизни столкнется человечество на других планетах. Вот почему посадка на планету возможна только после очень тщательной санитарно-эпидемиологической разведки. Ведь если даже допустить, что экипаж космического корабля сумеет избежать инфекции, то на скафандрах, на образцах растений и минералов эта инфекция может быть занесена на Землю, где она вызовет опаснейшие эпидемии совершенно неведомых болезней. Поэтому перед высадкой людей на другую планету туда сядет автоматическая «санитарно-эпидемическая станция», несущая на своем борту подопытных животных, радиоуправляемое лабораторное оборудование. Но этого мало. Трудно сказать, как будет налажена борьба с болезнями, имеющими длительный скрытый период. Для примера можно назвать проказу — заболевание, которое в нашей стране практически не встречается. Скрытый период от заражения человека до появления первых признаков болезни продолжается иногда до 20 лет.



Длительное одиночество. Проходят сутки за сутками. За стенами сурдокамеры кипит жизнь, а сюда не проникает снаружи ни один звук. Точно по расписанию космонавт выполняет задание психологов (работает с черно-красной таблицей), накладывает электроды для регистрации физиологических функций. Как трудно оставаться наедине с самим собой!

Кстати, о скрытом периоде. А что делать, если экипаж вылетел с Земли, имея на борту человека, который болен, но болезнь находится в стадии скрытого периода?

Да и не только болезни грозят космонавтам. Встреча с метеоритом может повредить корабль, неведомый пояс радиации может вызвать у экипажа лучевую болезнь. Тут-то на помощь медицине и приходит радиотехника.

Уже сейчас, наблюдая за состоянием космонавта в полете, регистрируют частоту его дыхания и пульса, биотоки сердца и мозга, температуру тела, температуру и состав воздуха в кабине корабля. Все эти данные собираются соответствующими датчиками, расположенными непосредственно на теле космонавта и на стенах кабины. Сигналы от них поступают по телеметрической линии на Землю, где за этими жизненно важными показателями неотступно наблюдают врачи. Но размещенные на теле космонавта датчики имеют провода, а это очень мешает вставать, передвигаться по кабине, заниматься физкультурой. На помощь приходит так называемая «малая телеметрия».

Представьте себе миниатюрный прибор, находящийся в кармане и совмещающий в себе усилитель и передатчик. Космонавт легко передвигается по кабине, а чувствительные приемники следят за сигналами этого аппарата, которые с помощью «большой телеметрии» передаются на Землю. Таким образом можно следить за деятельностью сердца, мозга, за дыханием. Такие аппараты уже применяются в «земной» практике. В литературе описывался, например, аппарат (радиопилюля) для исследования желудочно-кишечного тракта именно таким образом. Аппарат, созданный для этой цели, имеет размеры приблизительно медицинской пилюли и легко глотается человеком. Он позволяет регистрировать движение стенок желудка и кислотность желудочного сока. На Выставке достижений народного хозяйства демонстрировался шлем с небольшой антенной, которым пользуются для

регистрации работы сердца у бегунов.

Но, допустим, врачи на Земле приняли сигналы телеметрии, говорящие о том, что космонавту требуется медицинская помощь. Хорошо, если корабль не успел далеко улететь от Земли и его можно сравнительно быстро вернуть назад. А как быть, если на возвращение корабля требуются месяцы?

Представьте себе пистолет, только несколько больших размеров, чем обычный, и стреляющий не пулями, а очень сильной струей воздуха, смешанного с необходимым лекарством. Такой пистолет тоже демонстрировался на Выставке достижений народного хозяйства. Это безыгольчатый инъектор. Введение лекарств с его помощью — совершенно безболезненная процедура. Такой аппарат легко может быть установлен в кресле космонавта. Самые различные препараты разместятся в барабане пистолета-шприца. В нужный момент сигнал с Земли повернет барабан с лекарственными препаратами. Второй сигнал включит безыгольчатый инъектор, и в организм космонавта поступят необходимые препараты.

Что касается очень дальних полетов, когда на работе телеметрии начинают сказываться помехи и на Землю могут прийти искаженные данные, то на борту корабля заработает электронная диагностическая машина, объединенная с лечебным креслом. В этом кресле человек обследуется самым тщательным образом, и машина, основываясь на полученных данных, находит наилучший вариант лечения больного. Но тут необходимо отметить одно обстоятельство. Можно подумать, будто такая машина полностью заменит врача на космическом корабле. Нет! Но врач-космонавт, имеющий такую машину, окажется во много раз сильнее вооруженным против самых различных человеческих недугов.

На корабле должен быть чистый и свежий воздух, поступающий из регенерационной (восстанавливающей) установки. Эта установка непрерывно поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. Подобные установки применяются на подводных лодках. Недостаток ее в том, что продолжительность работы установки ограничена. В конце концов она превращается в балласт, в то время как космонавты будут страдать от удушья. Выход подсказывает биология.

В биологии известно большое количество растений, «работающих» подобно регенерационной установке. Одним из них является хлорелла. Кроме того, что она способна очистить воздух в космическом корабле, хлорелла с успехом может быть использована в качестве пищи. На вкус жареная хлорелла напоминает что-то среднее между сухарями и жареными грибами, а так как она очень быстро развивается, то излишки хлореллы войдут в меню на космических кораблях.

Человек покидает космический корабль и выходит на поверхность чужой планеты. Если на планете есть атмосфера, то она прочным щитом закроет человека от космической радиации, холода, космической ночи, когда температура доходит до сотен градусов ниже нуля.

Представьте себе лунную станцию. Станция на Луне будет необходима как ракетодром для полетов к дальним планетам, так как у нее нет атмосферы, мешающей космическим кораблям, и сила притяжения в шесть раз меньше земной. Следовательно, гигантский корабль израсходует на разгон во много раз меньше топлива.

Как будет передвигаться по лунным пустыням человек? Еще лет десять назад космический скафандр представлялся тяжелой металлической одеждой наподобие рыцарских доспехов. Скафандр, при изготовлении которого были бы широко применены современные синтетические материалы, способен выдержать почти полный вакуум. Для защиты от холода он может прогреваться подающимся внутрь теплым воздухом, а для автономного скафандра, позволяющего совершать лунные экспедиции, может применяться электрический обогрев.

Давайте заглянем в будущее. Новые открытия, которые будут сделаны физиками, химиками, физиологами, несомненно, облегчат человечеству путь к звездам.

Физики упорно работают над покорением неведомых сил природы. Одной из проблем, которая уже сейчас стала на повестку дня, является природа гравитации (силы притяжения). Подумайте, какие перспективы открыло бы разрешение этой проблемы! Первым о такой возможности написал в научно-фантастическом романе «Первые люди на Луне» Герберт Уэллс. Его герой путешествует с помощью открытого им материала — каворита, который не подчиняется законам земного тяготения.

Представьте себе огромный корабль с установкой, уничтожающей силы земного притяжения. Для вывода такого корабля на орбиту потребуется мизерная мощность. С другой стороны, во время полета в условиях невесомости эта установка сможет воспроизводить силу тяжести, что, конечно, значительно упростит разрешение задач, которые ставит перед медициной пребывание человека в условиях невесомости.

Все описанные здесь проблемы, несомненно, со временем будут разрешены. Определенные сроки трудно назвать. Вы помните, как осторожно наши ученые говорили о полете человека в космос после запуска первого спутника Земли. Называли ближайшее десятилетие, но наука и техника движутся такими темпами, что такой полет стал возможен через четыре года.

Бурное развитие космонавтики требует от человечества огромных усилий. Несомненно, в этом деле большая роль принадлежит молодежи. К этой работе можно готовить себя уже со школьной скамьи. Нельзя замыкаться в какой-либо одной области человеческих познаний. Это, естественно, не значит, что надо знать все. Но если вы инженер, не отворачивайтесь от биологии, если вы врач, не пугайтесь математики и физики!

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Антал ГИДАШ

ПОВЕСТНИК ВЕКА

Снимок 1931 года.

Антал Гидаш — выдающийся венгерский революционный поэт и прозаик. Родился в 1899 году. После разгрома первой Венгерской пролетарской революции вынужден был эмигрировать, затем возвратился в Венгрию, а потом снова эмигрировал. С 1925 года жил в СССР, а в последние годы снова вернулся на родину. Перевел на венгерский язык ряд лучших произведений советских поэтов и был создателем антологии советской поэзии на венгерском языке.

В печатаемой ниже статье, являющейся сокращенным вариантом предисловия к сборнику его произведений на русском языке, Антал Гидаш рассказывает молодым читателям о времени и о себе.

Я одних лет с веком. Не говорите, что это много!

Еще столько надо написать, и именно мне, человеку, который тащит за собой целые вагоны пережитого. Об этом вряд ли напишет кто-нибудь другой, и не потому, что таланта не хватит, а потому, что каждый пережил свое и по-своему. Мое поколение разве что издали может показаться кому-то однообразным лесом; приглядись к нему и увидишь: у каждого дерева свой силуэт, каждое дерево по-своему тянется к небу.

Я сержусь на свой век. Полными черпаками отвалил он нам тяжелые испытания, а мне досталось, пожалуй, даже сверх «лимита», хотя я не привык брать из общего котла больше, чем положено по справедливости.

Люблю свой век. Самозабвенно и горячо. Спасибо ему, что не закутал меня в пуховое одеяло, что и в радости и в беде я мог быть всегда с народом.

Поэтому, стоя у зеркала — а делаю я это раз в день во время бритья, — смотрю на себя с чистой совестью. Краснеть не приходится.

1

Родился я в Венгрии, недалеко от Будапешта, в местечке Геделле. Отец мой выучился сапожному ремеслу, и, честно говоря, неважно: мы, дети, испытали это на собственных ногах. Мать до замужества жила в прислугах. Она превосходно готовила, было бы только из чего.

Мой отец служил рядовым в первую мировую войну и вернулся домой в большом чине: капитан преподнес ему звание капрала. Пусть, мол, радуется! Отец вернулся с оружием в руках, так что в венгерскую пролетарскую революцию ему не пришлось даже снаряжаться — прямо пошел служить в красную милицию. В ту пору ему было сорок девять лет. Он охранял Государственный банк. И хорошо охранял. А Венгерская Советская республика все равно пала. Не он был этому виной. Он-то с удовольствием прожил бы при венгерской Советской власти еще лет тридцать — сорок. Ведь и при Хорти жил еще двадцать пять лет, хотя и нахлебался горя. Одно его всегда спасало — чувство юмора. До сих пор рассказывают: где бы он ни появился — в романе я с него писал господина Фицека, — всюду через несколько минут воцарялось веселье, хотя, если задуматься хорошенько, он не всегда толковал о веселых вещах. Умер он семидесяти четырех лет от роду.

2

Парламент венгерских господ преподнес из геделлейских земель восемнадцать тысяч гектаров... только не мне, а королю... Кроме того, подарил ему дворец комнат этак на сто, в которых его величество нуждался наверняка больше меня. До той поры у него было лишь во-

семьсот семьдесят комнат, он привык к ним и мечтал уже о новых. А я так и не успел привыкнуть к своей колыбельке-корытцу, что стояло в углу комнаты, ибо мастерскую отца в Геделле постепенно стали обходить даже башмаки, нуждавшиеся в починке, и нашей семье пришлось перебраться в Пешт. Мне исполнился тогда год.

Детство мое ничем не отличалось от детства других таких же детишек с окраины. В марте мы бегали уже босиком, и только в октябре возвращали нам башмаки, которые все это время дремали друг на дружке в сундуке.

После того, как я окончил четыре класса, отец, по настоянию учителя,— мол, способный мальчик, жаль, если пропадет,— записал меня в реальное училище. Покачивая головой, положил он на равнодушный директорский стол семнадцать золотых крон. Несколько месяцев ходил я в училище, и мне было очень худо среди хорошо одетых мальчиков из зажиточных семейств. Но и тут вскоре повезло: школа потребовала еще восемьдесят крон платы за обучение. Отец не то чтобы изменил своему решению, но как раз в это время в семье у нас разразился небольшой экономический кризис, и пришлось меня взять из реального училища. Счастливый, вернулся я к «своим» в начальную школу.

Потом пошла чехарда. Я попал в городское училище, затем, два года спустя, сдавал снова экзамены в реальное. Поступил в пятый класс. Но опять не мог ужиться с более знатными учениками, хотя к этому времени приобрел уже изрядный опыт подростка. И, наконец, в 1917 году меня выгнали окончательно, изящно: провалили по стольким предметам и так изувечили отметку по поведению, что я никогда больше не мог попасть в среднюю школу. И я плюнул на все. Но позднее все-таки с болью вспоминал, как жестоко обошлись со мной.

На этом и закончилось мое официальное образование.

3

Однако прежде чем продолжить, я хочу рассказать, что уже девяти лет от роду помогал соседу-бакалейщику взвешивать муку, насыпать сахар, таскать дрова. Тогда я впервые получил жалованье — тридцать крайцаров в неделю. Мать похвалила меня, а отец сказал, что «это тоже помощь для такой семьи».

С четырнадцати лет я репетировал ребят, родители которых были богаче моих родителей, а ребята глупее меня. Только поздно вечером попадал я домой и, смертельно усталый, принимался наконец репетировать себя. Но уже даром. А как говорится, «мясо даром — не жди навара»,— и я чаще всего засыпал над книжкой. Потом, забравшись под одеяло, каждый раз давал себе зарок: встану на рассвете и выучу уроки. Но даже грохота землетрясения было бы мало, чтобы я открыл до времени свои усталые глаза.

Пятнадцати лет, в летние каникулы, увеличенные во время войны, я пошел работать на консервный завод,— увеличились-то ведь не только каникулы, но и цены на продукты. Шестнадцати лет работал в фирме Лорда и К°. Там впервые познакомился с русскими; это были военнопленные. В семнадцать лет стоял на консервном заводе возле автомата и неделю днем, неделю ночью по одиннадцать часов подряд нажимал на педаль. Работа шла в две смены.

И одновременно мечтал стать композитором.

4

В 1914 году на оружейном заводе я вступил в профсоюз металлистов, и могу сказать, что с тех пор участвую в рабочем движении. В 1919 году вступил в объединившуюся тогда с социал-демократами Коммунистическую партию. Но я считаю, что участвую в рабочем движении с 1918 года, с тех пор, как сознательно пришел в профсоюзную организацию и заполнил заявление о приеме; а партийный свой стаж исчисляю с 1921 года — со времени своей первой эмиграции, когда, сознательно произведя выбор между двумя партиями, вступил не в социал-демократическую, а в учрежденную тогда Коммунистическую партию Чехословакии.

Я принадлежу к тому поколению венгерцев, которые осознали себя коммунистами в дни падения Венгерской Советской республики. Тогда поняли мы, что потеряли, и присягнули на борьбу (еще и не зная, как бороться) за новую, Советскую Венгрию. И тогда начали мы, прячась от чужого глаза, по-настоящему, от доски до доски, читать «Государство и революцию» Ленина и «Чего хотят коммунисты?» Бела Куна. В те дни повторяли мы вслед за ним: «Не позволим обрезать крылья пролетарской революции».

5

Недавно я ездил в Чехословакию. Хотел навестить те места, где работал в начале двадцатых годов, в дни своей первой эмиграции, посетить старую Рожахедьскую бумажную фабрику, Лечский кирпичный завод, чепешреметскую лесопилку. Приехал и ничего не нашел. Повсюду новые заводы, новые предприятия, новые рабочие поселки.

В Рожахеде я нашел старое здание полицейской управы — ныне там техникум,— некогда в подвале помещалась тюрьма, в которую сорок два года назад меня впихнули два жандарма. Пострадал я за свою новеллу. Эту рожахедьскую тюремную камеру будто выписали из скверного романа: крохотные узенькие оконца, прутья решеток толщиной в руку. Сквозь пыльное стекло видны были только ноги прохожих и доносился глухой стук каблуков. В камере стояли деревянные нары, у окна тесаный, но уже потемневший от времени стол, на столе жестяной кувшин и кружка. Возле стола шаткая табуретка, на которой сидел и я, склонив голову и уставившись в одну точку.

Теперь, сорок два года спустя, стоял я у подвального оконца. Полумрак. Пустота. Смотрю, ищу того кудрявого юношу, который наблюдал за улицей сквозь железные решетки. И не нахожу его. Ушел, видно, куда-то и не вернулся. А ведь я помню его очень обязательным человеком. Так почему же он не явился на свидание? Должен был знать, что ради него посетил я эти края.

...Весной 1921 года я продавал газеты в Кошице, радуясь тому, что могу кричать на улицах во всю глотку. Потом поступил на службу в издательскую контору. Стал одним из руководителей Рабочей культурной организации Кошицы. Летом по воскресеньям мы собирали тысячи рабочих ребятишек и вели их на прогулку. Каждая такая прогулка рожда-

ла новую песню. Песни эти писал я.

Осенью в большом зале рабочего общежития мы начали ставить пьесы. «Писать их будем коллективно, имени авторов не укажем»,— предложил я, считая, что авторская слава писателю-коммунисту не под стать. И написали несколько пьес. В пьесе «Белый террор!», кроме хора, было шестнадцать действующих лиц. Диалоги сочинил я, но, чтобы не нарушить принципа коллективности, несколько монологов поручил написать другим.

Одновременно писал и футуристические стихи. Про одно из них, напечатанное в Вене, братиславский еженедельник «Тюз» («Огонь») опубликовал статью на целую полосу, в которой утверждалось, что автор стихотворения просто сумасшедший. Я только пожимал плечами.

Революция во всем: в жизни, в быту, а стало быть, и в искусстве. Революция формы — таковы были лозунги. Тогда это было всемирным течением — и до известной поры закономерным и плодотворным, несмотря на возникавшие у разных художников различные «излишества» и «перегибы». Ведь позднее, когда у революционных художников содержание стало более целеустремленным и целенаправленным, оно прибрало к рукам разнуздавшуюся форму, дисциплинировало ее. Но новая гармония, создавшаяся в результате этих процессов, породила новые стихи, совсем иные, чем уже надоевшие до зевоты, процветавшие повсюду символистские вирши.

Разумеется, это не был единообразный процесс, однако такой же или аналогичный путь проделали почти все революционные поэты — ровесники века: Элюар, Арагон, Бехер, Брехт, Ясенский, Хикмет и, наконец, гениальный поэт пролетарской революции Маяковский, вышедший по-настоящему победителем в этой «революции во всем». Новее и революционнее его в поэзии не было и до сих пор нет никого.

Мне думается, таким же путем, каким шли мы в свое время, стремятся идти и многие современные молодые советские поэты. Они не желают и не могут идти по протоптанным рифмами и размерами дорогам. Они хотят, чтобы новое содержание их стихов шагало по новым дорогам, в новых башмаках. И они правы. Чтобы урожай был богатым, литературная земля требует тоже плодосменной системы — смены слов, образов, рифм, размеров.

А. М. Горький и А. Б. Халатов (тогда — директор ОГИЗа) с группой иностранных писателей. Слева: Джованни Джерманетто (Италия), А. Б. Халатов, А. М. Горький, Иоганнес Бехер (Германия), Бела Иллеш и Антал Гидаш (Венгрия). Снимок 1931 года.

Но довольно о литературе. Я, страстно любящий красоту, никогда не писал ради того, чтобы писать «красиво». Для меня слово — орудие. И чем прекраснее слово, тем оно могущественней, как орудие, как кариатида, поддерживающая идею, ту идею, что, встав обеими ногами на почву факта, очистившись от налипшей грязи, поможет выполнить задачу, поставленную перед человечеством в 1917 году.

6

...В декабре 1923 года, после трех с половиной лет жизни в Чехословакии, я снова вернулся в Венгрию. Почти два года был на легальной и нелегальной партийной работе, одновременно, разумеется, зарабатывая себе на жизнь. Легально я руководил культурной организацией Венгерской социалистической рабочей партии, действовавшей под руководством коммунистов.

В хортистской Венгрии устраивать вечера для рабочих, ставить пьесы можно было только с предварительного разрешения полиции и цензуры. А для репетиции разрешения полиции не требовалось. Вот мы и вышли из положения: постоянно устраивали в разных районах Будапешта генеральные репетиции, предварительно позаботившись о том, чтобы на них собиралось как можно больше народу. Думаю, что в Будапеште ни до этого, ни после этого — хитрость наша в конце концов была разгадана — не проводилось столько генеральных репетиций, как в ту пору.

Чтобы обеспечить себя свободой передвижения, я поступил рекламным агентом в какую-то фирму. Целый день колесил я по городу, зарабатывая деньги и выполняя подпольные поручения, словом, работал не только ради того, чтобы прожить, но и ради того, чтобы изменить жизнь к лучшему.

В 1924 году я закончил свой первый сборник стихов «На земле контрреволюции». О том, чтобы он вышел в Венгрии, и думать не приходилось. Попади только рукопись в лапы властей, мне тут же выдали бы в виде гонорара пять — десять лет тюрьмы. И вот я перепечатал стихи на папиросной бумаге; подпольный товарищ, с которым я был связан, отвез их в Вену на Первый съезд Комму-

нистической партии Венгрии и передал Бела Куну.

Бела Кун прочел и тут же среди участников конгресса приступил к сбору денег для издания книги. А так как под угрозой ареста мне пришлось бежать из Венгрии, месяц спустя я был уже в Вене и правил корректуру. Это был единственный тогда сборник венгерского поэта, изданный Коммунистической партией Венгрии. Большей награды я с тех пор не получал.

Из Вены партия командировала меня в Берлин. Там я встретился и разговаривал впервые с руководителем Венгерской Советской республики и венгерского коммунистического движения Бела Куном.

В небольшой квартире глухого пролетарского района Берлина собралось подпольное Заграничное бюро Коммунистической партии Венгрии. Весь вечер читал я свои стихи и пел свои песни. Только много позднее понял я, почему слушали меня, словно оцепенев, почему были так взволнованы и почему так часто застилались влагой глаза: к ним, уже шесть лет прожившим в эмиграции, пришел кусок революционной Венгрии.

И было принято решение, что я поеду учиться в Москву, потом, некоторое время спустя, нелегально вернусь на родину, в Венгрию.

— Некоторое время? — спросил я. — А сколько это примерно?

— Год или два, — ответил Бела Кун.

— Много!

И вместо одного или двух лет вышло тридцать четыре...

7

Трудное, горестное, иногда почти непереносимое чувство — тоска по родине.

Выпасть из области родного языка, покинуть родные пейзажи, песни, людей, родителей, друзей, родное рабочее движение — все это нелегко. И если я все-таки нашел свое место, остался здоровым душой и телом, то лишь потому, что в Советском Союзе в те годы слово «политэмигрант» произносилось с большим почтением, чем, скажем, при Николае I слово «маркиз».

И это была не только видимость. Мы состояли в одной партии с советскими товарищами. Вместе работали. С трогательной нежностью поправляли они нас, когда мы коверкали русский язык, любуясь нами, словно детьми, которые учат свои первые слова. Мы стояли рядом у станков, сидели рядом за письменными столами. У нас была единая цель. Мы вместе боролись за пятилетку и вместе — те, что остались живы, — шли против фашистов в Отечественную войну.

Нас обязывали к этому традиции, великое прошлое: в гражданскую войну около ста тысяч венгерских интернационалистов шли с красными знаменами против белогвардейцев и войск интервентов.

...Помню, в 1930 году мы с Василием Павловичем Ильенковым поехали делегатами на конференцию уральских пролетарских писателей. По дороге Ильенков заговорил о том, что у нас нет марша пятилетки и что надо бы его написать (Ильенкову было известно, что в Музгизе вышло уже несколько моих венгерских революционных песен и маршей, что они исполнялись и по радио).

Когда поезд мчал нас обратно из Свердловска в Москву, марш был готов.

Редколлегия журнала «Октябрь» — Панферов, Ильенков, Горбатов и другие — торжественной свитой пошли провожать меня в Музгиз.

А год спустя марш уже пели школьники и рабочие, его пели на торжественных заседаниях, демонстрациях, им открывали парад на Красной площади. Куда бы я ни шел, везде слышал:

Гудит, ломая скалы,
ударный труд!

8

Вскоре после моего прибытия в СССР, в начале 1926 года, был учрежден Союз венгерских революционных писателей и художников с центром в Москве. Я стал его секретарем. Одновременно работал в Институте Маркса — Энгельса, где был «обладателем» трех тысяч томов венгерского кабинета.

С 1929 года редактировал вместе с моим незабываемым другом Бруно Ясенским журнал «Интернациональная литература», выходивший на четырех языках, и работал в секретариате Международного объединения революционных писателей.

Я объехал всю Советскую страну. Куда только не приходилось ездить!..

Мало кто из «иностранных» писателей сроднился настолько с советской литературой и с ее творцами, как я. Они были моими друзьями. Те, что живы и поныне, — мои друзья. Только очень больно сжимается сердце каждый раз, как подумаю о тех, кто уже ушел, — о Фадееве, Заболоцком, Луговском, Уткине, Павленко, Багрицком, Голодном, и о тех, кто ушел совсем иначе, — о грузине Тициане Табидзе, армянине Эгише Чаренце, осетине Чермене Безизове, поляке Бруно Ясенском... Не буду больше называть имен. Их много. Но я всегда чувствую, что эти люди унесли с собой кусок меня, кусок моей жизни.

Мне их всегда недостает. И особенно, когда хожу по Москве, по Переделкину, где прожил столько лет.

Утешает, что кое-кто из нас, знающих и любящих друг друга уже много лет, еще существует, еще живет на свете. И пусть они работают в Москве, а я в Венгрии, и пусть наши жизни прошли по разным извилинам дорог, мы все-таки вместе бьемся ради одной цели.

И я счастлив, когда встречаю их: Тихонова, Мартынова, Суркова, Щипачева, Корнея и Николая Чуковских, Всеволода Иванова, Книпович, Санникова — упоминаю лишь тех писателей старшего поколения, с кем давно дружен и кто остался ближе мне. Сколько воспоминаний, какая жизнь, какая судьба связывает меня с ними прочней любых связей!

Рассказать ли о первомайских, ноябрьских праздниках, о встречах Нового года, которые в послевоенное время мы всегда с какой-то почти суеверной радостью проводили у Тихоновых, не ведая даже, как мы еще молоды. По двадцать, тридцать человек сидело всю ночь за столом, и даже в очень трудные, подчас гнетущие времена рассказывали только веселые истории, читали стихи, пели песни — революционные, старые и новые, русские, украинские, венгерские, немецкие, итальянские, словацкие. В эти новогодние ночи у Тихоновых как бы заседал конгресс Интернационала песен.

Многие произведения, написанные моими друзьями, так близки мне, будто я сам их написал. Рассказать об этом?

Так что ж, прежде всего о Мартынове, с которым мы, словно по ритуалу, встречались каждый день, и он вдохновенно бормотал нам свои стихи, не только уже написанные, но и те, что как раз рождались. Каждое его стихотворение для меня не только стихотворение, но и веха нашей общей жизни.

А сколько раз читал Фадеев еще «тепленькие» главы из «Последнего из удэге», потом из «Молодой гвардии», которую так и прочел всю от начала до конца, главу за главой; довелось мне, правда, уже с некоторым трагическим ощущением, прослушать и главы из «Черной металлургии»...

А как часто слушал я только вот-вот написанные стихи Тихонова, и сколько раз случалось мне в ответ на свое «Хорошо!» слышать его сердитое и подозрительное «Почему?».

А Заболоцкий? Там, на берегу Оки, в Тарусе, провели мы несколько лет вместе, встречаясь по два, а то и по три раза на дню. Сколько раз проходил я мимо деревянного домика, прислушиваясь к стуку пишущей машинки под пальцами уже очень больного поэта! Иногда наступала пауза. Казалось, даже машинка вздохнула. А я проходил дальше, боясь помешать ему. Успокоенный, думал: все в порядке, здоров, пишет.

Или рассказать о Луговском, который, выложив на стол дюжину грозно отточенных карандашей, торопливо, словно чувствуя, что времени уже мало, писал в Переделкине «Синюю весну», стихи о нашей романтической революционной юности и любви. Взволнованный, приходил он вечерами к нам и читал тихим, но все-таки громовым голосом эти стихи, подмигивая нам, словно сообщникам: «Вы-то понимаете!»

Или вспомнить то, о чем и не забыть никогда,— те пять слов Суркова: «Ручаюсь головой и партийным билетом!»,— которые он написал обо мне в ту пору, когда за эти пять слов с легкостью мог бы расстаться и с головой и с партийным билетом.

Рассказать ли об Асееве, о том, как он приглашал к себе на дачу, на Николину Гору, Маяковского. И в эти напряженные дни лета 1925 года каждый вечер по застекленной веранде асеевской дачи шагал Маяковский — «двухметроворостый», «горлан и главарь», величайший поэт современности, ребенок, юноша и вечно взрывающийся добряк, страстный ненавистник мещанства и буржуазности, трагический оптимист — одним словом, Маяковский.

Мате Залка, Антал Гидаш, Бела Иллеш. Снимок 1928 года.

Или вспомнить 1928 год. Крым и маленького восьмилетнего Сережу, который удивленно смотрел во все глаза на меня, «венгерского поэта», и решил, что тоже станет поэтом, и стал поэтом — Сергеем Наровчатовым.

А очень милого Самойлова, Слуцкого... И приходили еще более молодые, которых и сейчас вспоминаю очень часто, читая их стихи. И в воображении своем хожу по московским бульварам, в сиянии электрических лун, просвечивающих сквозь июньскую листву...

Вспомнить ли Дальний Восток, дом отдыха на 19-м километре, где как-то однажды после обеда, крикнув «Скоро вернемся!», Фадеев повел меня гулять. И мы шли-шли по тайге. Он рассказывал о волочаевских делах, о Спасске, о своей юности, и так за разговорами мы через четыре часа оказались вдруг во Владивостоке. Вошли в город, как и те партизаны, о которых рассказывал он.

И как не вспомнить мне молодого украинца Максима Фадеевича Рыльского, который в конце 1927 года в Гагре, гуляя со мной под пальмами в солнечный, но все же грустный для меня день, хотел непременно подарить мне свою папаху, потому что, мол, «и Тарас Шевченко носил такую».

И я ясно вижу ту лачужку на Колыме, возле реки Хета, где Илья Павлович Мармажов (лучшего человека я не встречал), выпив, спрашивал у висевшего на стене портрета Сталина:

«Что ты делаешь? Ну, скажи, что ты делаешь?»

Многое и многие проходят у меня перед глазами.

Да, жаль, что все еще не нашли такое искусственное волокно, которым можно было бы привязать годы юности, чтобы они не уходили, «как Азорские острова». Неужто кто-нибудь думает, что это было больно только Маяковскому?

9

Кстати, о Маяковском... Это он сказал: «Землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя».

Для меня, кроме Венгрии, есть и советская земля, которую я вовек не смогу разлюбить.

На протяжении тридцати четырех лет моей жизни музыку моих радостей сочинял советский народ. За горести же в ответе не он. 1917 год я считаю днем своего рождения. Без него я был бы не я, а кто-то другой, которого я и представить себе не могу.

В последнее время частенько доходит до меня, что кое-кто из молодежи считает всех нас, все наше поколение ответственным за период культа личности. Опрометчивое суждение. Похожее на те быстрые и необоснованные приговоры, что выносились именно в период культа личности. Нельзя об одной из сложнейших эпох мировой истории судить и делать выводы без основательного изучения уже известных фактов (а сколько еще неизвестных!), без настоящего анализа общественно-исторических событий. Элементарные поиски злой или доброй воли никогда еще не приводили к раскрытию истины. Вопрос об ответственности — гораздо более сложный вопрос, но уж коли заговорили о нем, так вот что мне хочется сказать: помимо того, что тысячи из нас и из тех, кто старше нас, сами пострадали, но уж раз всех нас призывают к ответу и к ответственности, я скажу, что мы отвечаем, но не только за дурное, а и за хорошее. Мы и предыдущие поколения совершили Октябрьскую революцию; платили кровью и побеждали в гражданскую войну; вместе с более молодыми поколениями тащили на плечах пятилетние планы. Мы и предыдущие поколения, да и те, что моложе нас, шли вместе сокрушать гитлеровский кошмар, спасать от него не только Советский Союз, но и весь мир; и, наконец, мы и поколение старше нас были в первую очередь зачинщиками ликвидации периода произвола и беззакония.

И все-таки я с радостью прислушиваюсь к задиристым голосам молодежи. Дело ведь не в диссонирующих звуках — они улетят. Но в их голосах я слышу звуки зрелого гуманизма нового мира, который создается с таким трудом.

Это новое поколение — наши дети, дети революции. Жить, бороться ради них стоило. И мы, творцы всего и ответчики за все, за них тоже охотно отвечаем.

10

А вадцати шести лет уехал я из Венгрии и шестидесяти вернулся снова на ту землю, язык, песни, людей которой мало того, что не забывал никогда, но в сиянии дали, в огне тоски по родине она казалась мне все более прекрасной, более сверкающей, и я все больше любил ее.

А так как, по-моему, бездейственная любовь — только пустое толчение воды в ступе, то я вместе с моей женой и товарищем по работе, Агнесою Кун, создал у себя в Москве небольшую Венгрию.

И в квартире на улице Фурманова родилось на свет множество книг венгерских прозаиков и поэтов, которые заговорили по-русски устами лучших русских советских поэтов.

Поистине символическая картина: на улице, названной именем русского писателя-интернационалиста Фурманова, где на одной стороне висит его мемориальная доска, а на другой — мемориальная доска венгерского писателя, героя русской и испанской гражданской войн Мате Залка,— на этой улице и возродились к жизни на русском языке, языке мирового значения, труды венгерских классиков.

Сколько радости и удовлетворения испытали мы за эти почти полтора десятка лет напряженного труда! С тех пор, как существует венгерская литература, никогда еще поэты другой страны не отдавали ей столько любви и таланта.

Три года живу я у себя на родине. Наблюдаю за окружающим миром, за солнечным сиянием, за весной, зимой, за возникающими иногда бурями.

Пишу. Для того, чтобы моему народу да и всем людям лучше жилось на свете. Именно с этим стремлением я написал до сих пор все, что было порождено: те песни, что уже тридцать — сорок лет поют у меня на родине, те стихи, что печатались анонимно или под псевдонимом,— ибо во времена Хорти на мое имя в Венгрии было наложено вето,— те стихи, что печатались и попадали даже в школьные учебники, но уже под моей фамилией в Советском Союзе, а теперь и в Венгрии.

Я много переводил. Русских классиков — от Державина до Маяковского; современных советских поэтов — от Твардовского до Мартынова и Евтушенко. И первым перевел на венгерский язык то, что мне ближе всего,— «Кобзаря» Тараса Шевченко.

Написал я и много статей о венгерской литературе и книгу о Шандоре Петефи, который мне и поныне дороже всех поэтов.

И написал роман «Господин Фицек».

А теперь закончил два других романа — «Мартон и его друзья» и «Другая музыка нужна».

Я начал их писать лет десять тому назад на берегу Москвы-реки, продолжал на берегу Оки, а сейчас закончил на берегу Дуная.

Я попытался рассказать о своем поколении и о своей юности, но не потому, что я уж очень люблю показывать себя, а потому, что хотелось мне, чтобы новые поколения увидели, узнали и полюбили нас.

Мне шестьдесят три года. Старым я себя не чувствую, хотя тело и ворчит иногда, не желая подчиняться душе, в которой все еще нет «ни одного седого волоса». И я сержусь на него.

А все-таки, молодые мои читатели, девушки и юноши, я прихожу к вам с предложением: давайте соберемся вместе, и вы увидите, что я все еще не уступлю вам ни в пении, ни в веселье, ни в воинственности, ни в способности мечтать. Да и голос у меня еще не будет дребезжать, когда я затяну ту песню, которую услышал впервые почти сорок лет назад:

Ты, моряк, красивый сам
собою...

Будапешт.
Октябрь 1962 года.

Спорт

М. ТАРТАКОВСКИЙ

«АКРОБАТИКА» ИЛИ «ЧИСТАЯ» ГИМНАСТИКА?

Фото В. Тутова.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА СТАНОВИТСЯ ТЕСНО

Помню, лет десять назад, когда я только начинал заниматься спортивной журналистикой, на московском стадионе «Динамо» в перерыве футбольного матча перед тысячами зрителей выступал гимнаст. Он выполнял вольные движения. Выражаясь специальной терминологией, то была необычная произвольная комбинация.

Спортсмен взлетал над несуществующей планкой и наносил боксерские удары условному противнику, метал невидимое копье и бросался наперерез воображаемому мячу, он «греб» без весел, даже «плавал»... Гимнаст бил «молотом», ставил рвущийся на ветру «парус» и тянул мокрые, тяжелые «сети». А все вместе это были гимнастические вольные упражнения. Правда, несложные — в силу первого разряда. Но дело не в этом. Спортсмен словно говорил своими движениями: смотрите, как всеобъемлюща гимнастика! Она азбука всех прочих видов спорта, и она готовит к труду.

Математику часто называют царицей наук. Гимнастика в спорте, как математика в точных науках,— основа всего. И успехи советских спортсменов в других видах были во многом предопределены триумфом нашей гимнастики.

Долгие годы о советской гимнастике за рубежами нашей страны вообще ничего не знали. На весь мир славились чехи, немцы, швейцарцы, шведы. И соответственно были гимнастические школы — чешская, шведская... Но вот перед Великой Отечественной войной советские гимнасты впервые выступили на международных соревнованиях в Антверпене и победили. Победитель, заслуженный мастер спорта Дмитриев, теперь видный киевский тренер, был, кстати, и отличным футболистом.

Лариса Латынина.

На Олимпийских играх мы выступили впервые в 1952 году в Хельсинки, и с «золотым итогом». В Мельбурне — тоже. И на первенствах мира в 1954 и в 1958 годах.

Весь мир заговорил о советской школе гимнастики. Ее анализировали, сравнивали, даже копировали. Помнится, на первенстве мира в 1958 году зарубежные тренеры были во всеоружии — с непременной записной книжкой и фотоаппаратом с набором объективов. А частенько и с кинокамерой. Особенно «тяжеловооруженными» выглядели японцы. Их можно было увидеть на любой нашей тренировке.

Но надо сказать, что тогда, на чемпионате, японцы уже мало в чем уступали нашим гимнастам. Если в Хельсинки они оказались пятыми, то в Мельбурне уже перебрались на второе место и прочно на нем закрепились. И все-таки продолжали учиться. Все лучшие советские выступления проходили под непрерывное жужжание их кинокамер. Представьте, как там, на далеких островах, дотошно разбирался каждый привезенный кадр.

Уже на Олимпийских играх 1960 года в Риме японские мужчины гимнасты выиграли в командном зачете. На Пражском первенстве мира 1962 года — тоже.

В целом в Праге наши достижения таковы: абсолютными чем-

пионами стали советские спортсмены Лариса Латынина и Юрий Титов. Выигранных медалей у нас куда больше, чем у японцев. Однако в гимнастике мы перестали быть недосягаемыми.

Впереди — Олимпиада на земле наших соперников, в Токио. Совсем недавно японцы совершили турне по Европе. Это была разведка перед встречей в Токио. Олимпиада 1964 года может преподнести нам такие же неожиданности, какими наши гимнасты сами некогда удивили мировой спорт. Чтобы быть готовыми к ним, предстоит решить задачи со многими неизвестными. Этим и заняты сегодня наши тренеры, физиологи, спортсмены.

Так отдыхали японские спортсмены в перерыве между выступлениями.

СУДЬИ СРАВНИВАЮТ

Отвлечемся теперь от распределения мест и медалей — полученных и недополученных. Выясним сначала, что же все-таки произошло за последние годы в гимнастике.

Призовите на помощь воображение (иногда достаточно детали, чтобы дорисовать целое). Вот он, пражский помост, на котором состязались сильнейшие. Так вот, представьте себе глаза судей вровень с краями этого помоста. Гимнаст, куда ни оглянется, видит эти глаза — внимательные, спокойные, думающие. Судьи похожи на литературных критиков. В конечном счете им тоже «нравится» или «не нравится», и в зависимости от этого они оценивают движения спортсмена. Но в отличие от своих литературных собратьев эти спортивные «критики» присутствуют непосредственно при создании «произведения» и оценивают его тут же, на ходу. Здесь не существует чернового варианта. В редких случаях гимнаст поднимает руку, беря вторую попытку.

Творя, спортсмен должен забыть о следящих за ним глазах, должен чувствовать себя непринужденно, свободно, легко. Может быть, улыбаться. Судьи частенько повышают оценку «за улыбку». Легкоатлет во время состязания не задумывается над тем, красив ли его бег. Метая диск, он не заботится о грациозности сильного и резкого поворота тела. Важнее ведь другое: судьи смотрят на поле, где упадет брошенный снаряд, а потом замерят результат рулеткой. Задача гимнастики другая — наглядно продемонстрировать ловкость, силу, красоту человеческого тела.

Однако вернемся к судьям, следящим за выступлениями на помосте. Только что они видели советского спортсмена — четкие, отработанные, может быть, несколько сухие движения, строго оттянуты носки, высоко поднята голова, развернуты плечи. Ничего не скажешь, отличная, проверенная школа! Даже с оттенком академизма. Разумно составленная комбинация, не придерешься: есть необходимые сложные элементы, есть и полегче. Некоторые плавные движения руками и стандартные выпады вроде бы и ни к чему, но выполнено чисто — балла не сбросишь. Может, комбинация слишком «безаварийная»? Но и состязания ответственные, международные. Не всякий рискнет блеснуть каверзным трюком: недолго и сорваться. Есть в выступлении и элемент акробатики. Правда, в умеренных дозах. Впрочем, для советского гимнаста акробатика — соседний, пусть даже близкий вид спорта, но другой.

Судьи смотрят, оценивают. Зрители хлопают.

Но вот на помост поднимается следующий гимнаст, иной школы. Он и держится как-то мягче, расслабленней. И плечи чуть сближены, спина немного сутулится, словно от избытка мышц,— так естественнее. Руки свободно опущены, не напряжены. Гимнаст и в движении такой — скорее ловкий, чем сильный. Но смотрите: этот маленький смуглый спортсмен не зря держится с такой кошачьей мягкостью: так удобнее. В одно мгновение в точно выбранной точке маха он подбирается, как пружина, словно выстреливает собой высоко над снарядом. Высокий взлет — эффектный, красивый! — дает возможность завертеть не простое сальто, а двойное. Гимнастика? Да. Но подготовка спортсмена акробатическая.

Гимнаст «классической» школы привык к снаряду. Он все время ощущает эту жесткую опору и рассчитывает на нее. Акробат, как и прыгун в воду, управляет своим телом в безопорном пространстве. Гимнаст с акробатической подготовкой и на снаряде использует прежде всего не силу мышц (хотя и без силы, конечно, не обойтись), а мах, темп, инерцию движения.

Однако продолжим наши наблюдения за судьями, оценивающими работу «акробата». Да, они заметили чуть согнутые в коленях ноги, недостаточно, быть может, оттянутые носки. И некоторую (возьмем это слово в кавычки) «разболтанность» тоже видели. Но в целом комбинация была столь рискованной, трюковой... И артистично показанной. Вот за эту оригинальность, за блеск судьи (а тем более зрители) прощают незначительные промахи.

Да, недостаточно выполнять упражнения только чисто. В гимнастике нет абсолютно объективных результатов в секундах, метрах или килограммах. Можно, пожалуй, сказать, что в гимнастике важно «понравиться» судьям. Когда в гимнастике говорят «смотрится», значит, красиво, эффектно, значит, публика в зале ахнет в какой-то момент и приподымется с мест.

Чаще всего пражская публика

«ахала» во время выступлений японцев.

Они предложили прежде всего свой ритм. Сложнейшие движения подавались неожиданно, быстро, за счет коротких — взрывных — усилий мышц. Затем пауза, отдых. И — не всегда уследишь — новый «взрыв», допустим, сальто прогнувшись. Причем падение, как в затяжном прыжке парашютиста, продолжается до последнего момента — вот-вот гимнаст падет на голову. Но почти неуловимое, кошачье движение — и он уже переводит дыхание, распластавшись на ковре в поперечном шпагате.

Короче, вольные упражнения японцев были набором внезапных акробатических трюков. Именно в этих движениях наши соперники и создали тот запас баллов, который позволил им прийти к финишу первыми.

Перекладина и брусья волнуют зрителей внезапными «страшными» моментами. Началось выступление. Один элемент логично вытекает из другого. Но вот гимнаст отпускает обе руки... Сорвется! Нет, все рассчитано. По затаенному дыханию зала чувствуешь, что упражнение рискованное. И, конечно, прощаешь гимнасту, если ноги его не так уж «привязаны» одна к другой.

Даже в кольца, исконно будто бы силовой снаряд, японцы внесли мягкость, маховые движения. Считалось: накрутил на этом снаряде «кучу крестов» — и хорошо. Теперь такая работа кажется грубой.

Еще после Мельбурна поговаривали, что опорные прыжки — отживающий вид. Обязательные прыжки одинаковы — так уж положено. Но и в произвольных — ничего нового, одно и то же из года в год. Харухиро Ямасита — автор оригинального прыжка, по существу, сальто вперед с толчком руками. Опять акробатика? Да, пожалуй. И что-то от прыжков в воду. Изобретение принесло автору серебряную медаль в Праге. Теперь так и называют — «прыжок Ямасита». Вылет высоко над конем. Точное приземление.

Вообще наши соперники непревзойдены в искусстве приземления. Они останавливаются как вкопанные, точно врастают в пол. Это помогает им «зарабатывать» высокие баллы даже в труднейших для них махах на коне с ручками. Ведь именно конец венчает дело.

СПОР У ПОМОСТА

Споры, разгоревшиеся у помоста, перешли на газетные страницы. Отзвуки теоретического боя проникли, разумеется, и в тренировочные залы и в аудитории физкультурных институтов. Кто «прав»? Мы или японцы? Кто победит там, на близких уже Олимпийских играх,— «чистый» гимнаст или «акробат»?

В нашей стране акробатика, художественная и спортивная гимнастика — эти три вида спорта существуют на равных правах. Разыгрываются первенства, есть чемпионы в каждом из этих видов. Но, по сути, эта троица «воистину едина». Без акробатических прыжков нет вольных гимнастических упражнений. Грациозность, экспрессия, выразительность художественной гимнастики необходимы и в спортивной. Специальные занятия с женщинами-«спортивницами» проводят тренеры-«художественницы».

Существовать ли по-прежнему этим трем столь тесно переплетенным видам или бросить все на алтарь олимпийской спортивной гимнастики?

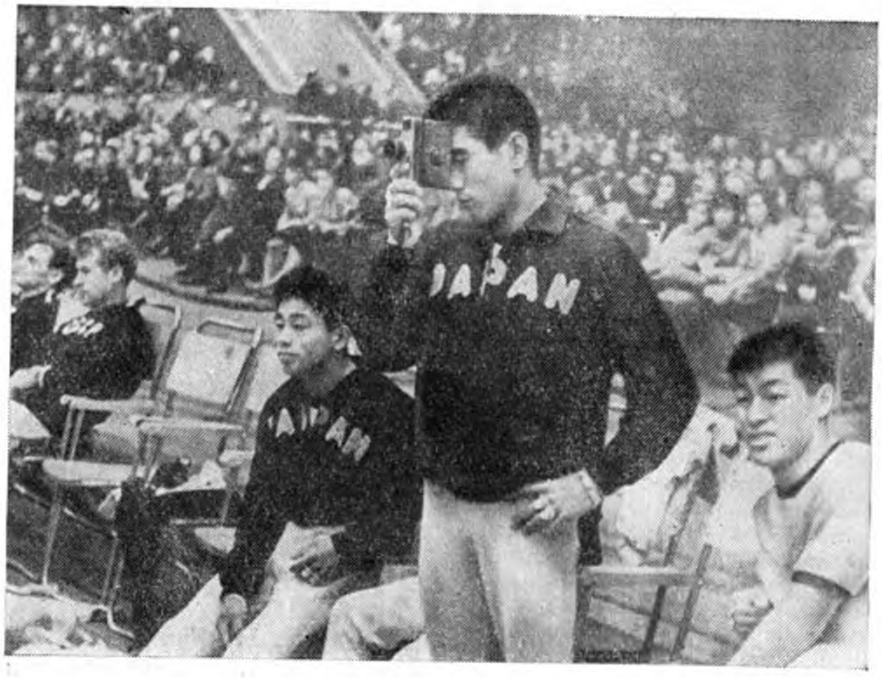
В женской гимнастике наши позиции тверже. Но тоже далеко не абсолютны. Киевлянка Лариса Латынина четвертый раз подряд выиграла золотую медаль сильнейшей гимнастки мира. Факт в спорте необыкновенный. Большие надежды возлагали мы также на Ирину Первушину, но «серебро» досталось не ей, а чешке Вере Чаславска.

Две медали — два стиля. Латынина грациозна, с широкими, свободными движениями. Она может и помедлить кое-где, «показать себя» — знает секрет изящества. Чехословацкая гимнастка — вся бурный ритм, неутомимость, атлетизм. Помню одно ее выступление. Зал был озадачен. «Простите, она по мужской программе выступает?» — спросил меня кто-то.

Неужели плавность движений, подчеркнутая женственность и мягкость отходят у гимнасток на второй план? Нет. Чаславска подобрала комбинации индивидуально, выигрышно именно для себя, ни для кого больше. Она «предъявила» личные, только ей присущие козыри: резкость, выносливость, юный задор. Ей ведь только двадцать... И все же... Я листаю ее спортивную биографию: «...занималась балетом, фигурным катанием на коньках...» Вот оно: «...несколько лет увлекалась акробатикой...»

Лично я верю в Первушину. В ней все неожиданность, начиная с манеры держаться. Вот она в алюминиевом кресле у помоста — ожидает своей очереди. Бесстрастное, неподвижное лицо, глаза полузакрыты. Почти с тем же скучающим выражением она начинает комбинацию на брусьях. Сорвалась в самом начале. От внезапности случившегося даже схватилась руками за голову. Но, спохватившись, тут же начала новый элемент, не менее сложный, чем тот, на котором споткнулась. Она с подъемом заканчивает упражне-

Полина Астахова ожидает своего выхода.



Японские спортсмены и тренеры очень внимательно следят за выступлениями наших гимнастов.

ние и, спускаясь по лесенке к своему креслицу, поправляет на голове сложную прическу. Даже потеряв балл при падении, Ирина стала тогда лидером соревнований. «Сфинкс»,— говорят о ней. Да, она может преподнести сюрприз.

Я отдаю предпочтение этой гимнастке из Воронежа еще и потому, что верю в ее тренера Ю. Э. Штукмана. Тренеры по гимнастике вообще немногословны, а этот — один из самых молчаливых. Он предпочитает смотреть. И делать свои выводы. А когда вдруг узнаешь стороной, что тренер неожиданно заинтересовался достижениями артистов цирка, подумываешь, не Чаславска ли тому причиной? Или итальянец Франко Меничелли?

Японцы — главные наши конкуренты. Но ведь есть и другие, не менее опасные в упражнениях на отдельных снарядах. Мы очень немного знаем о гимнастах США. Известно, что в отличие от своих европейских коллег многие из них специализируются в одном виде гимнастического многоборья. Такие «узкие специалисты» выполняют фантастические по сложности упражнения, превосходящие иной раз комбинации чемпионов мира. Что мешает им появиться на олимпийском помосте?

Так вот, Франко Меничелли тоже предпочитает один вид — вольные упражнения. И здесь известная французская спортивная газета «Экип» считает его непревзойденным, а бронзовую медаль, которую он получил, объясняет лишь консерватизмом судей.

О Меничелли специалисты пишут в превосходной степени, окружая его имя восклицательными знаками. Во время выступления этот гимнаст больше был в воздухе, чем на ковре. Он не знал пауз. Вместо суставов, казалось, у него вставлены шарниры. «Что это, гимнастика будущего?» — спрашивали себя специалисты.

Нет, это тоже акробатика.

О СИНТЕЗЕ И НЕМНОГО... О ПРОШЛОМ

Прежде чем делать какие-либо выводы, послушаем, что говорит внимательно следивший за мировым чемпионатом 1962 года президент Международной федерации гимнастики г-н Ш. Тони: «Советские гимнасты продемонстрировали детально продуманные комбинации, мысленно доведенные спортсменами до конца, что в гимнастике особенно важно. Упражнения гимнастов СССР безупречны, выполняются с идеальной точностью и изяществом. Японцы более склонны к риску, их комбинации включают по пять-шесть элементов наивысшей трудности, что очень эффектно, но стихийно, и я считаю, что советская школа представляет бо́льшую ценность в спортивном отношении».

Но и теперь не следует торопиться с выводами. Дослушаем мнение президента: «Хочу добавить, что лишь один гимнаст в Праге идеально сочетал черты обеих этих школ — исключительную трудность комбинаций с очень уверенным, продуманным до конца их выполнением. Это Мирослав Церар, которого я считаю лучшим гимнастом Пражского турнира».

Теперь вывод ясен: нам нельзя отказываться от того, что уже достигнуто советской гимнастикой. Но мировая гимнастика шагнула на следующую ступень, и этот шаг нашим мастерам надо сделать тоже.

Однако не будем ли мы открывать уже открытое, искать уже некогда пройденную дорогу?

Наших старых мастеров гимнастики вспоминаешь, как читанную книгу,— по стилю, по содержанию выступлений. Давно забыто, кто когда был чемпионом, а выступления помнятся. Я шел в гимнастический зал «смотреть Аджата Ибадулаева», «смотреть Олега Бормоткина или Гранта Шагиняна». Я всегда ожидал чего-то нового и действительно перелистывал следующую страницу гимнастики. Я видел, как «рекордные» элементы, сочиненные этими гимнастами, пытались повторить молодые. Иногда это удавалось. Иногда рождалось новое.

Мне не забыть гимнастический зал в позднее, послетренировочное время, небрежно сидящих на ковре киевских «корифеев».

— А это вы видели? — говорил один из них, поднимался с ковра и в полутемном зале преподносил сюрприз — какой-нибудь трюковый соскок.

Затем спорили, обсуждали.

Были шутливые комбинации, рассчитанные на улыбку зрителя, были тематические, подобные описанной в начале очерка.

Все это прививало огромную культуру движения. О своем виде спорта гимнасты говорили с нежностью. Это было уже не только упражнением для развития мускулатуры, но и школой вкуса, эстетической подготовкой.

И, конечно, пресловутое количество баллов, необходимое для присвоения звания мастера спорта, не было самоцелью. Сейчас у нас мастеров, конечно, куда больше, чем было раньше, но как они похожи друг на друга!

Одно время таблица трудности поощряла сложные комбинации. Теперь рискует лишь тот, кто не надеется попасть в число лидеров, кому терять нечего. А остальные делают ставку на судью — «бухгалтера», который «за сложность не прибавит, а за ошибку сбавит». И строят свои произвольные выступления по принципу «не хватить бы лишнего». Где нет смело-

сти, нет и творчества, а без творчества и вдохновения нет. И награждает зритель выступление вежливой дозой аплодисментов. И пустуют трибуны: старое видено, нового нет.

Были раньше и смотры — конкурсы на лучшую произвольную комбинацию, где гимнаст должен был удивить прежде всего оригинальностью замысла. Где они теперь? Гимнаст ездит с соревнований на соревнования, «работает за команду» — и только.

Говорят, Резерфорд, известный физик, увидев поздно вечером в лаборатории студента, недовольно спросил:

— Работаете?

— Работаю,— ожидая похвалы, ответил студент.

— И рано утром работаете?

— Да...

— И ночью тоже? А когда же вы думаете?

В календаре гимнаста должно быть время обдумать и творчески, интересно построить свои выступления.

У советской гимнастики есть еще одна очень важная задача — вернуть себе былую популярность. Зайдите в любую школу — там господствует только мяч. Круглый веселый мяч — баскетбольный, волейбольный, футбольный. А я все-таки люблю гимнастику. Я вошел однажды в высокий зал с бликами солнца на паркете, увидел гимнастов в спортивных костюмах, которые всегда кажутся праздничными, и подумал: «Как красив может быть человек!»

И очень хочется, чтобы это увидели все.

ШАХМАТЫ

Б. ВАЙНШТЕЙН

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

Турниры и матчи — это лишь форма, в которой проявляется талант шахматистов и ни с чем не сравнимая красота своеобразного шахматного искусства. В этом отношении происходивший прошлым летом турнир претендентов в Кюрасао нельзя назвать первоклассным спектаклем. Во-первых, почему в Кюрасао? Этот небольшой островок в Карибском море, где и населения-то меньше, чем в Черемушках,— что это за арена для крупнейшего международного турнира претендентов? Как видно, здесь решающую роль сыграли денежные дела Международной шахматной федерации. Какие-то «меценаты» финансировали это «мероприятие» для забавы, а может, для рекламы международного транзитного аэропорта. И не случайно один известный своим остроумием гроссмейстер сказал:

— Еще хорошо, что в Кюрасао. Следующий турнир, наверное, будет на острове святой Елены.

Турнир начался с неожиданностей. Едва поднялся занавес, выяснилось, что два фаворита, Таль и Фишер, «не в голосе». Затем на Корчного посыпался град нулей, и он перешел на амплуа неудачника. Третий круг прошел под знаком полного преимущества Кереса, и после шестинедельной утомительной борьбы на авансцене осталась лишь тройка — Геллер, Керес и Петросян.

Завершающий четвертый круг турнира напоминал стрелковое состязание, которое называется «стрельба по бегущему оленю», или нечто подобное. У Кереса под конец дрогнула рука: он промахнулся по «оленю» — впервые в жизни проиграл Бенко (до этого счет был 7 : 0 в пользу советского гроссмейстера). Победителем турнира стал Тигран Петросян — четвертый претендент на первенство мира после Давида Бронштейна, Василия Смыслова и Михаила Таля.

Победа Петросяна иным показалась случайной, но, по существу, она логически завершает пятнадцатилетний этап его творческого пути. Я могу утверждать это как опытный «предсказатель», ибо сразу же после окончания матч-реванша Таль — Ботвинник назвал в печати Петросяна несомненным победителем очередного турнира претендентов. Но в истории шахматного искусства турнир, к сожалению, не оставил заметного следа: слишком уж вяло бились гроссмейстеры, спеша поскорей заключить перемирие. Все партии советских шахматистов между собою, как известно, закончились вничью. Они и сами немного смущены своими творческими результатами. «Но что же делать? — говорят они.— Борьба есть борьба, надо было набирать очки...» Все это так, но ведь и в конкурсе имени Чайковского шла борьба, и успехи участников тоже оценивали по очкам. Приходится с грустью признать, что наши гроссмейстеры не достигли на Кюрасао уровня мастерства Л. Ашкенази...

Турнир претендентов был хорош, пожалуй, лишь тем, что он как бы сдернул завесу с многочисленных недостатков системы отбора кандидатов на первенство мира. О них и раньше не раз говорили в печати.

Зачем, к слову говоря, тянуть три года от одного до другого матча на первенство мира? Столько талантливых шахматистов ждут очереди помериться силами с чемпионом! А годы уходят, обстоятельства меняются. Такие, например, корифеи, как Керес, Решевский, Геллер, так и не сумели сыграть в матче на первенство мира, а значит, и не дали шахматно-

Тигран Петросян.

му искусству максимум того, на что они способны.

Надо сократить период между матчами до двух лет — к такому выводу пришла шахматная федерация СССР. Вместе с тем и порядок отбора в четыре, а то и в пять этапов представляется слишком громоздким. Турнир зональный — межзональный — турнир претендентов — матч на первенство мира, а возможно, еще и матч-реванш — все это слишком изнурительно и представляет собой непосильную нагрузку для воли и нервов человека. Кстати, это лишний раз подтвердила борьба на Кюрасао.

По предложению наших шахматистов Всемирная шахматная федерация решила отбирать претендента на матч с чемпионом мира не в турнире, а в серии матчей по олимпийской системе — с выбыванием проигравших участников. Это значит, что претенденты будут разделены на несколько пар и сыграют, возможно, в разных городах мира, матчи между собой. Победители, как в игре на кубок, снова встретятся по двое и, в конечном счете, выявят достойнейшего претендента.

Решение это продиктовано стремлением еще выше поднять шахматное искусство, дать возможность всем странам активней участвовать в международной шахматной жизни.

Но пока еще до нового цикла отборочных соревнований достаточно далеко, а матч на первенство мира предстоит ранней весной. Какова же будет судьба высшего шахматного титула? Чью улыбку в рамке лаврового венка мы увидим на страницах всех газет и на обложках шахматных журналов?

В основе шахматной силы большинства ведущих шахматистов мира лежит природная способность к быстрому расчету сложных вариантов. Этот дар обычно проявляется в раннем возрасте и принимает порой просто фантастические формы. Я наблюдал игру гроссмейстеров в блицтурнирах на приз газеты «Вечерняя Москва», которые, по существу, являются неофициальными первенствами страны по молниеносной игре. Однажды мне даже удалось записать несколько партий Таля. Он обычно «задумывается» в партии один раз секунд на 30—40, а в остальное время играет со скоростью примерно секунда на ход, включая в эту секунду и перевод часов. И вот что любопытно: анализ сыгранных Талем партий не обнаружил сколько-нибудь существенных ошибок!

Говорят, что это интуиция. Это слово мы применяем, когда выходим за пределы нашего понимания явлений или процессов, но ведь, по существу, оно ничего не объясняет. Доктор физико-математических наук А. С. Кронрод высказал гипотезу, что шахматист за секунду просчитывает несколько тысяч вариантов, а, играя в обычном турнире, остальные сотни секунд тратит лишь на проверку отобранного им лучшего варианта. Один гроссмейстер проверил эту гипотезу. Играя в международном турнире, он сразу же после хода противников записывал свой ответ — первый ход, который приходил ему в голову. Затем он погружался в размышления и в 19 случаях из двадцати делал записанный ход.

Так вот этой способностью быстрого расчета Петросян обладает в высшей мере: он несколько раз был чемпионом Москвы по молниеносной игре, почти не знает цейтнота, а если вдруг ощущает нехватку времени, то играет безупречно. Кроме единственного случая, когда он в Амстердаме подставил ферзя Бронштейну, никто не слышал, чтобы Петросян когда-нибудь «зевнул» или просчитался. И если эта сторона творчества Петросяна не выступает, как у Таля, на первый план в его партиях, то не потому, что он уступает кому-либо из гроссмейстеров в силе интуиции, а лишь потому, что он, как многосторонний шахматист, никогда ее не подчеркивает.

Быстрота реакции проходит с годами. Эта истина справедлива не только в шахматах. Запас полноценных творческих сил, которыми располагает деятель искусства в течение своей жизни, далеко не безграничен. Лопе де Вега, написавший миллионы стихотворных строк, Айвазовский, который оставил 8 тысяч полотен, Мясковский с его 37 симфоническими произведениями — редчайшие исключения в мире искусства.

Михаил Ботвинник.

Шахматная история пока не знает таких исключений. Шахматное долголетие Ласкера, феноменальное постоянство успехов Ботвинника — это прежде всего результат экономного расходования своих сил. Не зная этого, многие шахматисты тратят свой талант с безрассудной расточительностью. Например, молодой шахматист Л. Полугаевский в начале 1962 года участвовал во всесоюзном чемпионате, где занял второе место. В мае он поехал на международный турнир в Аргентину и там завоевал первое место. Оттуда почти без перерыва отправился в Гавану на крупный международный турнир памяти Капабланки, где разделил второе, третье, четвертое места.

Летом Л. Полугаевский участвовал в сильном турнире на первенство общества «Буревестник», где занял первое место, а зимой — снова в чемпионате СССР... А разве Таль играл меньше?

Петросян не таков! Каждое выступление он рассматривает как крупное событие в своей творческой жизни, и если считает себя неподготовленным, никакая сила не заставит его играть. Его норма — примерно два турнира в год; иногда он позволяет себе третий турнир или командный матч. Зато Петросян за всю свою шахматную карьеру не знал неудач. За последние десять лет он однажды был чемпионом СССР, два раза зани-

мал второе место, четыре раза играл в межзональных турнирах и всегда выходил в турнир претендентов, где также выбирал место в верхней половине таблицы.

Подготовку к матчу на первенство мира Петросян начал, по существу, еще три года назад, во время первого матча Ботвинник — Таль. Он прокомментировал для газеты «Советский спорт» все партии обоих матчей Ботвинника с Талем, и какую феноменальную трудоспособность он проявил в этих экспресс-комментариях! В течение пяти часов, пока игралась партия, Петросян находился в пресс-бюро, ни на минуту не отходя от шахматного столика. Все это время он переставлял фигуры, анализировал варианты, обменивался впечатлениями и прогнозами по поводу предстоящего хода со всеми желающими. Около столика, за которым он сидел, постоянно толпились мастера и журналисты, одни сменяли других, но Петросян был весь во власти шахматной стихии. На следующий день он отдавал в газету партию с примечаниями, в которых и сейчас нелегко найти ошибку.

Основная черта его шахматного мировоззрения — здравый смысл и логичность. Но это не догматическая логика открытых линий, слабых пунктов и так называемого «взаимодействия» фигур, а отыскивание особенного в обычном. Комбинация? Да, это ему тоже знакомо, но лишь в том случае, когда комбинация — самый простой и экономный путь к победе.

Петросян издали, «верхним чутьем», определяет приближение опасности. Иногда он чует и устраняет заодно и те «опасности», которых в действительности нет. Так или иначе, но он почти не проигрывает.

Если Петросян попадает все же в тяжелое положение, то проявляет неисчерпаемую изобретательность и упорство. Он никогда не теряется, а с юмором подбадривает сам себя: «Петросянчик, держись!» Пружина сжимается все туже, но не ломается, и наконец Петросян слышит желанное: «Не хотите ли ничью?»

Велики шансы Петросяна на победу, но и задача его тяжела: ему противостоит Михаил Ботвинник, имя которого стало нарицательным как символ шахматной силы и непобедимости. Дух захватывает, когда вспоминаешь серию первых мест в турнирах на первенство страны, в Ленинградском и Московском международном турнирах, Ноттингем, Амстердам, матч-турнир в Гааге и Москве, турнир памяти Чигорина, турнир памяти Алехина...

Ботвинник — это энциклопедия шахматных знаний, сгусток воли и трудолюбия, создатель современной системы подготовки к шахматным состязаниям. Я помню его в 1927 году, когда он только что получил звание «маэстро» (в то время не было звания мастера): это был строгий, не по летам серьезный юноша с пытливым и немного недоверчивым, вернее сказать, проверяющим взглядом. Он поставил себе цель и неотвратимо, как судьба, шел к ней, не оборачиваясь по сторонам. В 1935 году Ботвинник впервые завоевал для советских шахмат победу в крупнейшем международном турнире впереди Ласкера и Капабланки. На заключительном банкете все были веселы, даже Ласкер в свои 67 лет произнес тост. Ботвинник весь вечер пил один бокал легкого вина и одним из первых ушел домой, чтобы не нарушить свой спортивный режим...

Ботвинник играл с легендарными шахматистами Ласкером, Капабланкой, Алехиным, и ни с одним из них не имел худшего счета. Трудно представить себе картину шахматного мира без нашего традиционного чемпиона. И все же... Успехи Ботвинника в матчах ни в какое сравнение не идут с его турнирными победами. Будучи уже чемпионом мира, он играл шесть матчей, из которых два закончил вничью, два проиграл, а выиграл два матч-реванша. Кроме того, он выиграл небольшой матч у Тайманова, после того как разделил с ним первое место в чемпионате страны.

В целом надо сказать, что Ботвинник сильнее в быстро меняющейся обстановке турнирной борьбы, нежели в матче, когда изо дня в день приходится играть с одним и тем же партнером.

Что же касается Петросяна, то он не играл ни одного матча, но по складу своего характера это скорее матчевый шахматист. Трудно будет чемпиону мира найти уязвимые места в его игре.

До недавнего времени в шахматных кругах считалось неэтичным давать в печати прогнозы результатов матча на первенство мира. Полагали, что это может отразиться на психологическом состоянии одного из участников или, по меньшей мере, на личных отношениях между «предсказателем» и участником, которому предрекают поражение.

Гроссмейстеры соревновались друг с другом в шуточных прогнозах вроде того, что «победителем будет Михаил», «чемпионом станет сильнейший», «в выигрыше останется шахматное искусство»... Эта странная традиция была нарушена сначала журналистами В. Васильевым и В. Пановым, а затем и некоторыми гроссмейстерами. Жизнь, однако, показала, что больше половины прогнозов были ошибочны, особенно это относится к последнему матч-реваншу Таль — Ботвинник.

По поводу предстоящего матча у меня была мысль, что Ботвинник вообще не будет играть и уйдет с шахматной арены непобежденным. В этом случае титул чемпиона разыгрывался бы в матче между Петросяном и Кересом. Ботвинник и сам однажды намекнул о таком своем намерении. Однако он принял решение бороться и на этот раз (в дальнейшем, как известно, право чемпиона на матч-реванш отменено Международной шахматной федерацией). И если Ботвинник, которому как-никак уже за пятьдесят, пошел на этот рискованный вариант,— значит, он верит в свои силы. Его мнение, несомненно, разделяют шахматисты старшего поколения, а молодежь, вероятно, будет «болеть» за относительно молодого Тиграна Петросяна.

Но в конечном счете хочется лишь одного — чтобы от удара камня о камень вспыхнули яркие искры нашего любимого шахматного искусства, которое одинаково дорого пожилым и юным.

Владимир ЛИФШИЦ

ПССССТ!..

(Фельетон)

— Пссст!..
И вот,
послушны звуку,
лебедями
выгнув выи,
с полотенцем через руку
пролетают
половые.
Снова яства подаются,
что ни блюдо —
совершенство!
Половые так и вьются
вкруг стола
его степенства.
А само
его степенство —
налитое салом
свинство —
так и тает
от блаженства,
видя это подхалимство.
«Посетитель —
просто кладезь!» —
одобряют половые
и, признательно
осклабясь,
получают чаевые...
Этой жанровой
картинке
меньше сотни лет
едва ли —
даже трещин
паутинки
по картинке
побежали...
Но вчера
не на экране
и не в рамке из багета, —
я в обычном
ресторане
наяву увидел это!
— Пссст!..
И вот,
в восторге силясь
встать,
как примы,
на пуанты,
вкруг стола
засуетились
молодцы-официанты.
Там гулял
Серегин Павел —
токарь
пятого разряда.
С премиальных
Павел ставил:
пей-гуляй,
моя бригада!..
Я судьей
не буду строгим,
но скажите,
в чем причина,
что куражится Серегин
в ресторане,
как купчина!
— Пссст!..
А ну, любезный,
жжива —
семги,
водочки
и пива! —
И на чай
швыряет мелочь,
как какой
Сысой Маркелыч...
А в «любезном»
уйма прыти:
ловит мелочь,
как кудесник!
А «любезный» —
поглядите,—
он Серегину ровесник!..
В равной мере
людям гадки
у него, да и у Пашки
там — лакейские повадки,
тут — купецкие замашки.

Рисунки Е. Мигунова.

ВЫБОРЫ

Выборы культорга — дело серьезное и важное. Поэтому мы, члены бюро группы, начали подготовку к ним с полным сознанием ответственности за свое решение. Долго думали, кого выдвинуть на эту работу.

— Предлагаю Климова! — сказал я.— Он хорошо учится и... вообще!

Все задумались.

— Нет, Климова нельзя,— заявил вдруг наш комсорг.— И именно потому, что он отличник. Ему надо заниматься в научных кружках, много читать, общественная работа будет отвлекать его...

— Может, Веревкину?— предложил кто-то.— Она авторитетом пользуется...

Все опять задумались.

— Тоже не годится,— вздохнул комсорг.— Авторитет у Веревкиной большой, но мы же собирались выдвинуть ее в бюро института.

— Тогда, может быть, выбрать Зубова?.. Он общественной работой с первого курса занимается!

— Ну вот, опять Зубова,— возразил комсорг.— Нельзя же всю работу валить на одного Зубова! Нужны свежие кадры.

— А как насчет Пшеничкиной? — спросил я.— Она ведь любит всякие там культурные мероприятия...

— Да ну ее! — отмахнулся комсорг. — Танцы, концерты, фигли-мигли — вот что у нее на уме... Никакой серьезности!

— Ну, что же? Тогда надо Фунтикова выбирать,— грустно сказал я.

Все посмотрели на комсорга. Он несколько секунд подумал, потом вздохнул и кивнул головой.

Да, Фунтиков был, пожалуй, единственной подходящей кандидатурой. Он не был отличником, не занимался в научных кружках, мало читал, не пользовался авторитетом, никогда раньше не занимался общественной работой, был свежим кадром и терпеть не мог всякие там культурные мероприятия.

Гр. ГОРИН

Рисунки И. Бронникова.

Яков КОЗЛОВСКИЙ

Каламбуры и пословицы

БАСНЯ ПРО МЕДВЕДЯ

Медведь в бору, не зная правил,
Машиной персональной правил
И в елку врезался.
Смех — смехом,
А Мишка-то едва остался с мехом.
И заревел он грозно:
— Надо ели
Срубить в бору! Они мне надоели!

РЕБЯТА И ЖЕРЕБЯТА

Тетя сказала:— Ты же ребенок,
Бегать так много нельзя же ребятам!
Вовка в ответ:
— Если я жеребенок,
Следует бегать мне, как жеребятам!

. . .

Если спор не очень спор,
Доведет до ссоры спор.

МЕСТЬ

Любил студентов засыпать
Он, видно, оттого,
Что те любили засыпать
На лекциях его.

Пни как ни пни,
Стоят на месте пни!

☆

Нет хуже удела,
Чем быть не у дела.

Рисунки И. Оффенгендена.

Штрихи...

НА УЛИЦЕ...

(Психологическая пародия)

Люди проходили мимо и не обращали на него никакого внимания. А он смотрел, как они проходили мимо, и думал: «Как много людей... И все относятся ко мне по-разному... Одни добры, другие делают только зло... Почему же я так привязан к людям? Ведь я не такой, как они. Они меня никогда не поймут».

В большом красном доме пять раз пробили часы. Именно в это время всегда появлялась Белка.

«Белка... — думал он. — Только она понимает меня в этом мире. Она такая же, как и я. Но почему ее нет? Ведь часы в большом красном доме пробили пять раз...».

Начал моросить дождь. Серая кошка, сидевшая на карнизе серого дома, спрыгнула в темноту окна... «Почему я так не люблю кошек? — думал он.—Наверное, потому, что они такие хитрые. Но где же Белка? Без нее так пусто... Хоть вой...».

Люди шли мимо и не обращали на него никакого внимания. Дождь тоже шел и не обращал никакого внимания на людей. А Белка не шла.

Внезапно он вздрогнул. Он еще не увидел, но уже почувствовал Белку. Так часто бывает — не видишь, а чувствуешь... Белка появилась на другой стороне улицы из-за угла большого красного дома...

«Не так уж плоха жизнь»,— подумал он и бросился через улицу навстречу Белке, весело лая и размахивая хвостом во все стороны.

Я проводил его глазами и подумал: «Почему так долго нет Лены? Ведь уже десять минут шестого...»

Арк. АРКАНОВ

Рисунок И. Бронникова.

В НОМЕРЕ:

А. РОДИМЦЕВ. Машенька из Мышеловки. Документальная повесть. (Литературная запись П. Северова) 3

Юрий ШАВЫРИН. Встреча с отцом. Поэма 27

Юнна МОРИЦ. Памяти Тициана Табидзе. Часы пик. Зимнее. «Я — птица черного пера...». Однажды. В конце концов. Во весь лист. Стихи 29

Анатолий ГЛАДИЛИН. Первый день Нового года. Повесть . . 31

Булат ОКУДЖАВА. Это случится. Каравай. Аисты. Картина. Март. Ладони. Стихи 58

Владимир МАЛЫХИН. Замоскворечье. Из цикла рассказов. . 60

Владимир ФАЙНБЕРГ. Главное. «А человек не спит...». Кармен. Голуби. Стихи 67

С армянского

Сильва КАПУТИКЯН. Сгораю я, сгораю... Входите к нам. Стихи 69

Борис РАХМАНИН. Надежда Надежды Григорьевны 70

И. ДАВЫДОВ. Есть романтики в Камышине 73

К нашей вкладке

Орест ВЕРЕЙСКИЙ. Графика москвичей 79

Почта «Юности»

Н. ДОЛИНИНА. Так почему же скучно Людмиле? . . . 81

Трибуна «Юности»

Т. АСТРОВА, А. КОШЕЛЕВ, Б. НЕШУМОВ. Дело ваших рук 85

Из цыганского шатра — в школу 89

На стендах «Юности»

Н. ЖУКОВ. Художник — поэт 90

Наука и техника

Борис ЕГОРОВ. Человек в космическом полете . . . 93

О времени и о себе

Антал ГИДАШ. Ровесник века 97

Спорт

М. ТАРТАКОВСКИЙ. «Акробатика» или «чистая» гимнастика? 103

Шахматы (Под редакцией В. Васильева)

Б. ВАЙНШТЕЙН. Четвертый претендент 107

«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора)

Владимир ЛИФШИЦ. Пссст!.. 110

Гр. ГОРИН. Выборы 111

Яков КОЗЛОВСКИЙ. Каламбуры и пословицы 111

Арк. АРКАНОВ. На улице... 112

На 1-й и 4-й страницах обложки—рисунок А. КОШЕЛЕВА.

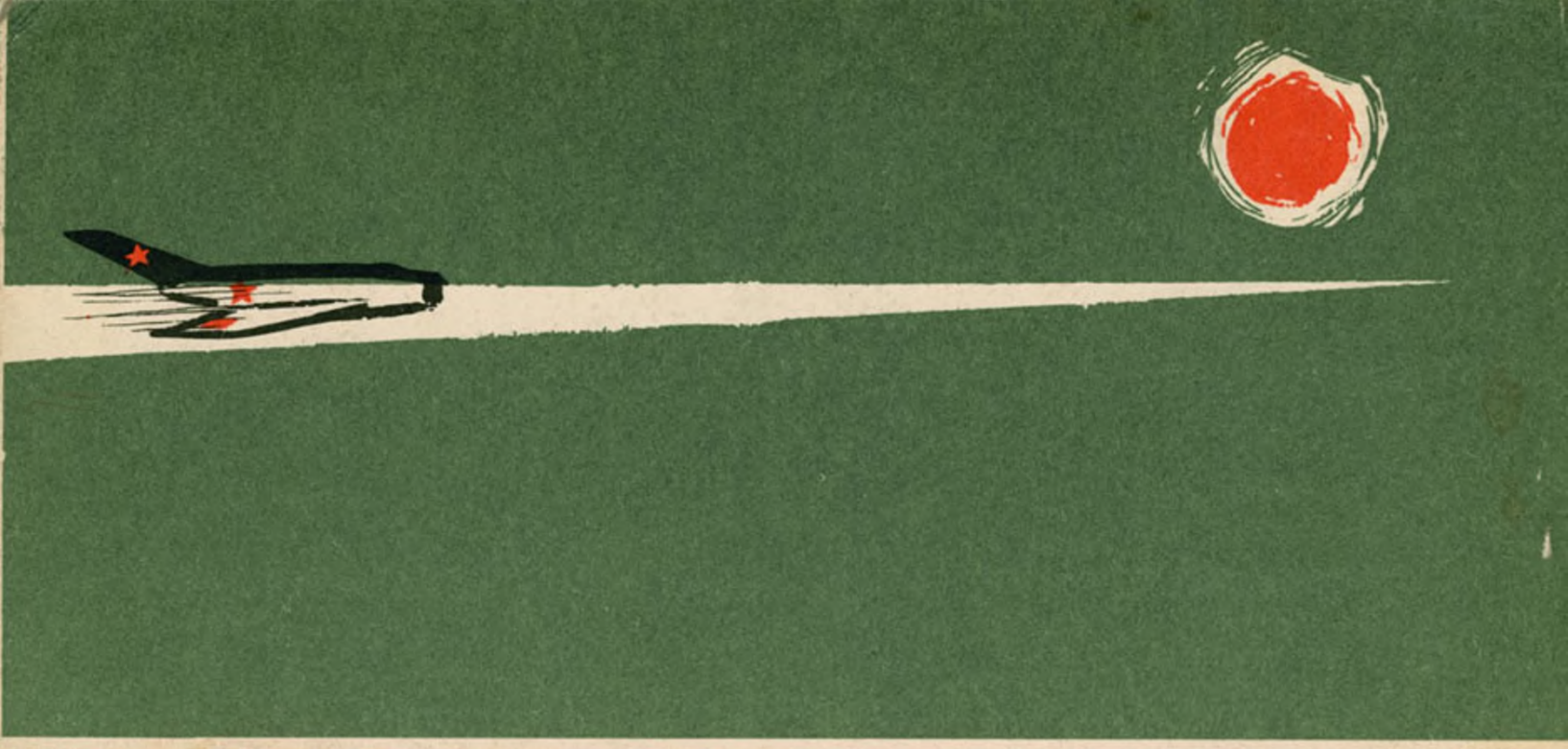
Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00320. Подп. к печ. 1/II—1963 г. Тираж 600 000 экз. Изд. № 326. Заказ № 3469. Формат бумаги 84×108 1/16. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, ул. «Правды», 24.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

71950